

СВОБОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ
ЖУРНАЛ

The word 'ПОИСКИ' is rendered in a bold, hand-drawn, blocky font. Each letter is filled with a dense pattern of fine, parallel lines. Radiating from the top and bottom of the letters are numerous thin, black lines, creating a sense of motion and energy. The background is a textured, light brown paper.

ПОИСКИ

2

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПОИСКИ»
1980

ПОИСКИ

СВОБОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

2

СОДЕРЖАНИЕ

Приглашение	3
СССР: ПОИСКИ ВЫХОДА	
<i>П. Абовин-Егидес, П. Подрабинек.</i> Некоторые актуальные проблемы демократического движения в нашей стране	5
Перекресток	
<i>Виктор Сокирко.</i> Переписка с Парижем	41
Дискуссия с дискуссией	
Классики и мы	65
<i>Р. Лерт.</i> Высказанное и недосказанное	89

ЛИТЕРАТУРА И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

<i>Георгий Владимов. Генерал и его армия</i>	114
<i>Юрий Домбровский. Вступление к роману</i> <i>"Факультет ненужных вещей"</i>	129
<i>В. Гершуни. Не стало Толи Якобсона</i>	140
<i>Р. Лерт. Подступы к "Зияющим высотам"</i>	156

Логоратория

<i>В. Гершуни. Слововязь. Сверлибр. Суперэпус</i>	161
---	-----

Очерк

<i>К. Подрабинек. Несчастные</i>	181
--	-----

СОБЫТИЯ И СУДЬБЫ

Сопrotивление

<i>М. Ланда. Мои открытые показания</i>	204
<i>П. П. Да, Цирк!</i>	217
<i>В. Абрамкин. Мы ничего не должны видеть</i>	220
<i>Георгий Владимов. Лик всего народа?</i>	225

Время в письмах

<i>А. Марченко. Письмо американским рабочим</i>	228
<i>Обращение в никуда</i>	232
<i>П. Подрабинек. Два письма</i>	234

Приложение

Московская редколлегия журнала "Поиски":

Петр АБОВИН-ЕГИДЕС, Валерий АБРАМКИН,
Владимир ГЕРШУНИ, Юрий ГРИММ, Раиса ЛЕРТ,
Глеб ПАВЛОВСКИЙ, Виктор СОКИРКО.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Нашему замыслу соответствовало бы название, слишком длинное для журнала — ПОИСКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ. Нисколько не урезав замысел, мы сократили лишь название, и к участию в наших "ПОИСКАХ" приглашаем всех, кто за взаимопонимание. Всех, кто убедился, что нет ничего сейчас рискованней и неотложней этого: полного понимания, которого нельзя достичь, к которому не пробиться иначе, как совместной работой мысли, не ограничивающейся одной-единственной позицией, заведомым углом зрения, единственно возможным способом ставить вопросы и доискиваться ответов.

Сказанное, разумеется, чересчур общо. Призыв к взаимопониманию уместен в любое время и при любых обстоятельствах. Разве мыслимо такое время, когда отпадает нужда в понимании, поскольку на все вопросы уже даны окончательные, "исчерпывающие" ответы? Да и потребность во взаимности, в движении от многообразных начал к проблемам, жизненно важным для многих, если не для всех, — эта потребность, далеко не всегда и не всеми признаваясь, сегодня не покажется и новинкой. Призыв к взаимопониманию — либо общее место, либо он нуждается в разъяснении.

И тем не менее мы рискуем утверждать, что сегодня этот призыв ясен без долгих обоснований. Нам — в Советском Союзе, вероятно, это ощутимее, чем где-либо. Мы пережили с 1953 года целую полосу надежд и крушений, избывания старых и новых иллюзий. Надо полагать, это время дало многое, и не нам одним. Но теперь виднее, что оно, переломившись в 1968-м, пришло к концу. Теперь заметнее не только сделанное, но и то, что не сделано и сделано быть не могло. И это последнее не менее, если не более важно, чем первое. Глядя на собственные наши тупики, вложив персты в наши язвы — кто рискнет сказать с полной уверенностью в правоте: я знаю лечение, я вижу выход?! Каждая неувязка в отдельности, каждая несообразность, взятая врозь, кажутся устранимыми — было бы только желание, умение и "соответствующие люди на своих местах". . . Но идет время, и все ощутимее, заметней: пропущенные в свое время возможности — самая неподатливая реальность сегодня, как и связь между всеми диспропорциями и напастями, как и отсутствие "соответствующих", и беспло-

мощность тех, кто желает перемен, не ведая, с какого бока за них приниматься, не накликав беды хуже нынешней. Тупики наши оттого и мысленные и нравственные — разрывы между поколениями и внутри поколений, которые, похоже, не только не сглаживаются, но делаются все глубже и раздражимей. И вряд ли оттого, что яснее стали ныне ответы, предлагаемые отдельными течениями и людьми. Скорее, наоборот: ожесточенность, вражда — от застревания на чем-то первоначально-отрицающем. Но даже и тут, в этом необходимо-критическом, клеймящем смысле мы оказались неспособны пробиться вглубь, к "причинам причин", дойти до корней трагедии, образовавшей эпоху, и до природы тупиков, составляющих русскую злободневность, уклад жизни и быт: самое простое и труднее всего выносимое.

Прежде говорили: не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Сегодня это следует дополнить и уточнить, сказав: не может быть ни свободен, ни уверен в будущем народ, притязающий собою одним — своими успехами ли, глубиной ли своего отчаянья — определять всесветное будущее. Эта истина не так проста — и не только потому, что задевает государственные престижи, национальные самолюбия, претензии первенства, богатства, силы. Она отнюдь не проста и по существу.

Взаимная уступчивость и терпимость — превосходные качества. Право оставаться собой — великое право, становящееся новой международной нормой: суверенитетом Мира, где впервые за всеми народностями, за всеми человеческими сообществами признано право на независимость в решении своих внутренних дел, как и право на равную причастность к судьбам Мира в целом. Два права — нераздельных и вместе с тем все труднее совмещающихся.

Мир миров, стремящийся стать человечеством, — вправе ли мы попустить, чтобы "правом оставаться собой" распоряжалось многоликое насилие, всякое принуждение к единомыслию, любой владетельный запрет на идейные искания, на движение проблем, не знающих кордонов?!

Таковы самые общие основания к тому, чтобы сделать *поиски взаимопонимания* исходной позицией для совместной работы. "Только" поиски — оттого, что на пути к согласной встрече исходно разноначального не одни внешние препятствия. Поэтому мы приглашаем к дискуссии без ограничивающего регламента и с этой, сугубо предварительной заявкой, которая может стать более четкой программой лишь в процессе *поисков*.

П.Абовин-Егидес, П.Подрабинек

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ

”Без страха, без злобы...”

М.Волошин

Предлагаемые читателю заметки не составляют цельной статьи с логически последовательными переходами от одного раздела к другому: это, скорее, беседа о том, что мучает нас, когда мы задумываемся о состоянии и дальнейших судьбах нашего демократического движения. Мы касаемся здесь не теоретических, а практических проблем, поэтому обходим вопрос о дефинициях употребляемых понятий (так, мы не различаем тут таких категорий, как ”демократическое движение”, ”диссидентское движение”, ”правозащитное движение”, ”либералистское движение”, хотя они не идентичные, а лишь пересекающиеся).

КОНЕЦ ИЛИ НАЧАЛО?

Становление при эпигонах Сталина демократического (диссидентского, либералистского, правозащитного) движения было лучом света в царстве стагнации, в условиях 25-летнего послесталинского топтания на месте по основным вопросам социального бытия. Движение это было вызвано к жизни тра-

гедией нашего общества. Руководство страны и партии, якобы исповедующей социализм, не в силах понять (ибо опирается на те слои, которые не заинтересованы в этом), что из сущности человека как саморефлектирующего существа вытекает его стремление состояться как личность, что реализовать себя как личность человек может только в условиях всесторонней демократии, что без демократии личность невозможна, а без последней мы будем иметь что угодно, только не социализм.

Вот почему вместо того, чтобы мужественно пойти на столь необходимую демократизацию, суловско-брежневское руководство, поставив себе целью покончить с оттепелью, имевшей место в первые годы хрущевского руководства, заменило ее *заморозками* такой степени, которая была бы, по расчетам "верхов", достаточной для ликвидации малейшей оппозиции. По существу, новое руководство ознаменовало начало своей деятельности не косыгинской экономической реформой (которая оказалась лишь ширмой и, к сожалению, провалилась), а трапезниковской попыткой реабилитировать сталинщину и судебной расправой над писателями Синявским и Даниэлем: ведь осуществить такую акцию куда легче, чем экономическую реформу — ни ума, ни умения для этого не требуется. Второй "великой исторической акцией" (антидемократической и антисоциалистической) была оккупация Чехословакии, ликвидировавшая в зародыше "Пражскую весну" — весну, возможно, подлинного социализма.

Но заморозки привели к обратному результату по сравнению с тем, который ожидало правительство: вспыхнуло демократическое движение, вылившееся в формы "подписанства", демонстраций, протестов, требований, а затем — в создание различных инициативных групп и общественных комитетов, в выпуск "Хроники" и самиздатской литературы. На это — на требование диалога — правительство, называющее себя... "социалистическим, народным, демократическим, советским", ответило серией репрессалий — судебных процессов, психиатрических расправ, увольнений, изгнаний из страны, покрыв позором себя и весь режим. Судебные процессы и расправы стали перманентными и длятся по сей день.

Демократическое движение хотя и родилось при нынешнем руководстве, но не по его желанию, а из-за его антидемократических, репрессивных акций, из-за его предательства дела оттепели, которому осталось верным как раз именно оно, демо-

кратическое, движение. Отсюда: не диссиденты, не правозащитники, не участники демократического движения являются *отщепенцами* от политики оттепели, от интересов народа, от его стремления иметь правовое государство, не они являются антисоветчиками, а те, кто отказывается от этой политики, кто не хочет введения ни советской формы демократии (то есть передачи *всей* власти Советам), ни парламентско-территориальной формы ее *.

Правозащитное движение можно нейтрализовать, преодолеть лишь одним, благородным путем — пойти на осуществление хотя бы элементарнейших гражданских свобод, политических прав человека, без чего ни о наличии демократии, ни тем более социализма речи быть не может. Но, не имея мудрости и воли пойти этим единственным достойным путем, современное руководство, как видно, поставило себе, с его точки зрения, "более легкую" цель — уничтожить правозащитное движение, торопясь "очиститься" от него к Олимпиаде-80. Об этом свидетельствует ряд последних судебных процессов, арестов, обысков, высылки.

При этом власти все больше прибегают и к "более тонким" методам: с одной стороны, стали искать возможности "клеить" диссидентам сугубо уголовные дела (таких случаев уже немало),

* От чего диссиденты действительно отщепились — это от антидемократического режима, от лживой официальной идеологии, от того, чтобы давать над собой куражиться средствами массовой информации, манипулирующими мозгами духовных рабов. Диссиденты — это не просто инакомыслящие: это — те люди, которые явочным путем, став мужественно над обстоятельствами, преодолев страх перед Левнафаном, добыли себе *личность*. Диссиденты — в отличие от либералов (которые лишь идут к этому) — поднялись до протivостояния аппарату насилия, до открытого неприятия фальшивого образа жизни, до неучастия в каких бы то ни было уничтожающих человеческое достоинство фарсах (например, в "выборах"), до борьбы с нарушениями прав человека. Они стали стеной за достоинство человека. В среде диссидентов царит взаимопомощь, сочувствие, сострадание, сопереживание, нет никакого принуждения (даже психологического). Диссидентам претит пошлый вещизм, бездушный сциентизм, бездумный или трусливый конформизм, они не позволяют официозу манипулировать своим сознанием и делать из них "ванек-встанек". Они — единственно свободные в этом несвободном мире! Распространение духовных черт диссидентов во все большей части нашего народа дойдет до такой степени, которая станет достаточной, чтобы преобразовать все общество.

с другой стороны, предпринимаются попытки взорвать демократическое движение "изнутри" — путем растления некоторых его участников, засылки в его ряды уголовников-шантажистов, лжесвидетелей, сексотов, провокаторов. К тому же иные диссиденты, руководствуясь своими личными расчетами, идут на молчаливую унию с властями, давая такие интервью, делая такие заявления и распространяя такие фарисейские опусы, которые объективно мало чем отличаются от доносов на участников движения и на самое движение.

Ввиду всей сложности положения демократического движения авторы некоторых работ, статей о нем стали в последнее время утверждать, что оно кончается, "деградирует", что ему приходит конец или он даже уже чуть ли не пришел. Такое мнение высказал, например, В.Соловьев в иностранной прессе.

Между тем дело обстоит отнюдь не так. Да, симптомы деградации имеются, но не движения, а некоторых его участников. В любом общественном движении — особенно в *критический* момент его — находятся такие участники, которые прибегают то к авантюрам, то к интригам, то к провокациям, то к прямому предательству. Не миновало это и наше демократическое движение. Допускает оно и ряд ошибок: его осуществляют ведь живые люди, выходцы из нашей же тоталитаристской системы, и естественно, что и эти люди не могли полностью избавиться от ее язв, хотя они нашли в себе силу духа освободиться от ее безличностной сути. Инакомыслие (правда, зачастую пока пассивное) стало уже значительным социальным фактором; оно будет постоянно и все больше выделять из себя *активных* диссидентов, несмотря на репрессии. Аресты одних вызывают лишь больший приток в движение других, появляются свежие силы. Ныне демократическое движение действительно находится в критической фазе, но связано это не с *концом* движения, а с *началом* нового этапа его.

Правда, иные, приняв начало за конец, торопятся покинуть корабль. Сам же корабль, встретившийся, с одной стороны, с новыми препятствиями, а с другой стороны, с новыми проблемами, лишь ищет новых путей.

С какими же новыми проблемами столкнулось демократическое движение, и почему это сопряжено с определенной лихорадкой некоторых его составных элементов? Об этом и пойдет речь в последующих разделах.

КУЧКА ЛИ?

После вспышки "подписанства" многие либеральные интеллектуалы, напуганные властями, вернулись в их объятия. Этому способствовали, как ни парадоксально, и программная позиция Солженицына*, явившаяся своеобразной реакцией на кошмары долголетнего массового террора, и прямо противоположная ему позиция Р.Медведева. Многие писатели, гуманитарии да и "технари", поддерживавшие справедливые протесты первого, отшатнулись от него, как только стало ясно, что он не просто протестант, а антисоциалист и как бы полудемократ-полуавтократ, и это стало им служить оправданием их полутрусливого ухода от демократического движения вообще; второй же их окончательно разоружил, расслабил: раз, с его точки зрения, у нас все же налицо социализм, и дело лишь в том, чтобы развивать социалистическую демократию, и раз налицо непрерывные "улучшения", которые, как он уверяет, к 2000-му году приведут чуть ли не к лучезарным вершинам, то к чему же сейчас бороться, конфликтовать с властями, дразнить их, рисковать вызвать их гнев, к чему вызывать огонь на себя? Не лучше ли вернуться в лоно привычного раболепия, где более или менее уютно и спокойно? И стали возвращаться в это лоно многие "блудные сыновья".

Ввиду этого демократическое движение стало конденсироваться в рамках нескольких небольших групп стойких правозащитников, оставшихся верными демократическому движению и нередко ввиду этого связанных между собой личной дружбой. Возник ряд правозащитных комитетов (Комитет защиты прав человека, секция "Эмнести", затем Хельсинкские группы, Рабочая комиссия по психиатрии). Рядом с ними появился журнал "XX век", который вскоре тихо скончался по причинам, рассмотренным в "Открытом письме Р.Медведеву" одного из нас. Распались фактически и некоторые комитеты из-за серии арестов их членов. Действенной осталась, главным образом, Хельсинк-

* Солженицын, который своими гениальными художественными исследованиями и своими смелыми выступлениями способствовал не только формированию либералистского движения у нас, но и становлению общественного мнения, которого не было и которое и поныне находится лишь в колыбели, сыграл роль весьма неоднозначную.

ская группа и при ней Рабочая комиссия по психиатрии, вопреки ряду арестов.

Так что же, демократическое движение сжалось до незначительной, хотя и могучей кучки? Нет, на сегодняшний день обнаруживаются новые, в определенной мере как бы подводные, течения. Они являются неизбежным результатом определенных социальных процессов в стране и неиссякаемым резервом диссидентского движения. Эти течения идут (не быстро, но необратимо) на смену тем либеральным интеллигентам, которые отшатнулись в конце 60-х годов от демократического движения и остались вписанными в систему.

Это, прежде всего, экономическое сопротивление масс трудящихся строю, который не может удовлетворить их материальные интересы. Еще Хрущев умолял трудящихся "выложить" резервы своих сил, но постоянные истерические призывы работать добросовестно, с сознанием ответственности, с энтузиазмом не встречают, как правило, сочувственного отклика: люди не хотят работать без адекватного вознаграждения на пользу спецпривилегий элитической элиты. В стране, по существу, налицо хроническая всеобщая "итальянская забастовка", имеющая не только экономическое, но и политическое значение, так как это порождает брожение умов. "Итальянская забастовка" еще не есть гандистское гражданское неповиновение, но является преддверием к нему. "Диалектика" ее такова: с одной стороны, она является, как ни парадоксально, чуть ли не фактором стабильности (поскольку люди удовлетворяются тем, что им фактически разрешают систематически плохо работать, "спустя рукава", и поэтому не восстают против системы), но, с другой стороны, это ведет к экономической стагнации, что, в свою очередь, рождает инакомыслие. Стало быть, стабильность получается иллюзорная, кажущаяся. Перед нами — колосс на глиняных ногах.

Отвращение, даже простая брезгливость к сотрудничеству с этим колоссом-государством характерны для все большего количества людей, не смеющих или не умеющих порвать с ним открыто, прямо, но оказывающих ему глухое, пассивное сопротивление и в других областях, кроме экономических. Создается нечто вроде *второй культуры* — внеофициальной, антитоталитарной. Трудно учесть небольшие группы оппозиционно настроенных лиц, но их много, причем разных. Возникают и порой действительно действуют самодельные дискуссионные клубы

(типа "Факел", из которого вышло немало диссидентов), театральные коллективы, киноколлективы и т.д. Безуспешно выманиваемые у властей авторами "Литгазеты" "клубы по интересам" создаются "самостийно", явочным порядком и доставляют немало хлопот органам ГБ, пытающимся удержать — особенно наиболее массовые из них (например, КСП — клуб студенческой песни) — в русле государственного "приличия".

Наиболее радикальные "самостийники" — это значительные категории интеллигентов, ставших рабочими, т.е. интеллигентов молодого и среднего возраста (среди них — экономисты, историки, геологи, химики, психиатры, биологи), не желающих работать по своей специальности, если она вынуждает ханжить, лицемерить, лгать, или на таких должностях, которые вынуждают к этому. Они идут на черновую, физическую работу (кочегарами, лесорубами, строителями, вахтерами, разнорабочими), которая хоть и трудна и дает меньший заработок, но зато не лишает их возможности быть *свободными* по отношению к официальной идеологии и все явнее и явнее противостоять антидемократическому режиму.

Словом, вместо официального лозунга *поднятия* рабочих до уровня интеллигентов налицо оказался обратный процесс — "*опускания*" интеллигентов до уровня рабочих, что чревато значительными социальными последствиями*. Эти интеллигенты-рабочие из околодиссидентов со временем становятся открытыми диссидентами — участниками демократического движения. Таким образом, оставаясь частично (формально) в системе, они уже в значительной мере (фактически) вне ее. Хотя в Самиздате многие из них участвуют под псевдонимами и лишь поэтому не ставят свои фамилии под протестами, но зато приходят к зданиям судов выражать свою солидарность с подсудимыми правозащитниками и в различных формах поддерживают движение.

* Аналогичными последствиями чреват и социально-психологический феномен относительно избыточного образования: выпускники десятилетки, поступающие на работу рабочими, несут в себе неиспользованный заряд знаний и духовной энергии, что вызывает у них значительную неудовлетворенность жизнью, социальной неустроенностью. Их потребность в разрядке, в самоутверждении и выливается нередко в преступность, которая является своеобразной формой протеста. Эта избыточная энергия, этот заряд недовольства, эта потребность самоутверждения могут быть направлены в другое русло.

Имеются, затем, различные категории рабочих, служащих, инженеров, поднимающихся до сознания необходимости создания свободных, независимых от государства профсоюзов, которые отстаивали бы социально-экономические, трудовые и бытовые интересы трудящихся. Они предпринимают попытки создать такие профсоюзные объединения как в Москве, так и в провинции. Грань между ними и диссидентами-правозащитниками все больше смывается.

Околодиссидентами, а затем и диссидентами становится и значительный слой пенсионеров, инвалидов войны и труда.

В среде творческой интеллигенции, в частности членов Союза писателей, растет новая прослойка, в которой зреет *требование* создания бесцензурного журнала, совершенно *независимого* от государства и парторганов, т.е. журнала, фактически открыто отказывающегося от соцреализма. Если эти писатели станут действовать решительно, то не исключено, что они многого добьются: боясь, чтобы они не ушли в "стан диссидентов", власти могут оказаться вынужденными пойти на уступку, которая означала бы *начало* раскрепощения мысли, освободившейся от "Главлита", чего не мог еще достичь даже "Новый мир" Твардовского. Но если это выльется в очередной "Новый мир", то ныне этого уже мало: литература намеков уже недостаточна на современном этапе. Только бесцензурный, свободный, открытый для неурезанной дискуссии, для серьезного диалога журнал означал бы начало новой эры у нас.

У творческой интеллигенции — писателей и художников, не входящих в официальные союзы или вышедших из них, — зреет и другая мысль, мысль об основании свободного (независимого от государства) творческого объединения, что тоже весьма знаменательно.

Все большее брожение умов имеет место в провинции. Возникают группы, все более сочувствующие демократическому движению и ищущие пути связи с ним, стремящиеся читать самиздатскую и тамиздатскую литературу.

Ко всему этому, конечно же, приплюсовываются значительные околодиссидентские и диссидентские слои среди верующих (и прежде всего, среди гонимых сект), среди национальных меньшинств (особенно среди явно дискриминируемых).

Наконец, есть и такие, которые полагают, что надо копить и беречь свои силы для массового движения, что для этого надо

различными способами нести сознание в массы, а не открыто поддерживать наличные выступления диссидентов (это "а не", конечно, внутренне противоречиво и, на наш взгляд, несостоятельно, но оно тем не менее бытует).

К диссидентствующей части населения можно отнести значительное количество и тех, кто голосует на "выборах" против или не приходит голосовать; тех и других, даже по официальным данным (а как они составляются, известно каждому), набирается 0,2% (100 - 99,8), что в абсолютном выражении равняется примерно 200 000 – 250 000 человек. Это больше, чем было большевиков к началу Октябрьской революции...

За пять лет до Октябрьской революции Ленин писал о трех типах рабов: 1) рабы-челядь, у которых слюнки текут от радости, что они рабы; 2) рабы, тянущие свою лямку по привычке; 3) рабы-революционеры, т.е. поднявшиеся до сознания своего униженного состояния и стремящиеся вырваться из него. Но Ленин не предполагал, что его классификация рабов будет верной и после социалистической революции, если она свершится недемократическим путем. К этой классификации можно добавить и 4-й тип: рабы, не поднимающиеся на борьбу из-за запуганности, забитости (а не из-за привычного прития рабства). И если при Сталине народ состоял в основном из 1-го и 4-го типов – типов "радостных" рабов и "забитых" рабов, то в наше время налицо вполне определенный сдвиг: 1-й тип начисто исчез, остался 4-й, распространение получил 2-й тип – рабов "по привычке" (и это – как раз фактор инерционности общества), но зато появился и развивается определенный слой 3-го типа – "рабов-революционеров", т.е. людей, способных к сопротивлению, что является фактором преодоления инерционности.

РАЗМЕЖЕВАТЬСЯ ИЛИ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ?

Все упомянутые выше потоки, близкие к диссидентству, требуют определенного общения между собой, нуждаются в какой-то объединяющей силе. Однако само демократическое движение находится у нас сейчас в фазе размежевания. "Зуд" размежевания не дает многим покоя. Им заражено немало как либерально настроенных, так и радикально настроенных диссидентов.

Объясняется это, на наш взгляд, тем, что, находясь долгие десятилетия в состоянии безмолвия, угнетения их мысли, люди, обретшие одной силой своего свободолюбия явочным порядком свободу духа, опасаются, что какое-либо единство между различными идеологиями, поиски какой-либо общей платформы (даже при сохранении различий между разными течениями) могут снова привести их к потере личности в системе "идейной монолитности", "морально-политического единства". Поэтому так трудно договориться между собой правозащитникам, либералам и демократам, верующим, националистам и социалистам, марксистам-демократам, демократам-западникам и демократам-почвенникам, хотя все они, по сути дела, жаждут ведь одного и того же — возможности свободно дышать. Это размежевание особенно болезненно протекает в эмиграции, поскольку там человек вовсе вырывается из тенет тоталитаризма.

Однако, если фаза размежевания будет затягиваться, то это может действительно трансформироваться в деградацию движения, поскольку размежеванным людям становится невозможно сопротивляться могучему Левиафану, и он их может перемолоть поодиночке. Именно потому и труднее властям расправиться с диссидентским движением в Польше и Чехословакии, что, ввиду ряда исторических обстоятельств, там различные течения его не размежевываются, а действуют в единстве: католики, социалисты и неоккоммунисты, рабочие и интеллектуалы, демократы-либералы и демократы-радикалы объединены общей платформой типа "Хартии-77". Правда, в Польше раньше то интеллигенция и студенты не поддерживали рабочих, то, наоборот, рабочие не поддерживали интеллигенцию; теперь же там прорисовался явный союз трех сил: левой интеллигенции, рабочих и церкви. Наметился и союз между диссидентами Польши и Чехословакии. И все это не только не мешает всем им оставаться личностями, а наоборот, способствует этому.

И революционеры в прошлом, и современные диссиденты, как уже отмечалось выше, — это люди, которые еще в недрах безличностного общества явочным порядком становятся личностями, бросая вызов антиличностной машине, призывая к этому и других уже самим своим бытием, борясь за всеобщую личность. В этом их величие (при всех тех или иных недостатках каждого в отдельности или определенного течения).

Но основная беда нынешнего этапа диссидентского движения заключается в том, что, вырвавшись из духовного плена тоталитаризма, мы порой начинаем доводить стремление к личностной самостоятельности либо до изоляционистской групповщины, либо до крайнего индивидуализма, либо — незаметно для самих себя — до замены старых кумиров новыми.

Личность ведь не означает отказа от объединения усилий, наоборот (и это следует акцентировать), лишь в этом объединении и может сохраниться и самоутвердиться личность. Речь идет не только об организационном единении, а о преодолении той разобщенности, которая, с легкой руки "Континента", вылилась в догматизм наизнанку (что выразилось в его знаменитых требованиях "абсолютного идеализма", "абсолютной религиозности" и фактически "абсолютного"... антисоциализма).

Совсем недавно обозреватель "Немецкой волны", рассказывая о выходе журнала "Русское возрождение", в котором его редактор князь Оболенский мечтает вернуть нам... царя, резонно заметил: беда советского диссидентского движения в том, что оно не вырабатывает платформы, которая бы устраивала *большинство* народа.

Здесь нет возможности анализировать платформы различных оппозиционных и диссидентских движений в нашей стране. Хочется лишь подчеркнуть наше твердое убеждение в том, что только объединение всех течений, принимающих позицию *универсального* демократического движения (включающего не только защиту политических, религиозных, национальных прав и свобод, что характерно для определенных нынешних правозащитных групп, но и социальных, экономических, культурных, бытовых, что в условиях современности равно защите прав *личности* в целом), независимо от их идеологических различий, может привести, наконец, к серьезным сдвигам в жизни нашего общества, которые откроют ему путь к *панперсонализму*.

Однако объединение не может быть солидным и прочным, если оно состоится на почве бегства от вдумчивого проникновения в различия между социальными платформами, а не на почве глубокого осмысления этих различий, иначе говоря, если оно зиждется на том, чтобы не задумываться над ними, а не на том, чтобы продуманно выбрав для себя ту или иную социально-экономическую платформу, сознательно идти на сближение со сторонниками других в том главном, что является для всех нас

основой. Словом, серьезное сближение через продуманный выбор (а не через эскапизм, т.е. бегство от него) — вот путь для *прочного* объединения.

В нашем же диссидентском движении имеется у ряда участников такое парадоксальное сочетание: с одной стороны, соблазн быть "кошкой, которая гуляет сама по себе", с другой стороны, отсутствие проникновения вглубь даже той платформы, которой они придерживаются (порой под влиянием модных кумиров), не говоря уже о желании изучить суть платформ других диссидентских течений. Если в таких условиях и возникает определенное единение, то оно нередко бывает поверхностным и довольно хрупким, что наблюдалось особенно на первом этапе диссидентского движения. Ряд его участников, повторяем, мало интересуется социально-экономическими взглядами друг друга, тем более их нюансами.

Правда, уже на этом этапе многие сочувствующие спрашивают: — А какова, собственно, ваша цель? К какому социально-экономическому строю вы стремитесь?

Им отвечают вполне резонно: создать такую обстановку, при которой люди могли бы защищать свои взгляды открыто, без страха быть репрессированными. Когда будут завоеваны основные гражданские права, наступит время постановки вопроса о социально-экономических целях, о социально-экономическом строе, и в открытой борьбе мнений победит то, которое завоеует больше последователей. Сейчас это время все еще впереди.

Но многие сочувствующие давно уже перестали удовлетворяться таким ответом. Их можно понять: в природе человека — стремление знать направление, в котором он движется, даже когда он делает первый шаг. Люди не хотят покупать "кота в мешке"... Поэтому нигилизм в отношении серьезных дискуссий, глубокого обсуждения различных социально-экономических программ лишь тормозит привлечение многих людей к движению.

По мере того как диссидентские силы крепли, стали выявляться и определенные различия во взглядах, что нашло отражение в ряде книг и статей. Однако делалось это (да и продолжает делаться) зачастую легковерно, не обстоятельно, из-за чего многие диссиденты до сих пор либо не сделали выбора, либо еще не решились "самоопределиться". Как ни парадоксально, именно это мешает объединению: не зная глубоко сути различий,

инные не знают четко и того общего, что служит основой сплочения. Это мешает примкнуть к диссидентам тем сочувствующим, которые хотят знать, что же лежит за горизонтом правозащитной борьбы, битвы за гражданские права. Это мешает, наконец, и мировой общественности лучше понять диссидентов и расширять помощь им.

На почве требования гражданских прав активно могут помогать диссидентам западные парламентарии, комитеты защиты, отдельные лица. Но различные партии Запада и профсоюзы будут действительно помогать лишь тогда, когда диссиденты четко сформулируют свои социально-экономические программы: социалистические и еврокоммунистические партии, конечно, не будут поддерживать капиталистическую платформу, а демократические партии не станут помогать диссидентам монархического толка или таким "почвенникам", как Г.Шиманов и К°. Любопытно, что именно в ту пору, когда для серьезного объединения необходимо углубленное самоопределение, у нас стали превратно толковаться модные призывы к толерантности: за словами о терпимости нередко скрывается желание уберечься от критики, уклониться от углубленных споров, нежелание искать и находить компромиссы, стремление самоизолироваться, расплзтись по различным замкнутым течениям. Между тем хотя терпимость, т.е. готовность признать за другим право на его убеждения, является первейшей, элементарной необходимостью нормальных отношений между людьми, ее недостаточно для совместных действий: для этого нужны именно четкие платформы и компромиссы — конечно, в пределах определенных общих принципов.

ПРОБЛЕМА ЦЕНТРА

Исторически сложилось так, что центром правозащитников оказалась в самые последние годы Хельсинкская группа. Эта группа, созданная мужественными людьми, сделала весьма много для информирования мира о вопиющих нарушениях прав человека в нашей стране, для борьбы за освобождение многих политзаключенных из лагерей, тюрем и психиатрических изоляторов, для борьбы за облегчение бесчеловечного режима содержания заключенных. Несмотря на то, что арестован целый ряд актив-

ных членов как Московской группы "Хельсинки", так и периферийных групп, их деятельность продолжается в тяжелых условиях.

В силу внешних и внутренних условий демократического движения и активности самих членов Московской группы "Хельсинки" именно она стала ядром, вокруг которого действуют как хельсинкские группы в некоторых союзных республиках, так и некоторые рабочие комиссии. С ней тесно контактируют оставшиеся на свободе члены Комитета защиты прав человека и советской секции "Международной амнистии" (ряд же других либо были арестованы, либо оказались в эмиграции), а равно и участники борьбы за права нацменьшинств и за религиозные свободы.

Все это дает основание Московской группе "Хельсинки" стать тем центром, который сцементировал бы разные потоки в единое демократическое движение. Между тем Хельсинкская группа пока не осуществила той миссии, которую могла бы осуществить.

И не осуществлена эта миссия не потому, что члены Хельсинкской группы допустили те "ошибки", о которых пишет, например, Р. Медведев в своем ответе на "Открытое письмо" П. Егидеса (как раз наоборот: то, что Медведев считает ошибками, пороками, виной членов Хельсинкской группы, свидетельствует об их достоинстве и благородстве; сюда относятся: их открытость, т.е. отказ от подполья, презрительное, а не трусливое отношение к обыскам и арестам, скрупулезное отношение к денежной отчетности со стороны тех, кто распоряжается Фондом помощи политзаключенным), а по обстоятельствам совершенно другого плана.

Какими же эти обстоятельства, на наш взгляд?

1. Центровое положение Московской группы "Хельсинки" вступило в *противоречие с ограниченной проблематикой*, оказавшейся в поле ее зрения и вытекающей из суженного понимания "третьей корзины" Хельсинкских соглашений, т.е. раздела о защите прав человека. Под правами человека, подлежащими защите, Хельсинкской группой понимались долгое время лишь гражданские личностные права и свободы (свобода слова, мысли, печати, вероисповедания, неприкосновенность личности, переписки, права на эмиграцию, демонстрации, протесты, забастовки, на национальное самоопределение), что же касается экономи-

ческих, социальных, бытовых, культурных прав, свобод, интересов трудящихся, то это выпадало из поля зрения. Этим пользовались наша официальная пресса и пропаганда, пытаясь доказать, что у нас якобы эти права и свободы обеспечены.

Подобный, суженный, подход к правам человека в какой-то мере обусловил и определенное взаимонепонимание между Московской группой "Хельсинки" и зарождающимся свободным профсоюзом: последний вначале заявил, что не приемлет диссидентства, и вместе с тем выразил неудовлетворение тем, что Хельсинкская группа им не заинтересовалась в достаточной мере. Лишь в последнее время стала она уделять внимание более широкому спектру прав человека. Так, при ней возникла Группа защиты интересов инвалидов труда. Но этого, конечно, весьма мало.

Необходимо, думается, углубление и расширение проблематики, интересующей Хельсинкскую группу, до охвата ею *всего* комплекса прав и свобод человека. Если права человека понимать во всей их полноте, тогда стирается грань между правозащитным и демократическим движением. Больше того, тогда само демократическое движение понимается глубже, поскольку тут речь уже идет не только о политической демократии, но и об экономической и культурной демократии. Именно тогда в компетенцию Хельсинкской группы может войти и деятельность свободных профсоюзов, и деятельность творческих объединений.

2. Определенные достижения диссидентского движения связаны до сих пор, главным образом, с *обличительной* деятельностью (изобличением нашего недавнего прошлого, отсутствия или нарушения прав и свобод граждан сегодня, отсутствия демократии, ущемления религиозных свобод и прав национальностей); но не может движение все время жить негативистской функцией: пора серьезно призадуматься над позитивной платформой. Совсем недавно Хельсинкская группа составила обращение в связи с 30-летием Декларации прав человека, которое, судя по тому, что подписи под ним предполагается собирать в течение года, задумано как платформенный документ, как хартия. Однако такую роль это обращение сыграть, думается, не может: оно не охватывает всего комплекса социально-экономической, политической и культурологической проблематики, интересующей широкие слои трудящихся. К тому же кем-то пущено аналогичное, параллельное обращение, что уже совсем плохо, так как разбивает силы, уменьшает количество подписей под каждым из документов.

У членов Хельсинкской группы нет, видимо, ясного отношения к тому, нужны ли демонстрации 10 декабря — в День прав человека, что, в свою очередь, тоже разбивает силы. Стало быть, по таким серьезным вопросам (в том числе по вопросам об отношении к Олимпиаде-80, свободным профсоюзам, к провинциальным группам диссидентов и т.д.) хорошо бы *советоваться* с широким кругом участников движения; важнейшие обращения (документы) не мешало бы обсуждать в этом круге, и уж во всяком случае, не посоветовавшись, вряд ли стоит делать личные заявления, если они не затрагивают интересы всего движения.

Больше того, даже то, что имело место 10 декабря 1978 года в Москве, не получило должного звучания по радио, и мир до сих пор не знает, что же было на самом деле: Би-Би-Си в тот же день в кратком сообщении передало лишь то, что молчаливой демонстрации власти не препятствовали и что на демонстрации было задержано всего лишь 9 (?) человек, в то время как было арестовано в тот вечер 52 человека, иные из них были избиты, площадь Пушкина была обнесена забором (который стоял всего 2 дня), и были пущены в ход компрессорные машины, чтобы глушить людские голоса. И все это делалось в День... прав человека, в его 30-летие! Недостаточное и несвоевременное освещение событий и создает впечатление, что диссидентов всего "кучка". К тому же, если журналисты даже передали бы, что задержано 52 человека и несколько из них избито, то этому могут не поверить иные радиослушатели, поэтому неплохо бы перечислять фамилии, имена и отчества *всех*, не жалея на это времени: порой чувствуется, что по радио нечего передавать, и эфир в это время занимают третьестепенными материалами, а то, что значимо для демократического движения и что интересует население, нередко остается в стороне. Конечно, не следует забывать того, что наши власти могут в любой момент восстановить практику глушения иностранных радиопередач... Обо всем этом можно бы поднять вопрос на широкой пресс-конференции (кстати, не мешало бы проводить пресс-конференции не келейно, извещать о них не узкий круг лиц: это недемократично, т.е. противоречит демократическим целям движения, его сути, его названию). Население должно знать, что демократическое движение живет, здравствует, не уснуло, и поэтому все, что в нем происходит, должно по возможности освещаться тут же, в полную меру, а

не мельком, впопыхах, скороговоркой, как это часто делают "голоса". Обычно заявления, обращения, протесты не объявляются полным текстом, а лишь в кратком изложении (в двух-трех фразах), отчего теряется весь эффект их. Больше того, иные стороны диссидентской жизни, требования, заявления остаются долгое время вовсе неизвестными широким кругам населения. Конечно, никто никому ничем не обязан. Речь здесь идет лишь о пожеланиях.

3. Кроме фактологической информации, протестов, требований, нужно бы Хельсинкской группе, на наш взгляд, больше внимания уделять *конструктивным* предложениям. Так, представляется, например, весьма конструктивным предложить правительствам США и СССР заключить *соглашение о взаимном контроле за соблюдением прав человека* в таком примерно плане:

"Поскольку правительства США и СССР обвиняют друг друга в нарушении прав человека, а оппозиционная общественность каждой из обеих стран обвиняет свои карательные органы в том, что они выносят гражданам приговоры по сфабрикованным, фальсифицированным "делам", на основании лжесвидетельств, в нарушение своих же уголовных кодексов и международных пактов, подписанных правительствами этих стран, и в том, что психически здоровых людей помещают в психиатрические больницы и что в них содержат в принудительном порядке людей, не являющихся опасными для других граждан,

обе стороны договариваются:

— послать в ближайшее время друг к другу свои компетентные комиссии для рассмотрения сомнительных дел и возбуждения ходатайства о пересмотре тех из них, которые комиссии найдут юридически необоснованными;

— при пересмотре подобных дел следственными и судебными органами данной страны должны иметь право присутствовать компетентные лица (юристы) другой страны;

— с целью предупреждения случаев фальсификации судебных дел в дальнейшем предоставлять право юристам и психиатрам каждой из обеих стран присутствовать на судебных процессах и экспертизах в другой стране и выступать там в качестве адвокатов и экспертов;

— допускать компетентных лиц и представителей общественности другой стороны обследовать условия содержания заклю-

ченных в местах отбывания наказания, а также условия содержания тех, кто помещен в психбольницы;

— обязательно публиковать в прессе каждой страны все материалы юристов и психиатров, содержащие взаимную критику юридических кодексов, практики судопроизводства и содержания заключенных”.

Если американское правительство пойдет на такое соглашение, а наше правительство откажется от подписания подобного соглашения, то это лишит нашу прессу возможности спекулировать тем, что, мол, не только у нас, а вот-де и на демократическом Западе нарушаются права человека, и что не ему нас поучать. Такое соглашение представляется бесконечно важным для защиты прав человека во всем мире. Кампания в США за заключение данного соглашения существенно помогла бы борцам за права человека, их благородной правозащитной миссии. Тогда у нас прекратились бы ”оправдания” типа: сфабрикованы судебные дела не только наших правозащитников, но и дела Чейвиса или Шакур; все, мол, правительства и политики подлые, такова, мол, закономерность любого государства, и нечего, дескать, пенять только на тоталитаризм. Словом, нам представляется предложение о заключении такого соглашения крайне необходимым и давно назревшим. К нему могли бы затем присоединиться и другие страны.

Хельсинкской группе, думается, следовало бы вернуться и к серьезной, неотложной проблеме об Олимпиаде-80. Правда, Группа эта уже однажды составила определенный документ, но он почему-то прошел мимо внимания адресата и не прозвучал. Передано было затем лишь частное мнение А.Д. Сахарова, которое не совпадает в данном вопросе с мнением Хельсинкской группы, мнением, являющимся, как нам представляется, более обоснованным. Ведь недопустимо, чтобы мировая общественность допустила использование великого международного спортивного праздника для ”очистки” Москвы от диссидентов, чтобы олимпийский пир был осуществлен на трагедиях людей, вся ”вина” которых состоит в том, что они м ы с л я т, чтобы демократический мир своими собственными руками способствовал в таком случае стремлению ликвидировать в нашей стране демократическое движение, чтобы не нашлось в мире сил, могущих остановить соучастие МОКа в этом историческом злодеянии, которое, судя по происходящим арестам и обыскам, гото-

вится нашими властями. Если это — лишь ложные слухи (а западная пресса об этих слухах много пишет), то почему же наше правительство ни разу до сих пор не опровергло их, не успокоило мировое общественное мнение? Почему МОК и его председатель лорд Килланин не запросят об этом наше правительство? Да, мы как патриоты очень хотим, чтобы международный спортивный праздник проходил в нашей стране, но нельзя спортивные интересы ставить выше общечеловеческой морали. Нельзя радости для одних обеспечивать ценой горя для других. Стоит напомнить об этом лорду Килланину.

4. Нужна, думается, в рамках Хельсинкской группы и углубленная *юридическая* работа: необходим не только теоретический, логико-этический анализ несостоятельности наших юридических нормативов, анализ несоответствия Уголовного кодекса Конституции и международным конвенциям, подписанным и нашим правительством, но и анализ практики, нарушающей даже эти наличные (плохие) нормативы.

Примечательно, например, что когда какое-либо западное правительство запрещает принимать на работу людей, ссылаясь на то, что они стремятся силой низвергнуть конституционные установления, то наша пресса истолковывает эти защитные акции как... антидемократические, как антиправовой произвол; а когда наше правительство бросает в застенки людей лишь за то, что они требуют подчинного осуществления конституционных прав, то наша пресса и пропаганда заламывают к небу руки: "Любое правительство, любое государство *защищает* себя и вправе это делать". Да, защищать себя можно, но адекватными, конституционными, демократическими мерами...

Аналогичных вопросов, требующих критического анализа, немало.

Следует, видимо, снова проанализировать и более четко (что одновременно означает и более гибко) определить наше отношение к наличной Конституции. Пока шло обсуждение ее проекта, мы выражали отрицательное к ней отношение, поскольку она намного хуже бухаринской Конституции 36 года, которая тоже была далеко не совершенной. Мы и теперь можем и должны продолжать эту критику и настаивать на изменении нынешней конституции; однако надо, по нашему мнению, вместе с тем требовать ее выполнения и показывать, что даже и она не выполняется. В ней имеется ряд статей, в которых говорится о том,

что предоставляется свобода слова, печати, собраний, объединений, *если* она не наносит ущерб интересам социализма, общества, народа, государства. Правительство решило, что это беспрецедентное антиправовое, антиконституционное, антидемократическое "если" даст ему возможность безнаказанно расправиться с диссидентами, правозащитниками, оппозиционерами, сажая их в тюрьмы, выносить им обвинительные приговоры. Ничего подобного. Ведь не определено, *судьи-то кто*. Не определены критерии того, что в интересах социализма, народа, общества, государства, а что в ущерб им. Мы должны подчеркивать, что все обстоит *как раз наоборот*: вся деятельность правозащитного движения, все высказывания и заявления правозащитников, опубликованные ими документы, равно как деятельность свободного профсоюза, равно как пропаганда религиозного мировоззрения и требования обеспечения прав нацменьшинств и даже пропаганда несоциалистических взглядов не противоречат интересам ни социализма, ни общества, ни народа, ни государства (т.е. страны) и, стало быть, не наносят им ущерб: *подлинный социализм предполагает свободу диалога*. А вот деятельность властей по преследованию правозащитников, инакомыслящих (т.е. свободомыслящих) наносит *прямой* ущерб социализму, обществу, народу, государству, она-то как раз и есть антиконституционная. Но мы не требуем судить их за это, мы требуем лишь прекратить подобную антиконституционную, антидемократическую деятельность.

Тот или иной правозащитник или член свободного профсоюза может быть по своим убеждениям и несоциалистом, но его деятельность, коль скоро он ею отстаивает элементарные права человека, не противоречит (и по своей сути не может противоречить) интересам социализма: подлинного социализма нет и быть не может без этих элементарных прав.

Мы глубоко убеждены, что именно такая постановка вопроса правильна и плодотворна для демократического движения. Упрямство же, тем более фанатизм (какой угодно) — плохие советчики...

5. Поскольку Хельсинкская группа возникла как группа по контролю за выполнением соглашения между 35 правительствами, то она и обращается, как правило, только к правительствам. Между тем, думается, по вопросам о нарушении у нас элементарных прав человека надо бы прежде всего обращаться к *обществен-*

ности — как внутри страны, так и вне ее. Важно обращаться и к мировым профсоюзным организациям, и к демократическим, социалистическим и еврокоммунистическим партиям. Ведь, строго говоря, довольно странно, что отсутствует должная связь между журналистами социалистической, еврокоммунистической прессы и демократическим движением в нашей стране: ведь это ослабляет благородное дело демократизации нашего общества, о необходимости которой говорят и социалистические, и еврокоммунистические партии.

6. Все сказанное сопряжено, как ни парадоксально, с явно выраженной *моноидеологичностью* ("однопартийностью") Хельсинкской группы, что, на наш взгляд, и является основной слабостью ее, сказывающейся на всем нашем демократическом движении. Вполне резонно, что она — не партийное, не политическое объединение и посему приглашает в свой состав людей лишь по их личным качествам. Но — повторяем свою мысль — поскольку волею обстоятельств и благодаря своей большой работе Хельсинкская группа оказалась в центре всего демократического движения, этот аргумент перестает быть убедительным: забота о сохранении и развитии демократического движения требует, чтобы в Хельсинкской группе были представлены различные социально-политические, идеологические течения, иначе она оказывается сформированной как сколок с нашей тоталитарной догматической системы (которую мы ведь сами критикуем), только с обратным знаком. Налицо, таким образом, явное логическое противоречие: нельзя бороться за элементарные права человека, в основе которых как раз и лежит принцип терпимости к разным направлениям мысли, и одновременно быть нетерпимыми, изолироваться от других течений, которые хотят бороться за то же. Сила диссидентского движения в Чехословакии и Польше — подчеркиваем снова и снова — именно в том и состоит, что там различные комитеты его *плюралистичны*, что соответствует тем требованиям, которые само движение выставляет. Моноидеологичность лишь способна оттолкнуть от демократического движения либералов, околодиссидентов, трудящихся. Тогда *правозащитное* движение рискует выродиться в *самозащитное*.

Моноидеологичность обуславливает определенную замкнутость, изолированность. Это не способствует активизации остальных диссидентов, многие из которых вынуждены только потреблять информацию, хотя могли бы и хотели бы делать больше.

Чувствуем, как кое-кто хочет нам возразить: зачем вторгаться в слаженную Хельсинкскую группу; пусть представители других течений, например, социалисты, марксисты-демократы или демократы-почвенники создадут свои комитеты: места под солнцем всем хватит, поле деятельности огромное.

Да, можно пойти и по такому пути. Но от такого распыления демократическое движение в целом лишь проиграет: оно еще не настолько сильно и велико, чтобы иметь несколько центров. Каждое идеологическое течение может, конечно, сплотиться в самостоятельную группу: могут быть группы христиан-социалистов и христиан-несоциалистов, социалистов-демократов и демократов-несоциалистов или просто либералов, но правозащитные группы (комитеты, объединения) на то и *правозащитные*, что защищают права людей *любой* идеологии, поэтому они должны включать в себя представителей всех течений. Как не может быть медицинских формирований отдельно для лечения христиан, отдельно для атеистов, отдельно для социалистов, отдельно для несоциалистов, так, думается, не может быть и правозащитных формирований отдельно для одних, отдельно для других, отдельно для третьих и т.д.

Иначе говоря, внутри демократического движения могут существовать различные идеологические объединения, но все они при том могут быть охвачены единым центром. Причем имеется в виду не обязательно организационный, оформленный центр, директивный, руководящий, регулирующий, управляющий (как у нас трактуется принцип "демократического централизма"), а информационный центр, центр общения, защиты, правозащитный центр, иначе все обречено на разброд.

Самое верное, на наш взгляд, сохранить и укрепить уже сложившийся центр в лице Хельсинкской группы. Но как демократические силы на Западе все больше и больше проникаются идеей "исторического компромисса", пониманием того, что без альянса с социалистическими и еврокоммунистическими объединениями серьезное демократическое движение в современном мире невозможно, так тем более это должны бы понять демократы и правозащитники в нашей стране. Правам человека противостоит здесь мощный тоталитаристский режим, и добиться каких-либо успехов в этих условиях демократическое движение может только при объединении *всех* антитоталитаристских течений при серьезной поддержке демократических, социалистических и евро-

коммунистических сил Запада. И лишь когда наступит демократия, тогда каждое течение будет открыто доказывать народу преимущества того или иного социально-экономического уклада. (Что касается сторонников социализма, то они уверены, что народ при подлинной демократии абсолютно свободно выберет социализм. Если же нет, то социалисты останутся в оппозиции до тех пор, пока не убедят народ — *словом, а не силой*, не оружием). Главное для всех нас — добиться именно демократии. Этого можно достичь только путем осмысленного *единения* — на основе осознанного выбора четкой позиции.

Мы очень хотели бы, чтобы члены Хельсинкской группы прислушались к нашим предложениям, преодолели бы свой "изоляциялизм", с одной стороны, и свою излишнюю скромность, выражающуюся в том, что Хельсинкская группа не стремится быть в центре движения. Конечно, рано или поздно движение может породить новые центры, но — пройдя через серьезный, тяжелый кризис, через излишние муки, ненужные издержки и потери и без того неокрепших сил его, ищущих новые формы координации своих звеньев.

Жизнь ставит перед Хельсинкской группой все новые и новые проблемы: отношения с настойчиво возникающими свободными профсоюзами, с различными социально-политическими течениями, с различными слоями трудящихся. И еще, в наших трудных условиях кое-кто, активно участвующий в движении уже много лет, может почувствовать и усталость. Имеет ли он моральное право на отдых, на отход от активной деятельности? Да, конечно, но с одним, по нашему мнению, условием — должна быть обеспечена преемственность, иначе каждый раз придется начинать все сначала, движение будет лихорадить...

Несерьезные, авантюристичные, безответственные люди, подгоняемые гипертрофированным честолюбием, вынашивают "идею бунта" против "Московского ядра" (Хельсинкской группы) и "Эмнести". Это — чрезвычайно злоносная идея. Но и оставлять все *status quo* тоже невозможно: нужны определенные изменения, сдвиги.

Одним словом, мы твердо убеждены, что в интересах дела — демократического движения — Хельсинкская группа должна не только сохраниться, но и развиваться, расширяться настолько, чтобы стать действительным центром этого движения: без серьез-

ного, солидного, достойного центра любое движение обречено раскрошиться.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

Выше уже упоминалось о попытках создания свободного профсоюза. Таких попыток было уже две. Ныне предпринята третья. И все они будут малоэффективными по крайней мере до тех пор, пока не установится взаимопонимание между ним и Комитетом защиты прав человека и Хельсинкской группой, являющимися по своей сути, как уже указывалось выше, естественным центром демократического движения.

Первая попытка создания свободного профсоюза была предпринята группой Клебанова. Эта группа и сплотившиеся вокруг нее люди пришли к выводу, что официальные профсоюзы в нашей стране, объявленные "приводными ремнями" партии и государства, не могут защитить интересы трудящихся от работодателя, что подлинный профсоюз не может (по своему определению) быть зависимым от государства и партии, если хочет быть профсоюзом, т.е. защищать интересы людей труда.

Но у этого свободного профсоюза был ряд существенных недостатков. Главные из них вот какие.

1. Он объединял людей разных профессий (в том числе и рабочих, и служащих, и инженеров, и медсестер), а называл себя *профессиональным союзом*.

2. В него входили, главным образом, люди уволенные (в основном за то, что выступали с критикой), справедливо требующие восстановления на свою работу; поэтому это был, скорее, *союз безработных*, чем работающих. (Кстати, одно это свидетельствует, насколько ложно утверждение, будто у нас нет безработных, равносильное утверждению, будто у нас в психбольницы не помещают здоровых людей). Сам по себе такой союз безработных тоже весьма важное явление, но он, конечно, не может заменить свободного профсоюза.

3. В свободный профсоюз входили люди из различных городов и районов страны, что, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, обусловило возможность властям легко и быстро фактически ликвидировать его: развезенные органами власти по местам жительства, они были заточены, главным об-

разом, в психбольницы, где были лишены возможности общаться.

4. Руководители свободного профсоюза объявили, что не имеют никакого отношения к диссидентам, что, мол, отмежевываются от них. В свою очередь и Комитет защиты прав человека, и Хельсинкская группа не проявили достаточного внимания к объявленному свободному профсоюзу. Клебановцы со временем поняли, что без связи с диссидентами-правозащитниками они останутся вовсе незащищенными. Ведь власти не посчитались с тем, что руководители свободного профсоюза заявили, что не являются диссидентами и не связаны с ними: все равно профсоюзников этих пересажали. Больше того, самого Клебанова упрятали так, что неизвестно, где он и жив ли. Кто же будет бороться за их освобождение, если не правозащитники? Клебановцы теперь ясно осознали, что отказываться от правозащитного движения — ошибочно. И это, кстати, лишнее доказательство того, что никакая экономическая борьба трудящихся за свои материальные, экономические, бытовые интересы невозможна вне борьбы за гражданские политические права и свободы человека, вне борьбы за демократизацию нашего режима и всей нашей жизни, как и наоборот, борьба за демократию невозможна без борьбы за непосредственные социально-экономические интересы трудящихся.

Вскоре была предпринята вторая попытка создания объединения трудящихся в виде независимого профсоюза. Ныне налицо третья попытка — в виде межпрофессионального объединения. Наше глубокое убеждение, как уже подчеркивалось выше, состоит в том, что для того, чтобы подобные попытки стали, наконец, эффективными, необходима прежде всего глубокая связь между объединениями трудящихся и демократическим движением в лице его центральных групп. Необходим альянс демократического движения и рабочего (социально-экономического) движения.

Дело свободных профсоюзов должно оказаться в руках серьезных, солидных людей, далеких от каких-либо авантур: свободные профессиональные или межпрофессиональные (межотраслевые) объединения не должны заниматься политическими акциями (их дело — защита социальных, экономических, материальных и духовных интересов трудящихся), но вместе с тем они не могут не опираться на правозащитное (диссидентское, демократическое) движение.

Весьма важным моментом для эффективной деятельности свободного объединения трудящихся является также то, чтобы ядром его, основным костяком были ныне работающие, а не, главным образом, уволенные (т.е. в данное время не работающие).

Наконец, не менее важно не ограничиваться лишь одними декларациями, а искать пути, формы и способы реальной защиты свободными профсоюзами своих членов и оказания им всевозможной помощи. Это в наших условиях является самым сложным и самым трудным делом. Но именно здесь, думается, ключ к успеху.

ДИССИДЕНТЫ, ЛИБЕРАЛЫ И ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ

Будущее России зависит в значительной мере от взаимодействия между диссидентами и либералами (как интеллигентами, так и рабочими), о чем мы уже мельком писали выше. Между тем, после того как значительная часть либералов отшатнулась от диссидентов, отчуждение между теми и другими принимает порой форму обоюдного осмеяния: либералы называют диссидентов дон-кихотами, безнадежными утопистами, людьми, не считающимися с обстоятельствами, бессмысленными самопожертвенниками; диссиденты же называют либералов инерционно мыслящими, премудрыми пескарями, оппортунистами, приспособленцами к наличным обстоятельствам. А этим отчуждением ловко пользуются власти, проводя и тут политику "разделяй и властвуй". Между тем еще Толстой говорил: "Что только не осмеяли люди?..", а Гегель: "Чему только нельзя найти основание?", и "в чем только, — добавим от себя, — нельзя найти самоутешение?" Так и иные либералы, видя, как власти, разделяя и повелевая, расправляются с диссидентами на фактически закрытых судебных процессах и как "сотрудники" стали уже "куда-то" уводить из очередей женщин, жалующихся на отсутствие мяса, — эти либералы, пытаясь самооправдаться, рассуждают примерно так:

— Всякий, любой человек, живущий в социуме, поддается его законам, социально-психологическому климату, веянию, а не, мол, страху, трусости, боязни или неумению мыслить; и тот, кто не поддается этому, тот патологичен...

— Наш народ никогда не взбунтуется из-за отсутствия мяса, а лишь если его заставят работать; и поскольку это ему не грозит, то данный режим стабилен, а посему... не трать, кума, силы и спускайся на дно.

— Всякая оппозиция связана с иллюзией владения истинной, а когда она (оппозиция) приходит к власти, она делает *то же*, что ее предшественники. Так же, возможно, и диссиденты поступили бы...

Но не говоря уже о том, что если оппозиция приводит к смене диктатуры демократией, то последняя далеко не то, что ее предшественница, и что диссиденты ни к какой власти не стремятся, либералы в своих фаталистических концепциях (концепциях обреченности) упускают из виду, что если правительство дает им время от времени какие-либо послабления, то только потому, что имеется "дон-кихотское" демократическое движение "патологических" личностей. Если правительство допускает публикацию ряда произведений Трифонова, Распутина, Битова, Абрамова, Белова, Окуджавы, Тендрякова и др., то лишь потому, что опасается, как бы и эти писатели не ушли в "стан" диссидентов, как Солженицын, Некрасов, Копелев, Владимов, Коржавин, Корнилов, Войнович и др. С другой стороны, если власти, несмотря на жестокие репрессии в отношении диссидентов, все же "терпят" их, то не только потому, что стесняются демократической западной общественности, социалистов и еврокоммунистов, но и потому опять-таки, что опасаются, как бы это не вызвало неожиданную реакцию со стороны либералов же: последние не могут не понимать хотя бы того, что если правительство ликвидирует корни диссидентского движения, то оно потом возьмется *ведь за них*, ибо больше-то не из кого будет делать "врагов", а без последних, как ни крути, не обойтись никак: на кого тогда сваливать все провалы во внутренней и внешней политике?

Все это должно склонять диссидентов и либералов преодолеть никому (кроме тоталитаристов) не нужное отчуждение между ними и пойти навстречу друг другу. Иначе история не простит этого отчуждения ни тем, ни другим.

Симптомы начинающегося сближения уже налицо. На смену тем либералам, которые протестовали против попыток реабилитировать Сталина, против процессов над Синявским и Даниэлем и которые взхлеб хвалили Солженицына, а затем от-

крестились от самого диссидентского движения, сейчас идет новое поколение — либералы конца 70-х и начала 80-х годов. Но мы полагаем, что не потеряно и прежнее поколение — либералы-шестидесятники: они переживают духовный кризис, находятся на распутье, их терзают раздумья. Хочется верить, что они не сказали своего последнего слова... И списывать их со счетов — большая ошибка.

Либералы не могут, вопреки тому, что тшятся прибегнуть ко всякого рода утешительным концепциям, не видеть, как стагнирует хозяйство, как растут очереди за продуктами, как расцветает... очередной культ вождя, как ущемляются не только гражданские, но и социально-экономические права трудящихся.

Либералы не могут не призадуматься над тем, что в ответ на критику словом со стороны диссидентов власти применяют к ним "критику" оружием, т.е. долгосрочные заточения в тюрьмы и психушки; что на требования диссидентов, настаивающих на диалоге с властями о насущных проблемах нашего социального быта, власти отвечают... арестами и выдворением из страны.*

Либералы не могут не внять тому самоочевидному факту, что все диссиденты (каких бы социально-экономических направлений они ни придерживались) — явные противники насилия, мести, что они не борются с отдельными личностями, отдельными руководителями, они не желают никому зла и не стремятся кому-либо мстить. Правительство, власти, "органы" в ответ на гуманные, мирные методы борьбы диссидентов отвечают увольнениями, физической расправой, лишением свободы, застенками... И, конечно, либералов не может не терзать вопрос: разве подобное совместимо с социализмом, формально объявленным у нас? Все это может и должно способствовать их сближению с диссидентами. Поэтому нужны поиски общей платформы борьбы, которая удовлетворяла бы как диссидентов, так и широкие слои либералов. А для этого нужна, кстати, и углубленная теоретическая работа, а не псевдотеоретическая заумь, утопающая в головоломном споре о словах (и в "птичьем" языке), нужна работа, имеющая определенный, непосредственный выход в действительность.

* Неправду сказал Андропов, будто диссиденты боятся идти к рабочим на дискуссию, опасаясь, что не унесут ноги; наоборот, это власти изолируют народ от диссидентов, — последние же только и требуют эти дискуссии в любой момент, в любой аудитории, с кем угодно, начиная с Андропова.

ВНУТРИДИССИДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Сложившиеся формы демократического движения имеют тот главнейший недостаток, что охватывают подлинным активным участием в нем лишь незначительный круг диссидентов, готовых к такому участию. Упомянутые выше комитеты составляют лишь центр движения, но не должны же и не могут быть единственными формами его: центра нет, как известно, если нет вокруг него периферии.

К тому же наряду с борьбой за права человека нужна серьезная *теоретическая* деятельность. Необходимо преодолеть нигилизм в отношении теории, бытующий у некоторой части диссидентов (даже весьма солидных). Для этого следует использовать различные возможности. Так, недавно в "Правде" было опубликовано сообщение о том, что в ООН (в ЮНЕСКО) было принято решение ввести повсеместно (во всех странах) преподавание курса "Права человека" (в школах, в ВУЗах) и изучение их вневузовским путем. Под этим документом имеются подписи представителей УССР, БССР, СССР. На этом основании мы имеем законное право организовать вневузовские *семинары* по изучению прав человека. А поскольку они в широком плане касаются всех сфер социальной жизни, то эти семинары могут превратиться в клуб социальных проблем современности с углубленной теоретической работой.

Весьма важным является общение между столичными и провинциальными диссидентами. Во многих городах страны, как бегло отмечалось выше, имеются диссидентские группы, есть и объединения, но они не могут открыться, ибо они еще менее защищены, чем московские диссиденты. Иные из них, варясь в собственном соку, порой предпринимают авантюристические шаги, а иногда от их имени действуют просто проходимцы. Так, возмутительным является то, что кто-то вставлял места с хулигански-террористическими предупреждениями по адресу московских распорядителей Фонда в анонимные меморандумы от имени ВМИО (Всероссийское междеологическое объединение). Если ВМИО — не миф, а реальность, то, во-первых, почему бы ему как-то не проявиться, почему бы не установить контакты между ним и московским ядром демократического движения, а, во-вторых, почему оно не заявляет о своем отмежевании от шантажистских, хулигански-террористических мест

”меморандумов”? Разве шантаж и хулиганство (не говоря уже о терроре) — тем более в отношении правозащитников — совместимы с самой идеей и высокими принципами *междеологического* объединения, куда будто входят, как сказано в первом меморандуме, демократы, христианские социалисты, сторонники демократического социализма и неокommунизма ряда крупнейших регионов страны (Урала, Сибири и пр.) Причиной того, что в иных периферийных объединениях наличествуют симптомы авантюристических шагов (правда, совершенно другого плана), является определенная изолированность, кустарничество, отсутствие опытности, отсутствие серьезного общения с московским ядром.

Проблема общения осложнена специфическими трудностями: когда в движение входит весьма незначительное количество людей и личных знакомых, то они могут контактировать друг с другом непосредственно и притом часто; но когда в движение входит множество людей, то уже становятся физически невозможными личные контакты со всеми. К тому же надо человеку не только контактировать, но еще и читать, писать, да и думать — а когда? Поэтому возникает определенное противоречие: как, с одной стороны, не обюрократиться, остаться чутким, добрым, отзывчивым, задушевым, а, с другой стороны, обеспечить себе время для творчества, которое возможно, кстати, только в одиночестве (в тишине). И поскольку диссиденты бессребреники (и даже известные пистатели и академики живут весьма и весьма скромно), то у них нет возможности иметь личных секретарей, поэтому члены семей их берут на себя эти тяжелые функции.

Но что при этом мы считаем действительно важным, так, во-первых, тот тон, которым все мы должны разговаривать с посетителями, с обращающимися к нам. Излишне, думается, доказывать, что он должен быть великодушным, доброжелательным, терпимым, обаятельным. Никакой даже толики высокомерия, снобизма, зазнайства, фамильярности, нетерпимости, грубости, ноток лидерства, превосходства, менторства ни у кого не допустимо, если мы, диссиденты, являемся демократами, если боремся против всего перечисленного у официальной тоталитаристской элиты. Между тем, порой это все же у нас проявляется. А не должно бы!

Да, трудно и творчеством заниматься, и общаться с многими

людьми, но приходится выкраивать на это время — и не малое: положение участника демократического движения обязывает.

Существенным для диссидентского движения является сохранение и развитие его высокого нравственного уровня — именно в этом его основная сила и достоинство. Поэтому оно должно избегать не так деловых "проколов" (полностью избежать их весьма трудно), как моральных "проколов". В вопросах нравственности мы должны быть беспощадно самокритичны. С этим связан ряд вопросов.

Так, не должно быть среди диссидентов такого функционального деления, при котором "амплуа" одних (как выразился Рой Медведев) — писать книги, создавать теории, быть кумирами, а назначение других — быть "функционерами", ходить на демонстрации, протестовать у зданий судов, сидеть "за них" в тюрьмах, лагерях, психушках. Никаких кумиров! *Каждый* должен быть личностью (а не "винтиком")! Вот каков по сути девиз демократического движения. Кумирство — черта тоталитарности, авторитаризма, а не демократизма. Вспомните историю российского либерально-демократического движения, начиная с Радищева: в нем *одни и те же люди* и книги писали, и в тюрьмах сидели, и в демонстрациях участвовали, не перекладывая это бремя на плечи "негров", "рабочих лошадей" в движении. В освободительном движении не может быть и не должно быть табеля о рангах. Чернышевский, например, если вести о нем речь в интересующем нас плане, и книги писал, и журнал редактировал, и в "Земле и воле" участвовал, и в центре сидел, и в ссылке — и не выбирал себе роли ("амплуа") более теплой, удобной, уютной и одновременно звонкой, да не кощунствовал к тому же, что подобная роль более важна, чем у тех, кто томится в застенках...

Моральный уровень нашего движения выражается и в том, как его участники относятся к эмиграции. Да, свобода передвижения, в частности эмиграции, — одно из важнейших прав человека. Каждый волен требовать осуществления этого права и уехать за рубеж, тем более, если он устал от многолетних репрессий. Нравственное чувство, однако, не может не удерживать от этого шага прежде всего тех участников демократического движения, на которых возложены надежды, в защите которых люди нуждаются, на помощь которых они рассчитывают. Такой участник движения не может не помнить, что он не "кошка,

гуляющая сама по себе”, что он несет определенную ответственность перед другими, что с его отъездом рушатся чаяния, охватывает уныние, расшатывается вера в силу движения. И, конечно же, нравственной вершины достигают те, к сожалению, редкие люди, которые при ультиматуме, предъявленном КГБ, выбирают тюрьму, лагерь, психушку, а не благополучное существование на Западе.

Огорчительно, что чаще бывает наоборот. А бывает и так, что иной вступает в демократическое движение именно с тем, чтобы нажить ”политический капитал” и затем уехать за границу. Это, конечно, не самый безопасный способ: имеется риск угодить вместо Запада на Восток. Однако бывают и совершенно неожиданные пассажи, особенно когда в Хельсинкскую группу вдруг приглашаются люди лишь ”для украшения”...

Отметим попутно, что в правозащитных комитетах, Хельсинкских группах, независимых профсоюзах и т.д. вполне уместны комиссии, отделения (как их ни назови), занимающиеся защитой права граждан на эмиграцию, но в эти комиссии, отделения вряд ли могут входить сами желающие эмигрировать, вернее, использовать демократическое движение в качестве трамплина для эмиграции: это дурно пахнет...

Далее, нам представляется, что участнику демократического движения не следует замыкаться в кругу близких единомышленников. Тип ”заикленного” диссидента, фанатика, отстраняющего от себя все житейское, как мелочное, все ”неделовые” связи, так же неприятен, как и вечно краснобайствующий или прожорливый потребитель Самиздата. Ведь как иначе расширить круг участников демократического движения, если не привлекать к нему порядочных, но мало информированных или не сводящих в своем мышлении концы с концами людей? Если, в частности, многие либералы отшатнулись от демократического движения, то это не значит, что они от него навсегда отсечены. С ними нужно объясняться, на наш взгляд, надо помогать им преодолеть инертность, директивностное мышление, преувеличенное чувство значимости своей профессиональной деятельности, которой они зачастую прикрывают свой страх.

И, конечно, никак не допустимы в диссидентстве случаи ”бесовщины” – необоснованных подозрений по отношению к товарищам, сплетен, наветов, мелкого политиканства, интриг, ”перемывания костей”, в основе чего порой лежат тщеславие и честолюбие.

Нужна, необходима критика, но непозволительны безответственные демарши, публикации таких беспардонных "высказываний", таких "писем" или других материалов, которые могут объективно, помимо воли авторов служить информацией "компетентным органам" о критикуемых или могут способствовать ослаблению борьбы мировой общественности за их освобождение.

Но невозможно согласиться и с обратным явлением — явлением, которое можно бы назвать нагнетанием взаимной злобы: если авторы безответственных публикаций нарушили нижнюю черту морали и их писания граничат с клеветой, то это не значит, что следует "за это" в свою очередь клеветать на них. Так, в статье А.Авторханова "Рой Медведев: клеветник или провокатор?" ("Русская мысль", 14 декабря 1978) сказано: "Все это наводит на мысль, что, может быть, и по делу А. Гинзбурга, и по делу П. Григоренко источник *агентурных* доносов был один и тот же: Рой Медведев. Иначе невозможно объяснить..."; он пользуется "маской диссидента", "яркий *отпечаток фирмы чекистов*", "*брежневский дезинформатор*"; исключение Р. Медведева из партии и лишение гражданства Ж. Медведева "может оказаться *липой*"; он "*единственный диссидент*" в СССР, которому "за это (т.е. за издание книг на Западе) тюрьмой не угрожают" (нет, далеко не единственный); "он стал им (т.е. знаменитым диссидентом), не посидев даже сутки" (опять же не он один); "но тогда спрашивается, стал ли сам Медведев "знаменитым диссидентом" *из милости* КГБ или из-за его "преступного бездействия"?". Авторханов настолько далеко зашел, что говоря о Рое Медведеве, вспоминает... *Азефа* (подчеркнуто всюду нами — авторы).

Считая, что Р. Медведев заслуживает самой резкой критики и недвусмысленного осуждения (что и имеет место в "Открытом письме" ему и "Заявлении" одного из нас), мы вместе с тем поражены, как мог Авторханов настолько перейти меру, чтоб наградить Медведева букетом таких эпитетов, которые подстать духу 37-го года и той технологии, которую он, Авторханов, сам вскрыл в книге "Технология власти". Видимо, проживя в условиях тоталитаризма, трудно освободиться от его груза, даже очутившись затем вне пределов его досягаемости. Такой *злой* стиль отношений ничего хорошего не сулит. Критиковать, возмущаться — даже резко — можно и нужно, но не для того, чтобы отлучать, а, наоборот, для того, по нашему убеждению,

чтобы *сохранить человека* в человеке, чтобы дать ему возможность вернуться на достойную стезю.*

”Бесовство” и авантюризм иных диссидентов выражается и в их поползновениях внести разброд в движение или в какой-то сфере его, на шуметь, намутить воду, все и всех перепутать и... смяться (смотаться) восвосяи, оставив все на произвол судьбы. Словом, пришел, увидел,.. наследил. А зачем? Очень ведь досадно, больно, когда лавры Герострата не дают покоя порой даже диссидентам с немалым стажем (и даже эковским), у которых позади немало хороших деяний. Мы не собираемся никого ни поучать, ни увещевать: свой путь каждый волен выбирать сам. Мы лишь выражаем свое глубокое сожаление при виде погони за подобными ”лаврами”: на этом пути ничего серьезного пожать невозможно.

Проблемы современного демократического движения, особенно нравственные, на удивление сходны с теми, которые волновали наших предков, скажем, русских демократов прошлого века. Известная образованность в этой области никому не мо-

* Авторханов – далее – настолько поддался опаснейшему соблазну злобствования, что от Медведева перешел к сногшибательному ”обобщению”, назвав *мифом* наличие у нас группы марксистов-диссидентов: ”Если такая группа действительно существует, то, – острит Авторханов, – в нее входят 300 тысяч профессиональных партаппаратчиков и 420 тысяч профессиональных чекистов”. Говоря серьезно, следовало бы подчеркнуть, что Р. Медведев не является адекватным выразителем позиций как диссидентов-марксистов, так тем более диссидентов-социалистов, – но если встать на путь отождествления тех и других с аппаратчиками и гебистами, на путь моноидеологизма (с обратным знаком), то можно заранее сказать, что такое диссидентское движение действительно обречено. Послушать Авторханова, то получится, что все диссидентское движение в Чехословакии и Польше – миф, ибо большинство его участников (как и Хавеман, Бирман, Баро в ГДР) социалисты и марксисты. А ведь как раз наоборот: диссидентское движение там довольно сильное. Не мешало бы Авторханову вникнуть в статью К.Ф. в том же номере ”Русской мысли”: автор подчеркивает правоту М.Михайлова в том, что с современным коммунизмом (то бишь ”коммунистическим” тоталитаризмом) наиболее эффективно может бороться не правое движение, а как раз *социалистическое*.

жет повредить, как и вообще приобщение к культуре человеческих отношений*.

Чтобы не показалось кому-либо, что мы ударились в морализаторство, чтение проповедей, в подчеркивание недостатков у других, отметим, что и себя никак не считаем лишенными их. Особенно это касается необходимой меры осторожности, которой не хватает всем нам. И поэтому, хотя нам импонирует пафос Г.Владимова, когда он в открытом письме Р.Медведеву пишет, что демократическое движение презирает конспирацию в виде подпольщины, но мы тем не менее не можем согласиться с ним, когда он на этом ставит точку: да, достоинство диссидентов в их освобождении от

* Поднятые в этом разделе вопросы, конечно же, не исчерпывают всего круга актуальных этических проблем демократического движения. Так в стороне остались такие большие вопросы как:

– Нравственно ли диссиденту выходить на свободу из заключения, из психушки путем Галилея или Бакунина, т. е. словесным (внешним) "отказом" от своих убеждений, внешним признанием своей вины, обещанием "исправиться", утверждением, что "выздоровел" (стало быть, согласием, что был "психически болен") с тем, чтобы обмануть властителей-насилльников и, выйдя на волю, снова включиться в борьбу? Верно ли исходить при этом из того, что насильники – не нравственные существа, и поэтому обмануть их не есть нарушение морали?

– Нравственно ли донести на стукача, чтобы обезвредить его дальнейшие подлости? Ну, а оговорить его, сделать так, чтобы его посадили?

– Где кончается осторожность в отношении стукачей и начинается, с одной стороны, легкомысленная беспечность, а с другой стороны, стучачествомания, болезненная подозрительность?

– Можно ли жертвовать благополучием своей семьи, детей во имя демократического движения? В каких ситуациях? (Ведь даже уход из семьи, несогласной с участием ее члена в движении, уже причиняет ей страдание. Напомним, что аналогичными драматическими ситуациями полна история многих еврейских семей, часть которых хочет ехать строить свое национальное государство, а другая часть корнями вросла в Россию, заинтересована остаться, особенно при межнациональных бракосочетаниях. Как же быть в таких случаях с тезисом Достоевского о слезинке ребенка?..)

– Ну, а насколько нравственна обратная ситуация – когда кто-либо, включившийся в диссидентское движение в условиях, при которых ему лично это уже не очень грозит, вместе с тем оберегает от движения своих детей или внуков?

Но эти весьма сложные вопросы этического выбора (равно как и вопрос о том, насколько нравственно стремление к обеспечению себе "имени", особенно, если это сопряжено с выпячиванием себя и затиранием, замалчиванием других) – уже начало перехода в другую, специфическую тему, и мы не хотим отнимать "хлеб" у других авторов, которые изъявляют готовность включиться в дискуссию по всей гамме обозначенных проблем.

духовного рабства, в их открытом сопротивлении Левиафану, но открытость, отказ от подполья не означает отсутствия умения не болтать, до нужной поры сохранять ту или иную тайну.

Иные говорят: "КГБ и без того все знает и будет знать", — поэтому, мол, нечего осторожничать. Глупее этого придумать трудно: если даже и будет знать, то пусть лучше позже, чем раньше, и лучше меньше, чем больше. Иначе не успеем что-либо написать, опубликовать, как нас уже схватят, а записи аннулируют (и неправда, что рукописи не горят).

К тому же при любом телефонном разговоре (в условиях подслушивания) нужно думать о том человеке, с которым говоришь: у каждого человека свой "потолок" — своя готовность "засвечиваться" или оставаться до поры до времени в тени, и никто не имеет права распоряжаться его судьбой, говоря открытым текстом то, о чем ему нежелательно говорить. Надо *щадить* людей — это главное моральное требование, и не дай Бог придерживаться тут гнусного правила "чем хуже — тем лучше"...

В диссидентском движении, как сказано выше, есть хорошие традиции взаимопомощи, участники его — это люди, которые одной силой духа вырвались из тенет безличности, набрались мужества стать явочным порядком личностями в собственном смысле этого слова. Но даже и этого мало: если человек идет в демократическое движение, то он не может не учитывать, что оно накладывает на него особые моральные обязанности. В среде диссидентов, думается, особенно важно стремиться поддержать такой психологический климат, который не давал бы возможности перерастать взаимной критике, необходимым в здоровом движении принципиальным спорам в ссоры, склоки, нервотрепку.

С нас хватит того, что нам доставляют страдания и готовят все новые репрессии власти, — так уж сами друг другу не должны мы доставлять огорчений, должны щадить нервы друг друга. Нужна бережная забота о *каждом* участнике движения.

В заключение хотим снова подчеркнуть, что мы весьма и весьма далеки от мысли, будто изложенные здесь взгляды являются истиной в последней инстанции: мы лишь ищем ее и приглашаем участвовать в этих поисках всех заинтересованных в ней.

Виктор Сокирко

”ПЕРЕПИСКА С ПАРИЖЕМ”

Выясняя, что такое равенство и свобода, социализм и капитализм, нам не следует забывать, что живем мы не одни на свете, что за рубежом — и главным образом, в Западной Европе, уже существуют давние традиции использования этих терминов и они далеко не однозначны нашему пониманию. И если мы желаем быть понятными миру и в то же время учиться богатому западному опыту, то нам придется усваивать и западное понимание этих великих понятий и идеалов.

Конечно, мы не можем отказаться от того содержания слова ”социализм”, в котором воспитаны с детства (иначе просто не поймут соотечественники), но в то же время нельзя не учитывать, что в Западной Европе, где социал-демократические партии играют едва ли не ведущую роль в большинстве стран, ”социализмом” называют совсем иное, — а именно как еще нигде не осуществленный идеал, кардинально отличный от социализма, осуществленного у нас.

Один раз я попытался осуществить такое взаимопонимание в вопросе о социализме и либерализме в переписке с французским социологом, профессором Католического университета в Париже. Попытка эта оказалась, наверное, неудачной — главным образом из-за моих путанных вопросов и затрудненности переписки на русском языке. Но даже в своей неудачности этот диалог в письмах мне кажется показательной иллюстрацией возможных различий. Переписка продолжалась около года.

Первое письмо в Париж. Осень 1975 г.

Дорогой Роберт Павлович!

Я долго думал, как суметь основательно поговорить в короткое время Вашего пребывания в Москве, и ничего не мог придумать . . .

Но почему бы не начать этот разговор в письме? — если,

конечно, у Вас найдется время, силы и интерес. Думаю, что Ваши ответы будут интересны не только мне.

А вопрос у меня один и очень прост: "Почему, Роберт Павлович, Вы положительно относитесь к левацкой идеологии третьего мира, в том числе — к маоизму?"

В годы студенчества я сам пережил период влюбленности в Китай, штурмующий стройку коммунизма, веры в идеи Мао Цзэдуна. Несколько лет даже носил с вызовом значок Мао на груди. Теперь вижу — это была ошибка, моя личная "болезнь левизны".

Ведь сейчас и нам, а раньше и Вам было видно, к какой стратегии духовных и материальных сил приводят такие "р-р-революционные рывки"! Как же можно оправдывать маоизм или "культурную революцию" или маоистских последователей и союзников в странах третьего мира?

Эти страны только-только стали выходить из состояния технической и культурной отсталости. В естественных условиях они должны были бы от состояния "дикости" или иных докапиталистических укладов переходить к капитализму и дальше. Но сейчас многие из этих стран стремятся миновать стадию частнособственного капитализма, вернее, совсем ее не допустить. Эти страны считают для себя более удобным путь "некапиталистического развития" — что ж, может им и удастся установить у себя социализм нашего типа. Но ведь и капиталистический путь развития для ранее отсталых стран — прогрессивен. Маоисты и лидеры третьего мира часто говорят о "третьем пути": не капитализм, но и не социализм советского типа. А что же может быть еще? Может, сохранение остатков дикости и азиатского деспотизма (как в Китае)? Что может быть в этом привлекательного?

Мне важно узнать Ваши взгляды на идеалы третьего мира, потому что Вы, гражданин западной цивилизованной страны, солидаризируетесь именно с ними. Значит, в перспективе и для Франции, например, Вы не хотели бы иного?

. . . Мною движет не простое любопытство, а потребность в проверке собственных убеждений. И если хороший человек придерживается идей, тебе противоположных, то очень хочется понять свою возможную неправоту. Вот почему я решил по праву старого знакомства задать эти вопросы, надеясь не очень затруднить Вас. Только ради бога, не отсылайте меня к своим французским работам: без знания языка понимать эти тексты мне почти невозможно.

Дорогой Витя, дорогая Лиля . . . Спасибо за ваше интересное письмо . . . Постараюсь ответить на все его вопросы, хотя порусски мне очень трудно. . . Жаль, что вы не читаете французские книги, ведь точно по этой проблеме я написал статью "Маоизм, ленинизм и народничество". Она опубликована в журнале нашего института . . . в марте 1974 г., уже после моего путешествия в Китай. Вот пункты, которые я считаю интересными и важными:

1) Удивительно, что Вы думаете, что я положительно отношусь к "левацкой идеологии". Никогда в своей жизни не увлекался такой идеологией. Как Вы знаете, я преподаю "социологию международных отношений" в нашем институте, поэтому меня очень интересовала китайская революция, руководимая Мао Цзэдуном. Я читал много книг, написанных противниками и сторонниками ее, также посетил коммуны и разные институты. Наверное, многое, очень многое ускользнуло от моего внимания, но все же думаю, что Ленин был прав и проницателен, когда в статье, опубликованной в 1912 г. "Демократия и народничество в Китае", он написал, что Сун-Ят-сен и русские народники были очень схожи по своей идеологии. Мао, наследник Сун-Ят-сена и китайских националистов начала нашего века, сохранил многое из понятий этих националистических антиимпериалистических кругов, даже после того, как познакомился с марксизмом-ленинизмом. Надо только помнить, что Мао и его первым сотрудникам было уже 25 лет, когда в 1919 г. они впервые услышали о Ленине (и вероятно, тогда же — о Марксе). Наверное, в последующие годы они много читали и изучали марксизм, но для них марксизм не был "научной доктриной", а просто "инструментом" для китайской антиимпериалистической революции. Кроме того, большинство населения в Китае крестьяне, и в силу своего личного происхождения Мао интересовался проблемой освобождения крестьян (подобно "народникам"). После разгрома рабочего движения в китайских городах в 1927-30 гг. пришлось организовывать крестьян, чтобы продолжать революцию. Т.е. можно понять, почему маоизм выбрал, в конце концов, другой путь. Вот историческое объяснение (повторяю: думаю, что Ленин в своей статье 1912 г. хорошо предугадал эту ориентацию китайской революции в первую очередь на интересы крестьян).

2) По-моему, есть много полезного в маоизме для стран тре-

тьего мира, и особенно в условиях китайского народа (это не его "левизна" и не "азиатский деспотизм", а, если можно так выразиться, именно "народничество"). В своих путешествиях в Латинской Америке и Африке я заметил, что так называемый "некапиталистический путь развития" во многих странах можно было бы назвать "народничеством". . .

Вы знаете — я не марксист. Уважаю Карла Маркса, большого социолога, может быть, наилучшего социолога XIX века, но боюсь, что его наследники не были верны его учению: из учения Маркса они сделали догматы. Руководители стран третьего мира, особенно в арабском мире, думают, что можно использовать социальные открытия и учение марксизма, но все-таки найти новый путь к социализму. Почему Вы это называете "левизной" или "левацкой доктриной"?

Вы говорите о "левацкой доктрине" третьего мира, в том числе о маоизме. Думаю, что так говорить неправильно: 1) можно спорить о "левацком" характере маоизма (по-моему, единственная левацкая черта маоизма состоит в тезисе о "непрерывной революции"). Но было бы лучше характеризовать маоизм, как особый динамический вид народничества с сильно выраженными чертами национализма и антиимпериализма; 2) нельзя говорить о "левацкой идеологии третьего мира". Правда, в странах третьего мира, как во всех странах капиталистического мира, есть много студентов, увлеченных этой идеологией, но я не знаю никакого правительства в Африке, в Азии или Лат.Америке, которые положительно относятся к левацкой идеологии. Однако, есть много людей — не только студентов — которые относятся со вниманием к китайской революции, потому что видят в ней очень интересный опыт (социальный эксперимент) быстрых перемен в стране, где большинство населения состоит из крестьян. Все знают, что условия развития революции в Китае (стране громадного населения и ресурсов) не схожи с условиями в маленьких государствах Африки или Лат. Америки. И все-таки этот опыт увлекает, главным образом оттого, что кажется менее догматичным, чем в других социалистических странах. Не понимаю, почему Вы говорите об "отсталости" маоизма: конечно, Китай во многих аспектах остался относительно отсталой страной, и сами китайцы это признают, но искренно думаю, что в маоизме главное — динамический процесс развития. Это не значит, конечно, что я — слепой поклонник маоизма! Пожалуйста, не обвиняйте меня в этом! Знаю, что в Китае

есть две линии и что противники Мао Цзэ-дуна уже давно предпочитают другой курс. Может быть, после смерти вождя (как после смерти Сталина) произойдут важные перемены, но думаю, что даже при политическом и идеологическом сближении с СССР у китайской революции останется оригинальный (своеобразный) путь к социализму.

Что касается моей страны, Франции, то я не понимаю, почему Вы подумали, что я "хотел бы для Франции и для нас отсталости и маоизма". Думаю, что каждый народ должен сам выбирать свой путь к социализму. У нас, во Франции, существуют длительные традиции политической борьбы: и теперь у нас есть социалисты и коммунисты. Что касается групп маоистов, то они очень маленькие, преимущественно из студентов, для которых маоизм означает шумный обоюдный протест, борьбу на два фронта: против капитализма, с одной стороны, против догматизма коммунистической партии — с другой. Существует большое различие у нас между "маоистами" и многими людьми, которые со вниманием и интересом следят за китайской революцией, надеясь, что там существует что-то важное для развития человечества.

Может быть, дорогой Витя, дорогая Лили, Вы не согласитесь со мной: нам нужно было бы много времени для обмена опытом и мыслями. Не думайте, что я увлекаюсь левизной! У нас во Франции, особенно у меня в условиях работы преподавателем и профессором в Университете, считаю необходимым для прогресса общества и освобождения человечества построить такой тип социализма, в котором всегда сохранится возможность для гражданина выразить свое несогласие относительно официальной мысли. В эти дни читаю "Записки революционера" Кропоткина. Эта книга мне очень нравится и интересна. . .

Второе письмо в Париж. 19 мая 1976 г.

. . . Многие разъяснилось, но, конечно, не все. Я понял, что мне следует задавать свои вопросы многословнее и точнее, опираясь на уже высказанные Вами суждения, чтобы и Вам стало легче отвечать на них.

Проверьте, Роберт Павлович, правильно ли мы поняли Ваши слова: 1) Каждый народ должен выбирать свой путь к социализму. Для Франции желателен социализм с сохранением критики официальной мысли. 2) Для стран третьего мира, с преобладающим кре-

стьянским населением, очень интересны идеи народничества, идеи некапиталистического пути развития, а также опыт китайской революции. 3) Маоизм можно назвать разновидностью народничества с уклоном в сторону национализма и антиимпериализма. В маоизме есть лишь один элемент левизны — тезис о непрерывной революции (динамизм). 4) К левацкой идеологии у правительств стран третьего мира и у Вас лично существует скептическое и даже отрицательное отношение. Более благосклонны Вы к марксизму, первоначальные (недогматические) элементы которого Вы предлагаете использовать для поиска нового пути к социализму.

Правильно ли я Вас понял? Если да, то буду считать, что получил от Вас следующий ответ: "Никогда не увлекался левацкой идеологией, но считаю, что у каждого народа — свой путь к социализму. Для Франции желателен социализм, допускающий свободу критики правительства и официальной идеологии. Для крестьянских же стран третьего мира интересны народничество и маоизм".

Судя по этому ответу, мы с Вами оказались большими единомышленниками, чем я даже ожидал: мы тоже против левачества и за свободу критики! Для полного же разрешения моих недоумений остается выяснить следующие детали:

1) Термин "народничество" родился в России — огромной крестьянской стране. Но сегодня относить Россию к странам третьего мира невозможно — она уже прошла эволюцию от аграрной страны народнических идеалов к технически развитой стране с социально-демократическими идеалами. Не означает ли этот исторический факт, что народническая или маоистская идеология — лишь этап в идейном развитии крестьянства при переходе к индустриальному обществу? Что такой тип идеологий носит переходящий характер, а с нашей точки зрения граждан развитого мира — неприемлем, ложен. Ведь Россия так и не осуществила народнические идеалы, а пришла к своему современному состоянию, которое многие из ваших коллег называют государственным капитализмом. За это время сменились идеологические ориентиры, народничество забыто и отвергнуто. И как Вы не желаете для Франции народничества и маоизма, так и я не хотел бы этого ни для прошлой России, ни для нынешней, ни для какой-либо иной страны.

Таким образом, исторический опыт России записал народничество в разряд несостоятельных, ложных идеологических систем. Искать в нем что-либо полезное для развитых стран — бесполезно.

Вы согласны?

2) Мало того. Народничество кажется мне вредной идеологией даже для крестьянских стран, поскольку оно выдвигает ложные, неосуществимые идеалы. Конечно, есть в истории прецеденты, когда ложные идеалы толкали людей на полезную деятельность (как Колумб открыл Новый Свет в поисках старого Востока). Но, кажется, к народничеству это не относится.

Ведь народнические идеалы коллективизма, общинности, всеобщего равенства и пр. при попытках своего осуществления ведут к отрицанию свободы экономической деятельности людей, развития человеческой личности, против свободы творчества, т.е. ведут к казарме, к запрету на развитие, к диктатуре и реакции. На это еще указывал Ленин в своей полемике против народничества в конце прошлого века, при обосновании возможности капиталистического пути развития России. И я удивляюсь Вашему мнению о том, что в народничестве-маоизме есть много полезного для крестьянских стран.

Что же именно там полезного?

Обычный буржуазный либерализм был в России прошлого века гораздо более полезной и прогрессивной идеологией. Он правильно предсказывал ближайшее капиталистическое развитие России, технический прогресс, и потому в те годы Ленин был заодно с либералами (они носили название "легальные марксисты") — против народников.

Конечно, легко отмахнуться от этой мысли, как от старой и неинтересной истории. Но может, как раз в истории существует закономерность, по которой нынешние крестьянские страны станут со временем индустриально развитыми, повторят пути развития Франции или России? А если такой закон существует, то может, нынешним гражданам стран третьего мира лучше следовать примеру Ленина конца прошлого века и объединяться с буржуазными либералами против народников-маоистов?

Прав я или нет?

Однако, не только гражданам стран третьего мира приходится решать этот вопрос: народники-маоисты или либералы и марксисты? И во Франции есть сторонники маоизма, и у нас, наверное, есть потенциальные сторонники народничества. Нужно ли с ними спорить с общих либеральных позиций? Или напротив — объединяться с ними против либералов?

3) Однако, объединяясь с буржуазными либералами против народников, наверное нужно знать возможные пределы этого

союза. Ведь либералы не хотят идти к социализму. На их знамени стоит лишь один "буржуйский" лозунг: "Свобода и благосостояние!"

Вы написали, что каждый народ должен идти своим путем к социализму, т.е. преодолевать буржуазный либерализм. Но интересно, почему Вы считаете, что социализм выше "свободы и благосостояния"? На каком этапе истории буржуазный либерализм должен быть упразднен социализмом и почему?

4) И наконец, последний вопрос: Вы обмолвились, что китайская революция дает миру пример быстрых изменений в крестьянской стране. Но разве в Китае за годы революции произошли какие-либо существенные изменения в образе жизни людей? Разве Китай стал технически развитым и цивилизованным? Разве он перестал быть крестьянским и диктаторским? Разве исчез отработанный тысячелетиями механизм смены революций-восстаний — периодами реакции и имперской власти?

По-моему, ничего в Китае не меняется по существу, и весь его "р-революционный динамизм" — это бег на месте.

Вот Япония — это совсем другое дело . . .

О т в е т и з П а р и ж а . 8 июня 1976 г.

. . . Согласен с Вашим "резюме" моего предыдущего письма: Вы отлично поняли мою точку зрения, и я очень рад, что Вы сами написали: "Судя по этому ответу, мы с Вами оказались большими единомышленниками, чем я даже ожидал!"

Теперь я постараюсь ответить на Ваши новые вопросы:

1) Правда, термин "народничество" родился в России прошлого века, но он также очень часто употреблялся в Южной Америке в 30-50 гг. нашего века. Формулировка — неопределенна, расплывчата, это признаю. Но думаю, что этот термин хорошо определяет (подходит) многие политические системы третьего мира, особенно в Африке и Азии, где социальные примитивные структуры быстро изменяются под руководством некоего "вождя" (а не под руководством класса — ни буржуазного, ни рабочего класса).

Вы пишете, что это — "несостоятельная, ложная система". Несостоятельная — наверное! Но ложная — почему? Если для этих стран такой этап будет полезным, то увидим . . .

Не буду защищать употребление слова "народничество" во

всех этих случаях: знаю, что лидеры стран третьего мира предпочитают слово "социализм", но думаю, что это слово не однозначно для них и для нас. Я стараюсь определить, что они понимают под словом "социализм". Правильен или неправильен их путь — не мне судить. Думаю только, что термин "народничество" точнее соответствует такому типу правительства, чем термин "социализм". Но, может, я и ошибаюсь в терминологии.

2) Терминология — это неважно. Можете называть эти попытки маоистов в Китае или других лидеров в Африке или в Азии как Вам угодно. У нас во Франции тоже существуют течения (например, в профсоюзах СФДГ), которые стараются выдумать свой путь к социализму, опираясь не только на сочинения Маркса и Энгельса, но и на других авторов. Иначе говоря, они думают, что хотя Маркс был, наверное, наибольший социолог своего времени, связавший экономическую науку (теорию) о социальных действиях с социальным действием (практикой), но такой доктрины как "научный социализм" просто нет. Конечно, есть какие-то закономерности в развитии человеческого общества и тенденции, но не все возможны и полезны. Некоторые попытки ошибочны. А с другой стороны (например, в арабских странах), многие умные люди не довольны догматизмом так называемого "научного социализма", который им представляется продуктом позитивизма прошлого века.

Я плохо понимаю Ваш третий вопрос: "На каком этапе истории буржуазный либерализм должен быть упразднен?"

— Если "свобода и благосостояние" — положительные результаты либерализма, то надо их сохранить и защищать. Всякая социальная система имеет свои ошибки и свои недостатки. История указывает, что надо быть осторожным: все исторические завоевания свободы, равенства и солидарности — непрочны, слабы, хрупки: после Французской революции пришла победа Наполеона и капиталистической эксплуатации; после русской революции пришло время сталинизма. И всегда необходимо защищать эти социальные достижения, чтобы не впасть в реакцию и консерватизм.

4) Наконец, постараюсь ответить на Ваш последний вопрос — о китайской революции. Признаюсь, что судить об этом очень трудно. Журналисты и туристы видят только маленькую часть страны. Но думаю, что Вы ошибаетесь, когда говорите, что за "годы революции не произошли какие-либо существенные изменения в образе жизни людей". Наверное, существует определенная оппо-

зация к линии Мао, и после его смерти многое прояснится. Но и сейчас можно видеть очевидное экономическое и социальное развитие: крестьяне живут лучше. Я критикую "культурную политику", которая мне кажется ошибочной и деспотичной (судя по тому, что китайцы теперь знают и читают в университетах об истории, об искусстве. . .). С другой стороны, есть некоторые положительные черты: борьба против бюрократизма, стремление развивать инициативу людей. Как бы то ни было, вижу, что многие лидеры третьего мира интересуются оригинальностью китайской революции, и стараюсь понять: "Почему?" Хотя в маоизме существуют некоторые элементы "левачества", но не они привлекают внимание лидеров третьего мира в поисках ответа на социальные проблемы своих стран, особенно тех лидеров, которые не удовлетворены решениями, найденными в европейских социалистических странах.

Перечитывая это письмо, боюсь, что не смог хорошо ответить на Ваши вопросы: эта тема требует долгого разговора. Но надеюсь, что Вам, по меньшей мере, будет ясно: по-моему, нет единственного политического пути, я против догматизма в социальной науке; а с другой стороны, я не "релятивист в философии" и признаю некоторые социальные ценности (свобода, равенство, взаимное уважение, солидарность. . .), которые необходимо осуществить (воплотить в действительность) в любом обществе. . . И для этого осуществления учение Маркса очень важно, потому что оно подчеркивает материально-экономические условия существования этих ценностей, оно защищает нас от опасностей идеализма. . .

Третье письмо в Париж. 3 июля 1976 г.

. . . Позвольте еще раз пройти по Вашему ответу 8 июня 1976 г.

1) Вы согласны, что народничество — несостоятельная идеология, но возражаете против термина "ложная". Я употребил эти определения как однозначные, но согласен с Вами, что их следует различать. Если согласиться, что народническая идеология неверна, утопична, т.е. провозглашает неосуществимые идеалы и тем не менее успешно существует, и ее лозунгами руководствуется в своей деятельности множество людей (она "работает"), то лучше сказать, что эта идеология — ложная, но состоятельная (т.е. люди ее воспринимают, ценят). Но в целом обсуждение "состоятельная, но

ложная, или верная, но несостоятельная” становится уже терминологическим, несущественным спором. Я считаю, что мы могли бы закончить дискуссию по этому пункту.

2) На второй вопрос: ”В чем же преимущества народнической идеологии в сравнении с буржуазным либерализмом (даже в развивающихся странах)”, ответа я не получил. Вы, Роберт Павлович, стали защищать право на существование народнической идеологии рядом с ”научным (или догматическим по-Вашему) социализмом”, а я пытался у Вас узнать совсем другое, просил сравнения народничества именно с либерализмом, потому что последний в условиях развивающихся стран кажется мне более прогрессивным и полезным.

3) Наиболее интересным для меня оказался Ваш ответ на третий пункт, где Вы фактически берете под защиту буржуазный либерализм (”Если свобода и благосостояние – положительные результаты либерализма, то их надо сохранять и защищать” – Ваши слова). Но как быть тогда с Вашей симпатией к социализму?

Впрочем, я догадываюсь, в чем суть нашего взаимонепонимания. Перечисляя лозунги французской революции: ”Свобода, равенство, солидарность”, как и некоторые другие социальные ценности, которые надо осуществить, Вы ощущаете только их слитность и взаимосвязанность. Я же, напротив, чувствую их несовместимость, взаимоисключаемость. Особенно свободы и равенства. Именно противоречивость этих идеалов и делает неустойчивым и временным их совместное осуществление. Возможно или то, или другое.

Свобода – означает свободу не только для идеального равенства, но и для обыкновенного и привычного всем неравенства. Ведь людям свойственны именно различия, дифференциация способностей и основанное на этом разделение труда и неравенство материальных и социальных положений. Свобода выбора способов жизнедеятельности приводит людей к предпочтению сложного, разделенного общества, позволяющего использовать наиболее выгодным, оптимальным образом все многообразие человеческих способностей. Выигрывает на этом все общество.

Равенство же означает запрет на неравенство, выгодное всем неравенство, игнорирование общественных выгод неравенства.

Поскольку свободному человеку свойственно стремиться к оптимальному, наивыгоднейшему способу существования, которое возможно лишь при неравенстве, то лозунг ”равенство” (если

понимать его в социалистическом смысле) фактически означает призыв к несвободе. И если для социалистов главным считается лозунг равенства, для либерализма — лозунг свободы, то становится понятной причина столь глубокой исторической враждебности этих идейных течений.

До сих пор, Роберт Павлович, я думал, что Вы близки прежде всего к социализму (т.е. к цели "равенства"), но оказывается, что и от либерализма Вы не желаете отказываться. И если придется выбирать, что Вы выберете: свободу или равенство? Кто Вы по преимуществу: либерал или социалист?

4) О китайской революции. Конечно, китайские крестьяне сейчас живут лучше, чем до 1949 г. Слава богу, существует же в мире земледельческий прогресс, и за последние 30 мирных лет, конечно, можно было немного превысить уровень периода войны и хозяйственной разрухи. Такие мирные и относительно даже сытые периоды бывали в истории Китая и раньше, в перерывах между войнами и революциями.

Что касается китайской "борьбы с бюрократизмом", "критики снизу" и прочих "привлекательных для иностранцев" черт, то мне эти "плюсы" кажутся несерьезными. Ведь это обычное для социалистических стран явление "критики и самокритики снизу" — во имя выполнения единой генеральной партийной линии или указаний вождя (у нас — Сталина, в Китае — Мао. . .). Еще Сталин призывал к развертыванию критики и самокритики... его "врагов". Ну и что? Делает ли это сталинский произвол более привлекательным? На мой взгляд — лишь более черным.

В Китае это осуществляется лишь более красочно и крикливо. Но смысл всяческих "кампаний борьбы" — не в действительной критике управляющего страной центра — Мао и его окружения, а наоборот — в приведении среднего звена управления к покорности верховному бюрократу. Такая "борьба" совершенно отлична и даже противоположна демократическому контролю властей с помощью свободной прессы или парламентских переизбраний. . .

. . . Но закончим разговор о Китае. Главное, что я от Вас ожидаю, это ответ на пункт 3.

— Кто Вы, Роберт Павлович, либерал или социалист? А если Вы социалист и либерал одновременно, то обоснуйте такую возможность совместного существования свободы и равенства. . .

. . . Думаю, что наша дискуссия о народничестве кончена, как Вы сами написали. По-видимому, это больше терминологический спор, и не нужно его продолжать.

Более интересна и важна наша дискуссия о лозунгах французской революции: "Свобода и равенство". Вы пишете, что эти лозунги противоречивы, что первый термин означает и характеризует либерализм, а другой термин — социализм. И Вы спрашиваете меня: "Кто Вы по преимуществу, либерал или социалист?" Я абсолютно не согласен с Вашей точкой зрения!

Правда, всегда было и будет очень трудно соединить свободу и равенство в общественном устройстве: в этом-то и заключается основная обязанность государства, основной показатель его качества (т.е. его достоинства и недостатков). В разных странах и в разные времена борьба за свободу или борьба за равенство будет обладать разной степенью необходимости, настоятельности (на время), но все же оба этих понятия — политические "ценности". Поэтому не считаю их противоречивыми: надо ценить и свободу и равенство, или, если слова не пугают, быть и либералом и социалистом.

В XIX веке слова "либерал" и "либерализм" приобрели отрицательное значение из-за страшных злоупотреблений доктриной либерализма со стороны буржуазного класса в целях подчинения и эксплуатации крестьян и рабочих. . . Но это не означает, что общественные завоевания французской и американской революций потеряли свою историческую роль и значимость для нашего времени.

С другой стороны, Вы сами понимаете, что слова "социалист" и "социализм" приобрели разные значения, а в некоторых случаях (например, в Китае и в некоторых странах третьего мира) из-за злоупотреблений господствующего слоя приобрели отрицательные черты. Все-таки это не значит, что общественные завоевания русской и китайской революций потеряли свое историческое значение.

В июле я провел три недели в поездке по США, сопровождал группу французов, которые принадлежат к социалистической, а несколько из них — к коммунистической партии Франции, т.е. они — марксисты. Всюду, в разных городах и на многих собраниях они спрашивали: "Почему марксизм не имеет большого ус-

пеха в США?” И наши собеседники, в семьях, в университетах, в профсоюзах, всюду отвечали: ”Думаем, что идеалы и доктрина американской революции и сегодня обладают жизнестойкостью и динамизмом. У нас, наверное, очень много недостатков, мы не пренебрегаем учением Маркса и других, принимаем его критику и стараемся устранить неисправности, несправедливости нашего общества”. По-моему, такое мнение слишком оптимистично: в Южной Америке, куда я путешествую каждое лето и где еще раз в этом году буду читать лекции, экономический либерализм причинил такой ужасный вред народам, что надо обязательно разрушить сегодняшнее государственное устройство. И в то же время даже в необходимой социалистической революции надо осторожно сохранить завоевания либеральных революций (политического либерализма).

Так думал К. Маркс. Знаю, что это очень трудно. Мы с моими латиноамериканскими друзьями часто говорим об этом . . .

Вы написали: ”Если Вы и социалист и либерал одновременно, то обоснуйте такую возможность существования свободы и равенства”. Не знаю, понравится ли Вам приведенное мною обоснование? Вероятно, Вы считаете меня слишком эклектичным (стараюсь соединять разнородные взгляды и доктрины) или скептическим. Жаль, что нам нельзя продолжить беседу устно; писать по-русски мне очень трудно. Все же надеюсь, что Вы поймете мои размышления и мы останемся хорошими друзьями . . .

Четвертое письмо в Париж. 10 октября 1976 г.

. . . Меня, действительно, не убедили Ваши доводы о необходимости совмещения идеалов свободы и равенства. Ваш способ доказательства ”от противного” основан не на логике, а на исторических примерах: в Латинской Америке существовал либерализм — и это было плохо, в Китае осуществляется уравниловка (социализм) без свободы — и это плохо, следовательно, надо совмещать свободу с равенством, чтобы стало хорошо. . . Но Вы не ответили на мое логическое возражение: люди изначально не равны друг другу по самым разным аспектам, поэтому их можно только *принудить к равенству*, а в свободном состоянии они равны совсем не будут. Поэтому и приходится выбирать людям между свободой и равенством, вернее, выбирать приемлемую степень компромисса: одному народу нравится большая степень равенст-

ва при меньшей свободе, а другому – обратное соотношение. Понятно, что нигде не осуществлялось ни чистое равенство, ни полная свобода. Потому я и спрашивал Вас: "Кто Вы по преимуществу: либерал или социалист?"

А если бы перевести этот вопрос на язык примеров, то получится так: "Если бы Вам пришлось эмигрировать из своего отечества (не дай, конечно, бог!), то куда бы Вы предпочли уехать: допустим, в США (Швейцарию и т.п.) или в Китай (Албанию и т.п.). В зависимости от Вашего ответа я смогу определить Вашу принадлежность "по преимуществу" к тому или иному жизненному укладу.

Ведь можно стремиться к улучшению либерального общества демократизацией, обеспечением равных прав, равных возможностей и т.д., можно иметь сколь угодно социалистические или даже коммунистические идеалы, но на практике, по реальным повадкам, привычкам, культуре, мироощущению быть типичным либералом. Как правило, вопрос о месте возможной эмиграции хорошо это выявляет.

Я буду с нетерпением ждать Вашего ответа, но мне заранее кажется, что Ваш выбор придется скорее на США или Швейцарию, чем на Китай или Албанию. Я давно подозревал, что Вы по преимуществу либерал, и если Вы с этим согласитесь, то мне останется только выяснить: "Тогда что же Вас привлекает в социализме? Что так прельщает?" – Нам, живущим в социалистическом обществе, это очень интересно.

К сожалению, я плохо знаком с латиноамериканской историей и потому не знаю, почему именно экономический либерализм причинил "такой ужасный вред народам, что надо обязательно разрушить сегодняшнее государственное устройство" (какие страшные и р-революционные слова Вы говорите, наш милый Роберт Павлович!). До сих пор я думал, что латиноамериканские беды исходят больше от тяжелого груза испанской (феодальной и экстремистской) культуры, традиции деспотизма, от попыток перепрыгнуть в своем развитии необходимые этапы развития. Типичный пример: Чили, где экстремистские реформы Альенде привели к путчу и гибели конституционную форму правления.

Но – не берусь спорить, ибо согласен с Вами в главном: что стремление к равенству так же глубоко заложено в людях, как и стремление к свободе. Согласен, что равенство составляет для многих такую же ценность, как и свобода, если не большею. Но

только, что же делать, если эти ценности противоречат друг другу и надо выбирать какую-то степень компромисса между ними? Наверное, чтобы правильно решить такую задачу, надо исходить из более общего критерия, из более главной ценности: например, "жизнь и счастье людей". Согласны ли Вы на такой общий критерий?

Если да, то легко найти ответ на мучающий нас вопрос: "Свобода или равенство?" Вот он: если в стране большинство людей традиционно имеют привычку к повиновению-послушанию и больше ценят равенство с другими, чем свободу, то для них лучше "социализм" (например, Китай), если же в стране люди изначально чувствовали себя разными, неравными, а за главное благо почитают личный комфорт и личную свободу, то для них более приемлем "либерализм" (Запад). Соотношение численности людей той или иной ориентации и их активность определяют и искомый компромисс между обеспечением равенства и свободы.

Нравится ли Вам мое понимание этого вопроса? Согласны ли Вы с моим определением Вас, как либерала по преимуществу, по своей главной сути? Согласны ли, что на Западе таких людей много, большинство, даже среди социалистов и коммунистов и др. левых? . . .

А может, "западный социализм" коренным образом отличен от привычного нам состояния и гораздо ближе к западному либерализму? Может, он как и либерализм ратует больше не за материальное, экономическое равенство, а больше за равенство прав и возможностей?

Из Парижа в Москву. 26 октября 1976 г.

. . . Теперь постараюсь ответить на Ваши вопросы и с удовольствием продолжу наш разговор о либерализме и социализме, о несовместимости (по Вашему мнению) свободы и равенства!

Я не понимаю, почему Вы говорите только о США и Китае, как "примерах" стран, где царствует в первой — "свобода", во второй — равенство . . . Вы спрашивали, куда я уехал бы, если бы пришлось эмигрировать: в США или в Китай? — Наверное, в США, но это не только по причине политического режима, но и по многим другим причинам (культуры, языка, истории. . .). Правда, ценю нашу европейскую и американскую традицию политической борьбы за свободу: в этом смысле признаю себя либералом. Ду-

маю, что социалисты и коммунисты наших стран в этом смысле слова тоже "либералы"...

Но я не согласен с Вами, когда Вы пишете: "Если в стране люди изначально чувствуют себя разными и неравными, а за главное благо почитают личный комфорт и личную свободу, то для них более приемлем либерализм (Запад)", а потом противопоставляете это стремление к личному комфорту (как "главное благо для западных стран"!) – традиционной привычке к повиновению и несвободе китайского народа (как основной причине, по Вашему мнению, почему большинство китайцев предпочитают равенство – свободе).

Может быть, я не аккуратно понял Ваше мнение, но мне кажется, что это – карикатура (искажение) и либерализма, и социализма.

Ведь хотя я признаю себя "либералом" (и думаю, что в этом смысле К. Маркс тоже был "либералом"), это не значит, что я одобряю всю историю и деятельность либерализма. Знаю, что в истоках исторического либерализма многое было нечистым (эгоизм, жадность к власти и деньгам. . .) и неправильным с точки зрения философии и логики (будто бы интересы отдельных личностей составляют общее благо коллектива). Напротив, у основателей философского и политического социализма было большое этическое чувство в их борьбе за справедливость, за уважение прав человека, за достоинство всех людей. Однако в историческом социализме, т.е. в развитии социалистических режимов, надо признать, что были и есть некоторые недостатки (например, недостаточный динамизм экономики).

Вы правильно написали, что выбор одного или другого государственного строя зависит, в конце концов, от желаний большинства народа, от его политических, экономических, культурных традиций, от его исторического опыта. Если через несколько лет большинство французского народа выберет социалистический строй, я постараюсь сохранить (и даже развивать) в нашей стране то, что считаю необходимой ценностью человеческого общества и условием прогресса, т.е. право выражать и защищать разногласия и даже несогласия. Думаю, что нет противоречия между современным социалистическим строем в развитых странах и сохранением (поддержанием) того, что мы считаем завоеванием либеральных революций: возможность и право на критику какого угодно правительства.

Поэтому еще раз повторяю, что не вижу никакого противоречия равенства и свободы: это две ценности общества, которые всегда и везде будет трудно совмещать в каком-нибудь режиме. . .

Не знаю, ясно ли изложено мое мнение? Думаю, что разница между нами и спор происходят от того, что по Вашему мнению существует единственный научный путь развития человеческого общества (и надо постараться только выбрать его); а по-моему, такого единственного простого и прямого пути нет; человечество учится на опыте, часто ошибается, исправляет ошибки, пробует иное. . . Узнав все злоупотребления экономического либерализма, мы, например, во Франции, готовы пробовать (испытывать) социалистический строй: может быть, это случится у нас в 1978 г. после выборов в палату депутатов. Но при этом большинство французов думает, что есть разные типы социализма (по нашей традиции), а кроме того большинство французов считает необходимым сохранять свои конституционные права и политическую возможность изменения экономического строя и замены правительства, если они не оправдают ожиданий народа. Другими словами, чтобы правильно решить эту задачу, надо исходить из более общего критерия, из более общей ценности, например, "жизни и счастья людей". Это — Ваши слова, и я согласен с таким критерием.

Наверное, социологическая наука освещает нам путь (в этом смысле марксизм есть важный вклад, ценное достижение в области общественных наук); но опыт, практика — еще важнее и ценнее. . .

Пятое письмо в Париж. 20 ноября 1976 г.

. . . С грустью прочитал, дорогой Роберт Павлович, Ваш отзыв о моих взглядах на либерализм и социализм — как о карикатуре и на то, и на другое. Я, действительно, часто огрубляю свои описания (или не умею точнее выразиться), чтобы хоть основную суть проблемы выявить, обеспечить ясность. А ведь карикатура — это злонамеренное искажение, огрубление с плохой целью. Такой цели у меня не было. Я неудачно выразился о "комфорте и свободе", как главных ценностях Запада. Конечно, надо было сказать о "свободе и комфорте", а может, "комфорт" и не упоминать, как второстепенную, или даже третьестепенную величину в сравнении со свободой. . . Но, ей-богу, Роберт Павлович, прошу не обижаться, у меня не было цели обидеть Запад, а Вас — тем более.

Думаю, что нам нет смысла ввязываться в рассмотрение малоизвестных преступлений либерализма или великолепных этических целей основателей социализма. Мне только хочется констатировать, что Вы все-таки уклонились от обсуждения моей гипотезы вековечного и диалектически противоречивого сосуществования ценностей равенства и свободы. Теперь я понимаю, что это происходит не от Вашей невнимательности, а от более глубоких и серьезных причин.

Видимо, сказывается такое кардинальное различие между нами, как мой атеизм и Ваша религиозность. Для меня человеческий мир изначально не зол и не добр, а просто объективен и таким пребудет вовеки. Всегда в этом мире будут существовать рядом добро и зло как относительные характеристики человеческих поступков, а свобода и равенство будут всегда противоречивыми людскими желаниями. Ибо если добро и зло были бы величинами абсолютными и несомненными, а свобода и равенство не мешали и не противоречили бы друг другу, то что же мешало бы их полному осуществлению еще в прошлые времена? Не говоря уже о сегодняшних?

Для религиозного человека этот мир есть гигантский эксперимент, поставленный Провидением, есть борьба Бога с Сатаной, Абсолютного Добра с Абсолютным Злом, причем первая сторона отстаивает все ценности вкупе, а вторая — только им мешает, отстаивая неравенство и несвободу. Это очень благородная точка зрения. Вам, наверное, она тоже присуща, но мне лично кажется непрактичной. В реальной жизни приходится не только "творить добро", но и "выбирать из двух зол наименьшее", не только бороться за "свободу, равенство и братство", но и выбирать между большей свободой или большим равенством.

Ваш упрек, что я верю в "единственный научный путь развития человеческого общества", я мог бы переадресовать Вам самому. Ведь если я утверждаю, что разные народы развивались по-разному (у одних было больше свободы и неравенства, а у других — наоборот), то Вы, Роберт Павлович, считаете возможным соединить обе ценности и построить наилучшее, для всех приемлемое общество равенства и свободы — не в научной теории, а на практике. Я же не только не верю в "единственный научный путь" к такому розовому будущему, но и вообще не верю в его практическую осуществимость.

. . . Вы говорите: "Мы во Франции готовы попробовать (испы-

тывать) социалистический строй: может, это случится в 1978 г.". Конечно, поживем — увидим, но давайте загадаем, а через несколько лет проверим осуществимость своих прогнозов.

Так вот, мне кажется, что если в 1978 г. во Франции будет правительство, действительно озабоченное введением в страну социализма, то оно должно будет действовать радикально и решительно, не останавливаясь даже перед принудительной ликвидацией "капиталистической эксплуатации, частной собственности, сломом сопротивления реакционных классов и его печати" и т.д. и т.п... Тогда я думаю, что многие поймут: "пролетарская диктатура" и пересмотр буржуазно-демократического законодательства есть необходимое и неизбежное условие построения реального социализма в стране, и что либерализм — несовместим с реальным социализмом.

Но что же будет, если социалистическое правительство Франции в 1978 г. (если оно будет) поставит себе первой заповедью сохранение "завоеваний либерализма" при любых социалистических преобразованиях, — что тогда будет? Но зачем ждать 1978 года в Париже? Можно посмотреть, например, на сегодняшний Лиссабон, где социалист Марио Соареш мечтает о свободном, рыночном социализме. На скандинавских или немецких социал-демократов, осуществляющих что-то подобное. . . Чем такой "социализм" отличается от капитализма Франции и Англии?

А с другой стороны, можно посмотреть на все реальные социалистические государства от Югославии до Китая и Африки: разве не считают они либерализм одним из главных своих врагов?

Жизнь показывала и раньше и теперь: или рыночный либерализм, или диктаторский социализм. То же самое покажет и будущее.

На этом письме наша переписка с Парижем временно прекратилась в связи с длительной командировкой на Восток Роберта Павловича.

Сегодня, перечитывая эти письма, я вижу и то, как трудно нам разговаривать и договариваться с западными людьми, вижу их нежелание принимать нашу настороженность к таким понятиям, как социализм и равенство.

Но с другой стороны, разговор все же состоялся, оказался возможным и диалог, и достижение взаимопонимания. Можно все же постигнуть логику западного мышления.

Польза от этой переписки для меня самого была несомненной: она научила большей сдержанности и большему вниманию к великому синтезу свободы и равенства, к идеалам демократического социализма.

РЕПЛИКА

Публикуемая "Переписка с Парижем" действительно представляет большой интерес именно в том смысле, какой подчеркивает Виктор Сокирко — как личный, частный диалог двух мыслящих людей, живущих в разных мирах, при различных укладах, и стремящихся к взаимопониманию. Диалог этот не предназначался к публикации и не преследовал никаких целей, кроме одной: понять друг друга и в чем-то, может быть, друг друга убедить. Удалось это или нет, но такие контакты — непредвзятые и непредумышленные — могут оказаться важнее, чем пышно обставленные официальные симпозиумы, где за речами ораторов почти всегда маячит тень государственных, дипломатических и политических соображений. К сожалению, такие естественные контакты — редкость. По понятным причинам.

В комментариях публикуемая переписка, с моей точки зрения, не нуждалась бы (читатель сам разберется), если бы не одно обстоятельство.

Нельзя не обратить внимание на то, что французский адресат высказывает свои мысли осторожно, как бы ошупью, как бы сам в ходе рассуждений проверяя свои взгляды, свою точку зрения. Советский же его корреспондент настойчив и категоричен, ему, несмотря на его либерализм, в полной мере присуща характерная уверенность, что он обладает истиной в последней инстанции. Поэтому ряд своих положений он не аргументирует, а декларирует.

Я не собираюсь вязываться в этот интересный спор в качестве непрощенной "третьей силы" — ни в спор о трактовке понятия "народничество", ни в попытку определить наилучший для слаборазвитых стран путь развития, ни во многие другие затронутые корреспондентами вопросы. Но есть среди них высказанный В. Сокирко тезис, против которого я не могу не возразить.

Это — утверждение В. Сокирко, опять же не доказываемое, а вещаемое, как непререкаемый абсолютизм, о *несовместимости, взаимоисключаемости свободы и равенства*. Предлагаю в "Письме тре-

тьем” своему корреспонденту сделать неминуемый по его мнению выбор между ними (и таким образом определиться либо как либерал, либо как социалист), Сокирко пишет:

“. . . Возможно или то, или другое.

Свобода — означает свободу не только для идеального равенства, но и для *обыкновенного и привычного (!)* всем неравенства. Ведь людям свойственны именно различие, *дифференциация способностей и основанное на этом (!)* разделение труда и *неравенство* материальных и социальных положений. . .

Равенство же означает запрет на неравенство, выгодное всем неравенство, игнорирование общественных выгод неравенства.

Поскольку свободному человеку *свойственно (!) стремиться* к оптимальному, наивыгоднейшему способу существования, которое возможно лишь при неравенстве, то лозунг “равенство” (если понимать его в социалистическом смысле) фактически означает призыв к несвободе. И если для социалистов главным считается лозунг равенства, для либерализма — лозунг свободы, то становится понятной причина столь глубокой исторической враждебности этих идейных течений.”

Остается немного: доказать, что материальное и социальное неравенство основано именно и только на дифференциации способностей и обеспечивает свободу выбора способов жизнедеятельности. А также, что материальное и социальное равенство означает, наоборот, запрет на интеллектуальное и личное неравенство, на свободу самопроявления личности.

Но доказать это автор не может ни логическими доводами, ни историческими примерами. Он мог бы, конечно, оперируя современными примерами, доказать — это нетрудно! — большую производительность труда и более высокий уровень жизни в странах капиталистической демократии, чем в тоталитарных странах, имеющих себя социалистическими. Но ни наличие свободы выбора способов жизнедеятельности при капитализме, ни запрет на личное, интеллектуальное и прочее неравенство, то есть на свободу развития личности при социализме — он доказать не в состоянии. Хотя бы потому, что история еще не знала ни общества, обеспечивающего “свободу выбора способов жизнедеятельности”, ни общества, обеспечивающего материальное и социальное равенство.

Конечно, если идеалом свободного человека является “наивыгоднейший способ существования”, а за главное благо он почитает “личный комфорт”, то он развивает максимальную энергию,

чтобы он лично этого "идеала" достиг. И если ему надо выбирать между "некомфортабельным равенством" для всех и "комфортабельным неравенством", выгодным ему, то он выбирает комфорт. Но комфорт, при всей его привлекательности, не идентичен свободе, а несвобода — равенству. История и современность знают много примеров, когда за комфорт платили свободой.

В фашистской Германии материальное и социальное неравенство были не менее, если не более разительны, чем в современных капиталистических странах. Где бы мог В. Сокирко узреть там свободу! То же можно сказать о ряде диктаторских режимов в Латинской Америке или на Арабском Востоке.

Следовательно, материальное неравенство не базируется на свободе и не обеспечивает ее. Впрочем, и в ряде развитых западных стран, обладающих максимальной в сегодняшнем мире степенью политической свободы, развитие личности и "выбор способов жизнедеятельности" резко стеснены именно неравенством материальных и социальных возможностей.

Тоталитарный, то есть максимально несвободный характер режимов (как и экономики) ряда стран, именующих себя социалистическими, общеизвестен. Где бы мог В. Сокирко узреть в них материальное и социальное равенство? Не место, да и незачем приводить тут примеры, но сам Сокирко, живущий в этом мире, может засвидетельствовать, что для него скорее характерен "запрет на равенство", чем "запрет на неравенство".

Если говорить всерьез, то величайшей ценностью современного западного "либерального общества" (или "буржуазной демократии", или "свободного мира", или как вы его там ни назовете) является *политическая свобода*. То есть вовсе не свобода выбора способов жизнедеятельности, а свобода *слова*, право и возможность *не соглашаться*, право на разногласицу, на неидентичность, неодинаковость мнений и образов жизни. Это — великое право, и недаром западноевропейские так называемые еврокоммунистические партии объявили, что оно должно сохраняться при социализме, что без демократии социализм немыслим.

Но оно одно, без обеспечения равных материальных и социальных возможностей, большинству людей свободы выбора способов жизнедеятельности не даст. А свобода для "суперменов" не есть свобода.

В. Сокирко утверждает, что равенство, "если понимать его в социалистическом смысле", фактически означает призыв к не-

свободе, к насильственному поравнению людей, к принудительному обращению их в равенство. Но социалистическое учение (если не говорить о некоторых давно забытых и устаревших утопиях) никогда не выдвигало идеала одинаковости, безликости, казарменной шеренги, прокрустова поравнения людей в безликих роботов. Насильственные же акции нынешних тоталитарных режимов преследуют вовсе не цель материального и социального равенства, а цель равного послушания всех членов материально и социально строго разделенного на группы общества.

Равенство, которого добивается учение социализма, это *равенство возможностей* свободного развития личности для всех людей, для каждого человека в его неповторимости и слабости — без эксплуатации и подавления других личностей.

В современном капиталистическом обществе таких возможностей нет. Тем более нет их в тоталитарном обществе, именующем себя социалистическим. В. Сокирко утверждает, что таких возможностей у человечества вообще нет, и что оно должно выбирать между свободой эксплуатации и равенством рабов. Это все равно, что выбирать между выколотым глазом и отрезанной рукой.

Стремление к справедливому обществу — обществу социального равенства и свободы самовыражения разных, неодинаковых личностей — неистребимо. Когда достигнет человечество этого идеала и достигнет ли оно его — мы не знаем. Но стремиться погасить этот идеал и заменить его идеалом "комфортабельного неравенства" как естественного, "обыкновенного и привычного всем" состояния — значит стремиться решительно снизить моральный уровень человечества, знавшего в своем развитии и древних христиан, и буддистов, и многочисленные социальные утопии, и муки Льва Толстого, и Маркса, и Александра Блока, и Бертольда Брехта, и даже мысли о социализме Оскара Уайльда, выстраданные им в тюрьме.

Июль 1978

ДИСКУССИЯ С ДИСКУССИЕЙ

К Л А С С И К А И М Ы

I

ОБЪЯВЛЕНИЕ, ВЫВЕШЕННОЕ В ЦДЛ:

21-го декабря

Творческое объединение критиков и литературоведов
Московской организации СП РСФСР
Творческая дискуссия
"КЛАССИКА И МЫ"
(Художественные ценности прошлого в современной
науке и культуре)

Председатель – Е.СИДОРОВ

Вступительное слово – П.ПАЛИЕВСКИЙ

Выступят – А. Битов, Е. Евтушенко, И. Золотусский, В. Кожин, Ф. Кузнецов, С. Куняев, М. Лобанов, С. Машинский, П. Николаев, И. Роднянская, И. Ростовцева, Ю. Селезнев, А. Эфрос, В. Шкловский.

Большой зал ЦДЛ

Начало в 16.00

II

СОКРАЩЕННАЯ СТЕНОГРАММА ДИСКУССИИ

Большой зал полон. Больше тысячи человек. Сесть негде, стою в проходе. Докладчик повторяет те свои мысли об авангарде, которые им были высказаны в печати (в частности, в статье, опубликованной в сборнике "Искусство нравственное и безнравственное").

П а л и е в с к и й. 1. Классика не является для нас материалом, из которого мы черпаем концепции, а скорее мы являемся

материалом для классики (от Пушкина до Чехова). Слова Гоголя: современная нам поэзия создается не для наших дней, а для того будущего, которое настанет. Несоизмеримость масштабов между нашими (писателями?), которые только начинают, и классикой, обобщившей опыт тысячелетий.

Образ человека, который заключен в Пушкине, далеко не осуществлен.

2. Классику в современности нельзя рассматривать вне борьбы современных литературных течений. Она всегда связана с этой борьбой.

3. Классика и ее роль в современности не понятна вне нашей ближайшей истории. В момент возникновения нового общества произошло нечто, что классиками не предполагалось: у классиков появился могучий противник. Искусство авангарда, предложившее свои нормы и понятия. В образовавшемся пространстве авангард занял руководящую роль. Культура эта полярна классической, самый метод ее — попытки сконструировать, построить эстетическую ценность, попытки создать искусство, которое учитывало бы вкусы потребителя, вколотить вкусы — все это противостояло классике. Противостоял даже самый способ поведения, принцип успеха, выдвинутый авангардом, — классика этого не знала. Новый метод — умелый захват общественного мнения. Умелое применение к "власти", кнут и пряник (искусство управления общественным мнением).

Снимался вопрос свободы построения образа. У авангардиста Татьяна не могла "удрать" никакой "штуки" и выйти замуж вопреки намерениям автора. Автор с самого начала знал, что хотел вколотить в сознание масс. Авангард решил проблему положительного начала просто: интерпретировать классику. Сам не обладал положительным идеалом, — а страшная сила притягивала его к подлинному. Авангардистами создана ложная легенда о расцвете культуры в 20-е годы. Это — ошибочная точка зрения. Настоящий расцвет культуры падает на 30-40-е годы, как ни странно это покажется присутствующим.

Как бы ни относиться к 30-40-м годам с политической точки зрения, но следует помнить об историческом повороте к русской классике, который произошел именно тогда. Был, по-видимому, написан самый великий роман XX века "Тихий Дон". Писал Булгаков, да, да, я подчеркиваю, — писал и написал, это гораздо важнее, чем напечататься (*жидкие хлопки*).

Наступил расцвет классической оперы. Постановка "Ивана Сусанина" во время войны спасла — без преувеличения — миллионы человеческих душ. Даже в милой, незамысловатой комедии "Музыкальная история" по-своему отразилось это массовое уважение к классическому искусству.

Появились замечательные певцы — исполнители классического репертуара. Были поставлены лучшие балеты. Все — в это время. И, несмотря на суровые судьбы левых художников, которые подняли меч, и, как говорится, от меча и погибли, несмотря на все это, именно в 30-40-е годы и произошло слияние классической традиции с народной культурой.

И если мы в 60-70-е годы наблюдаем попытку международного авангарда взять реванш за это время — эта попытка остается безрезультатной.

Мы начинаем постепенно все-таки возвращаться к пониманию того, какое значение имеет сращение классической и народной культуры.

Интерпретаторы (это понятие для Палиевского характеризует деятелей авангарда) чувствуют себя оскорбленными. Столкновение с ними неизбежно.

Рецидивы враждебного отношения к русской классике наблюдаются и сейчас. (Цитирует отрывки из публикации в журнале "Вопросы литературы" из переписки между Мейерхольдом и Булгаковым; замечает, что публикатор — К. Рудницкий — сделал много для изучения (?) и Булгакова. Булгаков был насущно необходим Мейерхольду, но Мейерхольд был совершенно не нужен Булгакову).

Другой пример: публикация в "Литгазете" за подписью Каверина значительных, серьезных отрывков из статей Ю. Тынянова к 80-летию. У меня не было возможности проверить, вошел ли отрывок, который я хочу процитировать, в тот том Тынянова, который, к счастью, вышел, наконец, в Издательстве "Наука". Этот отрывок обрывается многоточием. А вот что следует дальше (цитирует отрицательное мнение Тынянова о Мусоргском — названном, — и Римском-Корсакове — не названном).

Чем не нравится Тынянову и другим представителям формальной школы Римский-Корсаков? Тем, что он не имел формы гения, но был им.

Нам ничего не остается, как глотать подобные высказывания.

Посмотрите на Большой театр, на странный его репертуар. "Садко" можно услышать только в Кремлевском дворце Съездов, — это все равно, что ставить трагедии Софокла в цирке.

(Крик из зала: "И "Китежа" нет!")

Верно. "Китеж" неприятен авангардистам еще и тем, что Римский-Корсаков в этом произведении пытался предсказать будущее. И предсказал верно.

Каждый сезон Большой театр открывался когда-то "Иваном Сусаниным" (цитирует нечто отрицательное из высказываний Стравинского). Затем — из многотиражки Большого театра "Советский артист" — размышления перед новой постановкой "Русалки"; постановщик собирается поставить нетрадиционно: о том, что самоубийство — это слияние с водами Днепра, и т. д. (подписано: "Народный артист, профессор". Не буду называть имени).

Идея нетрадиционного, как чего-то положительного, есть пустая идея. Чисто негативная.

До каких пор мы будем слушать этих народных артистов, профессоров? До каких пор будем присутствовать на подобных постановках?

Представители интерпретаторства недооценивают степени понимания широких читательских и слушательских масс. Они, эти интерпретаторы, достигли очень большой безнаказанности. Дружественные им органы прессы одергивают всех несогласных.

Вот пример: в "Комсомольской правде" публикуется письмо. Девушка из провинции сомневается в достоинствах увиденного ею французского фильма — кажется, "Набережная туманов". Ей резко отвечают: "Вы, должно быть, не знаете, что этот фильм принадлежит к золотому фонду?"

Подобные окрики время от времени раздаются и в газете "Советская культура". Попытки сомневаться усиленно подавляются в нашей печати.

Но не лучше ли решить эту важную проблему полюбовно, не нарушая ничьих самолюбий?

Я не считаю себя человеком мрачным, но недавно пришел в состояние полного мрака. М. А. Лифшиц написал статью по поводу того шума, которым была окружена выставка Татлина, — кстати, с участием ЦДЛ. Эта статья везде была отвергнута. Может, Михаил Лифшиц менее образован, чем другие критики? Может быть, он меньше знает об искусстве? Может быть, он пишет хуже? В лице М. Лифшица мы имеем человека очень высокой культуры.

Раздаются могущественные звонки в редакции. Это вообще очень дурная манера — вмешиваться, требовать, чтобы кого-то напечатали или не напечатали.

Но появление статьи Лифшица — очень тревожный сигнал.

Наши художники начали серьезно понимать эту проблему.

Ссылается на сказку Шукшина "До третьих петухов" — как черти просят монахов переписать "картинки". Монахи отвечают, что это иконы, и как же черти хотят, чтобы их переписали? — "Чтобы нас вместо них изобразили". Монахи отгоняют чертей.

(Аплодирует большинство присутствующих).

С т . К у н я е в . Я прочел книгу "Эдуард Багрицкий в воспоминаниях современников". Многое там представляется мне интересным, многое спорным, многое — надуманным. Взял однотомник стихов Багрицкого. Сравнил. Мемуаристы поставили перед собой неблагоприятную задачу, — доказать, что поэт Багрицкий, вместе с Маяковским и Есениным, продолжает традиции русской классики.

(Далее цитируются фразы из воспоминаний. Павел Антокольский: "Изображение природы у Багрицкого — на уровне лучших страниц Тургенева, Тютчева, Фета". Юрий Олеша: "Последняя ночь" — гениальная поэма". Марк Орлов: "Было, впрочем, одно произведение, с которым можно сравнить "Последнюю ночь", — "Слово о полку Игореве" (смех в зале). Лидия Гинзбург: "Багрицкий, в соответствии с традицией русской поэзии, чтит, любил Пушкина и выразил эту любовь в стихах". (Все цитаты не проверены).

В поэме "Человек предместья" маленький человек изображается в полном противоречии, в разрыве с традицией русской классики, с традицией Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова. Багрицкий всеми фибрами души не принимает вчерашнего крестьянина:

Он вздыбился из гущи кровей —
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи!

Ненависть в быту нельзя отнести за счет лирического героя — это позиция самого автора. Природа для Багрицкого, в лучшем случае, материал для литературной ситуации.

Кстати, все мемуаристы не забывают упомянуть о болезни Багрицкого. Так вот, у Фета была та же болезнь — астма. Но это не заставило его ненавидеть плоть жизни, наоборот, стихи Фета — прославление ее.

В стихотворении — завещании сыну Багрицкий призывает срубить сосны — они почему-то напомнили ему виселицы (декабристов):

Прими же завещанье:
Когда я уйду
От песен, от ветра, от родины —
Ты начисто выруби сосны в саду,
Ты выкорчуй куст смородины.
”Папиросный коробок”

Баратынский, один из самых пессимистических русских поэтов, призывал сажать деревья. Ему и в голову не могло прийти, что сто лет спустя появится человек, который будет призывать рубить их, и этого человека назовут наследником русской классики!

...Чекисты, механики, рыбоводы,
Взойдите на струганое крыльцо.
Настала пора — и мы снова вместе!
Опять горизонт в боевом дыму!
Смотри же сюда, человек предместий:
— Мы здесь, мы пируем в твоём доме!

А продукты откуда? Оттуда же, откуда и у Иосифа Когана:

В хате ужинает Коган
Житняком и мёдом.
В хате ужинает Коган
Молоко хлебаёт...

Снова обращусь к книге воспоминаний: вот что пишет Зинаида Шишова — молодой Багрицкий естественно пришел в революцию, как в свой дом (?), расселся и попросил хлеба и сала. Это был один из лучших людей того времени (*в зале, как и во время цитирования — недоброжелательный гул*).

Читая стихи Багрицкого, я думаю о том, как изменилась жизнь. Вот Лев Славин вспоминает: "В Одессе не увлекались заезжими мистиками. В Одессе не любили Достоевского, любили Толстого, но без его философии" (гул в зале усиливается).

В "ТБЦ" дана формула, имеющая прямое отношение к нравственности:

Но если он скажет: "Солги", – солги.

Но если он скажет: "Убей", – убей.

Здесь сформулирован полный разлад с русской поэзией.

Странно, что человек, приводящий приговор в исполнение, испытывает при этом радость.

С и д о р о в (председатель) (*прерывает Куняева*) Ваше выступление немного не на тему.

К у н я е в Я говорю о соотношении одного из поэтов и классического наследия (*крики из зала: "Не мешайте! Пусть говорит!", "Дать!"*). Прочитированные мною строки Багрицкого весьма далеки от пушкинских:

И в мой жестокий век прославил я свободу

И милость к павшим призывал.

Разве не в те же годы, что и Багрицкий, творили Ахматова и Заболоцкий? Разве не в те же годы совершенно противоположно Багрицкому писал Есенин?

У Багрицкого век – часовой. Вот иной нравственный кодекс, сформулированный почти в то же время:

Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей,

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,

Ни кровавых костей в колесе,

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы

Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

Как будто бы Мандельштам, вслед за Есениным, спасая честь русской классики, целиком и полностью опровергает "Февраль" Багрицкого.

Перейду к поэту следующего поколения — Смелякову. В стихотворении "Сосед", по-моему, без прямой полемики дан свой взгляд на человека предместья. Смеляков защищает этого человека. Ведь именно этот человек — рядовой войны, это он защищал родину, это он ее отстроил и продолжает строить. А когда время остается — и цветы посадит и наличники вырезные вырубит.

Была у Багрицкого еще одна причина отречься от человека предместья, от местечковости:

Родители?
Но в сумраке старея,
Горбаты, узловаты и дики,
В меня кидают ржавые евреи
Обросшие щетиной кулаки.

Багрицкий проклиная дом, где был зачат, родился, провел детство (сопоставление с эпизодом из рассказа А. Платонова "Фро" — в пользу Платонова). Багрицкий отрывается с бесстрашием. Самые ярые мракобесы-антисемиты не писали так, как писал он.

Он писал о своем доме и детстве так, будто и не было на свете трогательных и печальных героев Шолома Алейхема:

Любовь?
Но съеденные вшами косы;
Ключица, выпирающая косо;
Прыщи; обмазанный селедкой рот
Да шеи лошадиный поворот.

(По ощущению вокруг — часть аудитории слышит все эти строки впервые, возмущается).

В этих стихах есть только злоба, нет трагичности, так как нет очищения. Как будто человеческое сердце ему подменили волчьим. Такого в русской классической поэзии не было и быть не могло.

(Цитирует строки о дальних странствиях).

Мир, полный романтического комфорта, — вот что ему было нужно. Произошло превращение гадкого утенка в карающего орла революции.

Я отдаю себе отчет в том, что мои мысли спорны.

Думаю, что Бабель искренне написал в сборнике мемуаров: "... ловлю себя на мысли, что коммунистический рай будущего будет населен такими людьми, как Багрицкий, и жить с ними будет легко и прекрасно".

Но одно дело — оценка человека, а другое — оценка поэта.

А. Э ф р о с (*встречен аплодисментами*) Я очень волнуюсь. Очень редко бываю в этой аудитории. Не знаю ее состав, не знаю настроений, не знаю, как вы относитесь к театру вообще, к моим спектаклям. Потому я сначала подумал, что мне, может быть, и говорить не надо. Но, начиная с первого выступления, меня начало трясти. Второе было продолжением первого. Если эту линию не прервать, то третье будет чудовищным (обращается к Палиевскому): Вы цитировали Шукшина. Но кто на самом деле эти черти? Совсем не те, о ком вы говорили. Они в противоположной стороне, в другом лагере.

Опасно, опасно играть такими вещами. Я молюсь на наше время за то, что оно перестало играть такими вещами.

Зачем, вдруг, понадобилось сбрасывать Багрицкого с корабля современности? Зачем сталкивать Булгакова и Мейерхольда? Для меня, как для театрального деятеля, Мейерхольд есть явление огромное, он для театра сделал не меньше, чем Булгаков для литературы. Зачем их стравливать? Булгакову Мейерхольд был не нужен, а Вишневскому нужен.

(*Удивление — недоброжелательный гул*)

Не нужно вообще сеять враждебность, как это делали мои предшественники на этой трибуне. Ваша воинственность замешана на чем-то дурном (*из зала несколько громких реплик*).

С и д о р о в (*успокаивает*) Товарищи, будьте толерантны! Тут ведь не "Спартак" играет. Тут идет серьезная, глубокая дискуссия).

Э ф р о с Ненормально, если одно художественное направление победит. Я произнесу общепринятую фразу: пусть победит мир.

Вы говорили насчет меча. Так вот, вспоминайте прошлое, вспоминайте, что было, когда решал меч.

Сравнительно недавно газеты били Евтушенко и Вознесенского. Они замечательные поэты, но бои не пошли им на пользу, мало кому они идут на пользу. Пройти мужественно, без потерь через травлю дано вовсе не каждому художнику.

Да, классика не материал, и не может быть материалом. Есть совсем другие взаимоотношения с классикой. Неловко мне здесь повторять азбучные истины. Стыдно напоминать такие имена, как Шостакович, Маяковский. Он говорил, что свергает Пушкина, а любил его больше, чем те, кто клянется пушкинским именем. Шостакович — противоположность Римскому-Корсакову, но он же гений.

Охрана классики — дело очень опасное. Ведь если бы затеяли охрану человеческих лиц, у нас не было бы ни Петрова-Водкина, ни Модильяни! *(говорил сравнительно спокойно, вдруг взрывается.)*

— Какие мы, к чертовой матери, браконьеры? Мы с утра до вечера трудимся над этой самой классикой, пытаемся понять каждую фразу, каждый оттенок! Критик помнит классику по какой-то книжке, быть может, и давно прочитанной, а для нас это живая современность. Мы каждую букву знаем (приводит пример, когда его спектакль "Ромео и Джульетту" ругали критики: ведь это о любви, а у вас так мрачно; критик забыл, что сцена, на которую он ссылается — перед самой гибелью).

В прослушанных речах все было умно, теоретично, образованно. А что под этим? Регроградство! *(Аплодирует часть зала — меньшая, чем аплодировала Палиевскому.)* Получается тишь да гладь, никто пальцем не шевельнет, если такое осилит в искусстве.

Давайте относиться друг к другу с большим доверием. Не надо ярлыков типа "некоторые интерпретаторы". Что-то может получиться, в чем-то может человек и потерпеть неудачу. *(Громкие аплодисменты.)*

Ф. Кузнецов (секретарь Моск. отд. СП) Встревожено говорит о том, что дискуссия *экспериментальная*. Нам позво-

лили ее провести, так как *хотят посмотреть* — способны ли мы на такую дискуссию, зрелые ли мы.

Огорчили Кузнецова Палиевский и Куняев категоричностью выводов. Зачем с таким неистовством топтать... Говорит об интересе социалистического общества к духовным и нравственным ценностям, небывалом интересе.

(Прим.: На последовавшем вслед за дискуссией пленуме Моск. отд. СП Кузнецов говорил о том, что мы "не отдадим нашим врагам ни Есенина, ни Мандельштама, ни Багрицкого" ("Литроссия", январь 1978 г. Упоминаний в печати об этой дискуссии не было).

Перед перерывом к микрофону подходит Эфрос, читает полученную им записку: "Организуйте свой национальный театр и там уродуйте русскую классику, как хотите". В зале громкие крики отовсюду — и возмущенные, и иные.

После перерыва.

Е в т у ш е н к о Я забежал в кабинет одной знакомой женщины, она — работник аппарата СП, и она сказала: "Какие страсти, а мне дочку из ясель забирать надо". Это прекрасно. Это правда жизни. Но важно не только то, что у нее есть дочка, а какой она вырастет, каким вырастет мой сын, — а это зависит и от наших сегодняшних страстей. Ведь именно наши дети и есть законные наследники русской классики.

Я не хотел ввязываться в драку, не хотел ни с кем спорить. Но придется. Слушая Палиевского, я пожалел, что в зале не было Маяковского. Он сразу нашелся бы — что ответить.

Палиевский — критик талантливый, я люблю его читать. Но мне кажется, что разговор у него был зашифрован. Я попытаюсь кое-что расшифровать.

Зашифрованы были прежде всего все нападки на Маяковского. Палиевский здесь туманно ругал авангардистов, в частности, и за их поведение. Сказал бы честно о желтой кофте. Я был у мамы Маяковского, она мне сказала, что Володе не в чем было выступать и из куска старого занавеса соорудили пресловутую желтую кофту.

И такие фразы Палиевского, как "вколачивание плакатных образов" есть, конечно, выпад против Маяковского. Когда

Палиевский сказал, что у авангарда — идея примыкания к политической партии, я сразу вспомнил, в какое трудное положение попал Маяковский, когда тогдашние догматики упрекали его в том, что он — недостаточно большевик, а тогдашние снобы, — что он слишком большевик. А в действительности он с юности был истинным большевиком.

Еще вот что неприятно, об этом уж отчасти говорил Феликс Кузнецов, — в двух выступлениях была некая ретроспективная склонность. (*Аплодисменты.*) Мало ли от каких бед страдает наша литература на протяжении ее сложного пути. А мы, вместо того, чтобы сообща драться с действительными противниками, ссоримся между собой. Мы забываем о том, что проклятая старуха смерть ходит между нами и никто не знает, на кого и когда упадет ее коса. А потом уже не помогают запоздалые слезы сожаления.

Одного писателя на другого подчас направляют мелкие окололитературные людишки. Зачем же стравливать мертвых? Я не видел спектаклей Мейерхольда. Кажется, и Палиевский не так уж стар, чтобы он мог их видеть. Но я верю оценке многих замечательных современников, прежде всего я верю гению русской музыки Шостаковичу.

Еще мне не понравилась в выступлении Палиевского одна фраза, которая отнюдь не была выдержана в духе тех традиций русской литературы, ратоборцем которых он здесь выступал. Человеческую жизнь наши классики ставили даже выше красоты. И когда Палиевский, говоря о 30-х годах, как бы вскользь заметил, что в это время был написан "Мастер и Маргарита" и, мол, неважно, что не напечатан, — я в этом ощутил ретроспективное равнодушие. Как же не чувствовать, не понимать трагедии художника, у которого не напечатано его лучшее, самое любимое творение? (*Громкие аплодисменты*).

Явление авангарда — сложное явление. Лучшая часть произведений, созданная предреволюционным авангардом и авангардом двадцатых годов, стала уже неотъемлемой частью классики.

Не понравились мне и рассыпанные мелкие уколы — можно по-разному относиться к Татлину, но о нем и о участии ЦДЛ было сказано мелко, с нехорошим привкусом.

Неприятно было и выступление Куняева. Не знаю, кто из них лучше: Мандельштам или Багрицкий (*в зале шум, выкрики: — Мандельштам!*).

Я хорошо знал Шукшина. Он стоял совершенно вне груп-

повых пристрастий. Он любил и Пастернака, и Багрицкого. Зачем же его имя превращать в дубину и бить им других художников? И совсем уж нехороший жест, когда Куняев стал бить Багрицкого Смеляковым, в то время, когда именно Багрицкий впервые напечатал Смелякова. Прочитированное Куняевым стихотворение вырвано из контекста, который, быть может, Куняев и не разглядел. Зачем изображать Багрицкого человеконенавистником — какая это злая неправда!

То, что идут споры — это естественно. Но поэты — не скаковые лошади. На нас нет номеров, хотя мы иногда и лягаемся и кусаемся. Но мы впряжены в общую упряжку — русскую культуру (цитирует Гоголя, начиная со слов: "Скорбным ангелом загорится..."), не ту, что грубо замешана на так называемом квасном патриотизме.

Великая русская классика никогда не замыкалась на почвенничестве. Лучшие из славянофилов были европейцами, не позволяли себе возвышать свой народ за счет других народов.

Русская классика устами Короленко заклеила антисемитизм, насаждавшийся царской бюрократией. Ненависть к антисемитизму — это осталось навсегда наследием истинного русского интеллигента.

Переплавив в своем горниле все лучшее из других культур, русская словесность завоевала Запад явлениями Толстого, Достоевского, Чехова.

Русская классика голосом Чаадаева заявила о патриотизме с открытыми глазами. Среди левых на Западе распространено представление, будто патриотизм — последнее пристанище негодяев. Я это принял бы с такой поправкой: казенный, приспособленческий патриотизм есть последнее прибежище негодяев. Против него всегда выступала русская классика. От своего народа и мы не должны скрывать ни одной трагедии.

Эту часть наших произведений всегда подхватывают западные советологи, а когда мы сами проявляем искренний патриотизм, — нас обвиняют в угодничестве. Мы должны бороться с лицемерием. Мы не сойдем вопреки всем с позиций никем не предписанного патриотизма с открытыми глазами! (*Аплодисменты.*)

Б о р щ а г о в с к и й Если продолжать пунктир, намеченный Палиевским, если довести его до логического конца, то предстанет мир мертвый, очень обставленный, устроенный. Каждый

сезон Большого театра будет в этом мире открываться оперой "Иван Сусанин". И самое страшное — в этом мире кому-то будет ведомо, как именно надлежит прочитывать произведения русской классики. А между тем, каждая эпоха понимает классику по-своему — иначе и быть не может.

И режиссер, который к классике, как бы она ни была высока, ползет на коленях, — не имеет права к ней приближаться. К классике имеет право приближаться человек, воистину верующий в свое право, в свой талант, в свое особое видение. (Приводит как пример мировую историю спектаклей "Гамлета" — как историю столкновения разных идей, разных представлений, разного прочтения. "Такой истории у пьес Сурова нет.") *(Большинство в аудитории переглядываются — они уже, вероятно, не знают, кто такой Суров.)*

Люди, которые полагают, будто существует канон в истолковании русской классики, — именно они-то в самом высоком смысле проявляют к ней неуважение.

Когда я говорю о мертвом мире, — это не просто вероятность. Хочу напомнить Вам, товарищ Палиевский, как умирал МХАТ, театр нашей молодости, который мы любили, уважали, который для нас был настоящим университетом. Кстати, в "Горячем сердце" любезный вам Станиславский такого наворотил, что вашим предшественникам это и показалось бы надругательством. Когда театральный, как и всякий иной организм, перестает развиваться, когда он закрыт для критики, — он гибнет. Ушли великие артисты и великие граждане, а это неразрывно связано, и МХАТ стал умирать. Дурную службу сослужили ему тогда охранники, которые заявляли: "Каждый, поднявший руку на МХАТ, поднял руку на мою родную мать". МХАТ охраняли от критики.

Мне интересно читать Палиевского, нас объединяет общая страсть к рыбной ловле. *(Смех.)*

А в его сегодняшнем докладе меня поразила робость. Нежелание определиться на площади. Он часто употреблял слово "авангард". Но что под этим понимать? Как поступать с "Миром Искусств", с Шостаковичем, с Прокофьевым? Если их зачислить в авангард и, следовательно, предать анафеме, тогда я с Вами не буду и никто с Вами не будет.

Ваша мысль о традиционности противоречит самой природе искусства — природе бунтарской. Искусство всегда есть бунт.

И что у Вас получается с периодизацией – почему у Палиевского выступает отдельно литература 30-х – 40-х годов? Концы с концами не сходятся, и как императив приходится отделять ренессанс литературный от трагических судеб писателей. А куда делись двадцатые годы? Куда делся, в частности, роман 20-х годов? Разве у Всеволода Иванова его произведения 20-х гг., особенно если учесть до сих пор не напечатанные книги "Кремль" и "У", хуже, чем "Пархоменко"?

Власти в 20-х гг. произвели ряд чисто административных мероприятий – например, был ликвидирован Пролеткульт.

Периодизация Палиевского не научна, не соответствует правде. Чтобы утверждать нечто подобное, надо было слишком увлечься собственной концепцией, принять ее – концепцию – прежде фактов. А, может быть, так получилось и по боковым внелитературным соображениям. Я не собирался выступать, меня на это подвигла полемика.

Я оставлю в стороне выпады Куняева против Багрицкого, для меня лично весьма неприятные. Я задам более общий вопрос. Как получилось, что в наше время – время расцвета критики – об этом не говорилось? Сам я давно не занимаюсь критикой, но читаю много. И все время раздаются звонки друзей: "Саша, ты читал?" И среди трех названных книг – две непременно принадлежат критикам. Вместо ермиловского рациона – "Гоголя – борца за мир", у нас интереснейшие работы о том же Гоголе, о Чаадаеве, о Достоевском.

Я пришел сюда с ощущением великолепно меняющегося времени, времени, которое дает разным режиссерам, вне зависимости от состава их крови, права по-своему ставить классику. Времени, когда повернуло на "ясно", когда все хорошо! И в такой момент докладчик, к моему удивлению, бросает в зал некий мрачный литературный SOS.

Б и т о в Я хотел говорить о классике и о нас. То, что я первоначально думал, подверглось катаклизму. Моя мысль оказалась вырванной из своего русла, потом вправленной.

Тем не менее полемизировать я не хочу.

Термин "классика" сначала обнимал явления от Пушкина до Чехова... Потом к этому присоединилась и советская классика. Классика – это только то, что продолжает жить. В 1917 году произошел фиксаж.

У нас с классиками существуют бурные односторонние отношения. И мы рассматриваем эти отношения, а не саму классику. Кто это "мы"? "Мы" — это я, это сейчасные мы.

Сама постановка проблемы сегодняшней дискуссии для меня прозвучала как некий модный психологический тест, вроде "вчера и сегодня", "внутри и снаружи", "человек и закон".

Меня реально интересует — и для сегодня, и для завтра — психологическая сторона наших отношений с классикой. Всегда и каждый может сказать: мы ее любим. Я еще не встречал человека, который сказал бы, что он не любит классику, или что он не любит природу. Между тем мы живем в мире, наполненном людьми, не любящими ни того, ни другого.

Любим мы составлять списки — первые три поэта, первые пять прозаиков и т. д. И нам кажется, будто кому-то из умерших больно, если его в эти списки почему-то кто-то не включает. Между тем боль эта — иррадирующая. Это нам больно. Мы сами не понимаем, что больно нам.

Примеров в моем дальнейшем выступлении не будет.

1. Восхищаясь мастерством классиков, мы прячемся от сущности проблемы. Главная беда — вы их воспринимаете вне культуры, то есть некультурно. Классики писали о человеке. Человек сравнительно мало меняется, мало изменился, в основном остался тем же.

2. Восхищаясь классиками, пытаюсь взять у них прием, мы от них в сущности отделяемся. Нельзя обречь себя на ученичество. Нельзя забывать о том, что *отпущено мало*, и отпущено тебе и только тебе. Как осилить стоящие перед тобой задачи — вот главный вопрос самому себе.

3. Отношения с классиками строятся, говоря современным языком, на принципе обратной связи. Мы представляем себе, что они сказали бы, если бы были живы, и это нам льстит.

В классике, кроме всего прочего, скрыто и некое чудо, нечто иррациональное. Потому Хлебников и мог по датам рождения и смерти единственного нереализованного русского гения Лермонтова предсказать даты двух мировых войн (1814—1841).

Все уходит, все становится прошлым. Остается только культура.

Мы убеждаем себя, убеждаем друг друга в том, что литература XIX века верно отразила действительность, — то есть отразила один к одному. Что Россия была на самом деле населе-

на Печориными, Чичиковыми, Ноздревыми. То есть, иными словами, мы зачеркиваем в классике искусство...

Мы смотрим на портрет XVIII века и все-таки полагаем, что тогда была другая природа. А другим было видение мира.

Это же требование — отражать один к одному — мы предъявляем и к себе, а выполнить не можем. Это странное и, к сожалению, опасное требование для современных литераторов и литературы.

Это не культурно — отменить право художника на самого себя. Одно из самых некультурных требований — требование нового Пушкина, нового Толстого.

У нас в России всего много, но ни одна нация не даст ни нового Сервантеса, ни нового Шекспира.

У нас были и Пушкин, и Толстой. Это никого не может обязать быть гением, но всех обязывает быть культурными.

Расскажу о писателе, которого здесь уже нет, хотя он жив. Я зашел к нему, он был в подпитии, на стене висела барски-мандельштамовская шуба. Заметив этот мой взгляд, он начал скороговоркой:

— Все хотим "Войну и мир", мы скобари, скобари, а не получается...

Он не из псковской губернии.

Культура не ограничивается одной литературой. Как известно, русская живопись не приобрела такого значения, как литература, — быть может, потому, что к счастью, никто не просил нового Рублева.

Бедная русская классика существует прежде всего в школе. Там закладывается первый пласт некультурности. Освобождение от этого пласта требует огромного труда, надо сделать рывок. Сделать этот рывок, произвести этот труд — это единственное, чего требует от нас классика.

Писатели в России были за все в ответе. Но существовала также и философия и история.

Количество культурных изданий крайне невелико, стать в уровень с XIX веком нам, видимо, не под силу. Но отнестись культурно можно. Об этом свидетельствует и "Библиотека поэта", и "Памятники".

Какая это радость — поддержать стихи Пушкина, созданные в Михайловском или в Болдино.

Потребление любого рода не создает новой культуры.

Сошлюсь на Палиевского, — его, в основном, здесь клевали, — на его юбилейную статью о Пушкине в журнале "Москва". Мне очень подошла его мысль, — простите, Петр Васильевич, если перевру, — мысль о чуде Пушкина, о том, что Пушкин — подарок, что он сделал не меньше Петра, что он предоставил путь.

Палиевский говорит о том, как мало было у Пушкина оснований для великого рывка. Он создал их сам, подставил себе опоры в большей степени, чем обладал ими.

Не израсходовав одних классиков, мы создаем второй эшелон.

На нашей дискуссии сказалась общая болезнь потребления: занимались прежде всего не производством, а распределением ролей.

Л о м и д з е Выступление предшествующих ораторов сбilo меня с плана. Петр Васильевич идеализирует тридцатые годы. Я могу судить об этом лучше всех, я сам испытал многое. Могу судить даже в таком частном, поднятом здесь вопросе, как положение в Большом театре: мне пришлось воспитываться в семье Большого, — именно тогда произошло изгнание Голованова, его заменил Самосуд.

Нет, в тридцатые годы гибли от меча не только те, кто меч поднял:

Так они и шли в своих бушлатах
Два несчастных русских старика
(Заболоцкий)

Уж они-то меча не поднимали. Таковы коррективы.

Тут раздавались призывы к миру. Напрасно. Мира не будет. Искусство — вещь жестокая, может стоить всего, даже и жизни, — в том хотя бы смысле, сколько уходит здоровья. Но я хотел бы пожелать, чтобы бои в области искусства не превратились бы в бои того рода, которые происходили в тридцатые годы.

Я не согласен с Евтушенко. Да, во многих важных вопросах линия Маяковского не может быть совместима с линией Есенина.

Нельзя совместить:

...чтобы
в мире
без России,
без Латвий

Жить единым
человечьим
общезитьем.

И

Если гикнет рать святая
"Кинь-ка Русь, живи в раю",
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою.

Или:

... Клячу истории загоним?..

В эвклидовом мире эти представления не сходятся.

Но Маяковский тоже поэт.

Тут уже говорилось о чудесах. Наши споры раздаются сегодня, 21-го декабря, в день рождения того человека, с именем которого так связаны трагедии тридцатых годов.

То, что делается с русской классикой сейчас, вызывает во мне негодование. Я позволил себе крикнуть с места Эфросу, что мы хотим классику без посредников (цитирует слова Майи Туrowsкой из статьи в "Литгазете" об Эфросе: "... режиссер — звезда — приближает классику к зрителю" (аплодисменты)).

Тезис, будто классика без посредников будет пылиться на полке, — неверен.

Мы забываем о лавине экранизаций и инсценировок, они сами по себе — зло, даже если они так называемые "хорошие". Хороших нет и быть не может, потому что нарушается главнейшее — текст. Происходит перевод того, что должно быть, может быть видно взором духовным, в прямое изображение. И это по самой сути уже есть искажение.

"Герой нашего времени" дойдет лучше, чем спектакль Эфроса. "Страницы дневника Печорина" (приводит эпизод из спектакля, когда гвардейский офицер Печорин, не снимая фуражки, читает "И скучно, и грустно...", — полное искажение самого замысла Лермонтова).

Тут говорили о трактовках. Трактовок-то нынче и нет.

Ю. Трифонов в юбилейной статье о Юрии Любимове в журнале "Театр" говорит о "комплексе демиурга" у Любимова, о том, что такого режиссера нельзя заключать в клетку. Неверно. Если он режиссер-творец, то он обязан подчиняться автору — это не клетка, а если он просто демиург, то пусть сам и пишет. В статье

сказано о любимовском спектакле по Островскому, где персонажи из разных пьес смешаны, как белок с желтком, — а мне нужен сам Островский, а не подобный гоголь-моголь...

А. Свободин рецензирует фильм Михалкова "Механическое пианино"... по Чехову, — хвалит. Я не понимаю, почему 60% Чехова лучше, чем 100%.

Об изданиях: мы до сих пор все еще не можем действительно собрать всю русскую классику. То у нас был Толстой без Достоевского, теперь, слава Богу, идет Достоевский, но заминка на "Дневнике писателя". То Фет без воспоминаний. То, вот я держал в руках том БВЛ "Предоктябрьская русская поэзия". Замечательный том. В предисловии сказано об акмеизме, — названия, естественно, имена Ахматовой, Гумилева, Мандельштама. Листаю том, — Ахматова есть, Мандельштам есть, Городецкий есть, а Гумилева — нет. Так издавать нельзя.

М а ш и н с к и й В литературном мире нет мертвых. Они вмешиваются в нашу жизнь как живые. Гляжу на этот переполненный зал и думаю: сколь же велика заинтересованность в русской классике! У классики есть два смертельных врага: первый — святое благочестие и второй — субъективность. От интерпретатора никуда не деться (рассказывает долго, как он смотрел "Ревизора" в Исландии. Потом называет имена лучших наших литературоведов). *(Кто-то подсказывает: "И Буковский". Машинский повторяет: "Конечно, и Буковский". Гул в зале).*

С и д о р о в В президиум поступило множество записок. Одна была оглашена Анатолием Эфросом — отвратительная. Я должен извиниться перед Анатолием Васильевичем. *(Из зала: "Почему только перед ним?")* Я хотел бы быть уверенным, что ее написал не писатель. *(Крики в зале.)* Вот я оглашу менее отвратительную, но тоже неприятную: "Почему выступают не те, кто был объявлен в афише? Что за махинации?" Похожа по тону на первую. *(Крики из зала: "Почерк? Подпись?")* Обе записки анонимные, почерков мы не сравнивали, мы не занимаемся экспертизой. Есть в зале люди, которые явно не туда попали.

К о ж и н о в Я возмущен той истерией, которая возникла тут после докладов Палиевского и Куняева. Причем, главным мотивом этой истерии было обвинение этих докладчиков в анти-

семитизме. Но Куняев же цитировал и положительно оценивал О. Мандельштама... Я уверен, что записка, пущенная из зала, была написана сторонниками этой истерии.

Сидоров Мы еле-еле отделались от тех нездоровых, болезненных моментов нашей дискуссии, а ты опять своим выступлением возвращаешь нас к ним.

Кожин Мне не интересно, какой национальности были Мейерхольд и Татлин... Я не за то не люблю Мейерхольда, что он еврей...

(Реплика из зала: "Мейерхольд – немец"!)

... мне не интересно, какой национальности те режиссеры, которые извращают русскую классику...

Сидоров Ты не можешь судить об этом, Вадим. Признайся, ведь ты не ходишь в театры.

Кожин Я не хожу, но моя жена недавно пришла с постановки Эфроса вся заплаканная от того, что этот режиссер сделал с Чеховым... – а от театра до нашего дома 15 минут ходьбы, – у нее вот такие слезы катились...

(Реплика из зала: – О жене ясно. А какие спектакли смотрит ваша теща? Как она относится к театру?)

Кожин Жена плакала не от восторга, а от ужаса, – что сделано с Чеховым... Недавно я рецензировал работу, посвященную испанской литературе XVIII века. Там было написано, что в этот период был разгул реакции, поэтому мало хороших писателей и нет великих произведений. Но между прочим, в это время в Испании наоборот было тихо и спокойно, правил какой-то король... А вот XVII век в Испании как раз и ознаменован страшными насилиями, но в это время были Сервантес, Кальдерон, Лопе де Вега...

(Реплика из зала: "Ты искажил прочитанную работу!")

С. Куприянов Маяковский введен в классику Министерством просвещения после того, как Сталин сказал, что он лучший, талантливый.

Тут кто-то говорил, что критики били Евтушенко и Воз-

несенского. Это неверно — именно критики их и сделали поэтами.

Сидоров Слава, что ты говоришь, ты же сам поэт!

Куприянов Вот приходит ко мне парень и спрашивает: в чем особенность изображения Ленина в поэме Вознесенского "Лонжюмо"? И я вспомнил, что был в рекламном бюро, когда там принимали портрет Ленина. И я услышал: оказывается, есть такое понятие — "эмблемно". Вот и Ленин должен быть "эмблемным". Художнику сказали тогда, что у него есть выражение, а это мешает эмблемности. Надо убрать выражение — и будет эмблемно. Это и есть Вознесенский.

Сидоров Слава, я не потому стою, чтобы тебе мешать, но о том, о чем ты говоришь, хватит и трех минут.

Куприянов Я должен дать справку: я составлял для "БВЛ" предоктябрьский том поэзии. Еще в верстке сохранился Гумилев. А потом нам сказали: один раз Гумилева уже расстреляли (большевики?), чего вам надо? В музыке господствуют англо-американские влияния. Жизнь классике давали ключевые тексты (религиозные мифы), потому она все еще космологична. Почему у нас нет архитектуры? Русская архитектура утрачена. Сейчас все функционально. Церковь была космологична.

Классика теперь как этика, — свод нравственных правил.
(Реплика из зала: "Классика вместо Библии?")

Нормативная грамматика всегда строилась на примерах классики, ориентировалась на литературу (как грамматика Греча или Ломоносова). Это сейчас она строится на газетно-радиоматериале. И с этой высокой точки зрения ни Багрицкий, ни Маяковский не нормативны.

В классике необходимо движение (не в нашем понимании), каждый поступок вытекает из другого. В современной же литературе характеры вытекают из фактов. Это ограничивает классику от не-классики. Все то, что современная литература взяла от классики, разменивается на мелочи, используется "на публику", царит утилитарный подход.

Золотусский Мне не понравилось выступление Евтушенки. Он говорил "мы", а я не хочу быть вместе с Евтушенко в

этом тесном местоимении. Классики оставили нам, прежде всего, идеальное отношение к действительности. Они умели парить. Хоть и были с действительностью связаны. Евтушенко в моих глазах не имеет никакого морального кредита, потому что он мог написать:

Моя фамилия — Россия,
А Евтушенко — псевдоним.

И когда он цитировал Гоголя, это было кощунство.

Мы не можем жить в прошлом. Мы вынуждены жить в настоящем, и если у нас есть вибрация по отношению к настоящему, — которое худосочно, вяло, тускло.

Вступая в контакт с классикой, мы возвышаемся и ценим свое время. Я недавно был у сегодняшних студентов и почувствовал огромную разницу с моими сверстниками — нынешние гораздо раньше приобщаются к истинным ценностям культуры.

Мы собрались создать новые общие идеи, но наше поколение полукультурно. То, что мы потянулись к классике, — процесс драматический. Ему не дано завершиться в нас самих.

И. Роднянская В возникшей здесь полемике я участия принимать не буду, процитирую по этому поводу слова моего любимого поэта Алексея Константиновича Толстого "Двух станов не боец"...

Я задумалась — что такое "классика и мы". Ведь при этом подразумевается, что "классика" не "мы", — есть и преграда, и коридор. И сегодняшняя дискуссия доказала, что классика — не мы, мы были очень заняты не классикой, а собой.

Под классикой я буду подразумевать очень широкое — все то, что мы, современники, почитаем прошлым, тем, за которым уже захлопнулась дверь.

Современный человек классикой называет все то, в чем он не находит себя. Классика — все, накопленное культурой, то, с чем нельзя отождествиться.

Это дальше, одетое в гусиную одежду, в чужое слово, — привлекает, как никогда.

У ОПОЯЗовцев, у Тынянова слово "классическое" не существует — канонизирована литературная борьба, все превращается в поток относительности. Тынянов нападал на формулу Аполлона Григорьева "Пушкин — это наше все".

Нельзя смотреть на предыдущую эпоху, как на подготовку последующей, и на последующую — как на простое продолжение предыдущей.

По Тынянову в культуре нет того, что могло бы обладать вершинностью чуда.

... Но они остались по ту сторону нашего текущего опыта. Превалирует слабоумное восхищение перед своим веком, он — высший суд. Классическое предполагает восприятие вечного, а не только прошлого. Это неизменные идеалы человеческой души.

Нравственная мера благообразия, при которой нет шутовства и гонорности — Толстой, Чехов, Достоевский. Наносное идет от публики.

Современный зритель хочет видеть Гамлета в свитере, и режиссер идет этому навстречу; это общая расхлябанность и режиссера, и актера.

Все адаптировать, все связывать с собой — это предательство классики. Это как бы желание поспать на тех постелях, прополонировать по тем залам.

Дети читают не только о себе, но и о том, что к их жизни отношения не имеет. Так бывает до 16-ти лет. И не от доверчивости. Просто в них не угасла связь с общечеловеческим живым фондом. А между тем, русская классика отчисляется к запасу детского чтения. Современное искусство прикикло к классическому источнику, и в этом я вижу возрождение.

К у н я е в Багрицкий пошел против традиций русской классики. Талантливый поэт, но путь его вразрез. Я же ему противопоставлял Мандельштама. Он тоже талантливый поэт, но в русле русской классики.

(Заодно ругает Евтушенко, что кулуарен и смешон).

П а л и е в с к и й Хвалит Куприянова, Золотусского и др. Говорит, что мы постепенно движемся к общей платформе. И что классика победит, и что мы будем за это бороться.

Р. Лерт

ВЫСКАЗАННОЕ И НЕДОСКАЗАННОЕ

Комментарий к дискуссии

В этой, казалось бы, сугубо теоретической и "литературной" дискуссии имеется подспудный, невысказанный или полусказанный подтекст. Даже несколько подтекстов: один — для "инстанций", второй — для одной части аудитории, третий — для другой. Поэтому действительные позиции выступающих маскируются декоративными, обоснованные обвинения рассчитанно направляются по ложному адресу — и подлинные мысли и эмоции ораторов лишь как бы случайно прорываются сквозь декор. Никто не говорит прямо то, что он думает, но *что* он думает — об этом догадаться нетрудно.

Одно становится безусловно ясным после ознакомления с записью дискуссии "Классика и мы": классиков здесь не защищали, а эксплуатировали. Классика избрана была то ли в качестве защитного бастиона, то ли в качестве удобной стратегической позиции для того, чтобы свести современные счеты — и литературные, и, главным образом, нелитературные. Кому нужно это сведение счетов, становится более или менее понятным из встревоженной реплики секретаря Московского отделения Союза советских писателей Феликса Кузнецова:

— Дискуссия — ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ . . . Нам *позволили* (!) ее провести, так как *хотят посмотреть* (!) — способны ли мы на такую дискуссию, *зрелые ли мы* . . .

Видимо, не совсем по сценарию пошла дискуссия, ибо стенограмма ее сразу после окончания была изъята теми самыми инстанциями, которые "позволили" . . . Стоит ли еще раз подчеркивать степень "свободы" писателей, которым *позволяют* или не *позволяют* спорить даже о классическом наследии? Гораздо интереснее отметить, что принимавшие участие в дискуссии писатели и критики явно не выдержали экзамена на "зрелость". Не удержались в предписанных им рамках — и оказалось, что те, на кого рассчитывали как на "зрелых", тоже не очень надежны.



Трудно анализировать сокращенную запись, сделанную не профессиональным стенографом и не проверенную оратором. Всегда может оказаться, что самодеятельный стенограф что-то важное пропустил, что-то не так понял, что-то ненароком исказил. Но выбора нет: стенограмма — за семью печатями! Так же, как нет у советского читателя возможности сравнить две точки зрения на сорванную "Правдой" постановку "Пиковой дамы" в парижской "Гранд-Опера". Безграмотное письмо Д. Жюрайтиса (написанное вполне в духе печально знаменитого "Сумбура вместо музыки" — напечатано в центральном органе ЦК КПСС, а ответное письмо трех деятелей советского искусства Ю.П. Любимова, Г.Н. Рождественского и А.Г. Шнитке — не напечатано нигде. Не напечатано, хотя написанное в спокойных и корректных тонах, оно убедительно доказывает клеветнический характер утверждений Жюрайтиса.

В чем дело? Почему вопрос о том, как тот или иной режиссер ставит "Пиковую даму", или "Русалку", или "Три сестры", вызывает такой взрыв страстей, в которые вовлекаются (или которые вызывают) государственные деятели и идеологические органы? Театров у нас много, режиссеров — тоже, почему бы одному не ставить так, а другому эдак, а зрители будут выбирать? В чем опасность *такого* "инакомыслия" для идеологических органов и государства?

По мне, так ни для страны, ни для народа, ни даже для данного государства нет никакой опасности в свободном выражении различных взглядов его граждан на проект Конституции или на политику партии. Но в данном-то случае речь ведь идет не о Конституции. Почему недопустимы различные взгляды даже на то, как ставить "Русалку"?

П. Палиевский в своем вступительном слове объясняет, почему. Он бьет тревогу, кричит "SOS" по поводу опасности, грозя-

щей якобы русской культуре со стороны "чужаков", "авангардистов", захвативших-де командные высоты в советской культуре. Попутно он высказывает ряд верных, хотя в общем известных истин (несоизмеримость масштабов между нашими писателями и классиками; образ человека, заключенный в Пушкине, далеко не осуществлен; классику в современности нельзя рассматривать вне борьбы современных литературных течений; и пр.). Не могу утверждать, что ничего более глубокого Палиевский не сказал: возможно, тут повинна несовершенная запись. Но то, что он *ска-* *зал* и что отражено в записи его речи, требует возражений, тем более настойчивых, что выводы его: а) основаны на *прямой неправде*; б) представляют собой открытую *попытку реабилитировать сталинское наследие*; в) маскируют идеологическую позицию якобы литературными соображениями; и, наконец, главное — *направлены на то, чтобы покончить с теми слабыми проявлениями разномыслия, которые появились в нашем обществе в конце 50-х годов.*

Итак — а) *прямая неправда.*

"В момент возникновения нового общества, — заявляет Палиевский, — произошло нечто, что классиками не предполагалось: у классиков появился могучий противник — искусство авангарда, предложившее свои нормы и понятия. В образовавшемся пространстве авангард занял руководящую роль. Культура эта популярна классической . . ."

Что это за злокозненный "авангард" со своими "нормами и понятиями", противопоставленный классике, и можно ли всех деятелей культуры, которые не нравятся Палиевскому, вынести за одну скобку, — из выступления неясно. Если же понимать слово "авангард" так, как принято понимать это явление культуры в последние годы, то есть как течение или течения в искусстве, противопоставляющие себя в момент своего возникновения классическому наследию, то "искусство авангарда" в России появилось *не в момент возникновения нового общества* и с этим возникновением непосредственно не связано. Здесь не место анализировать истоки ряда течений и их взаимосвязи, однако невозможно уклониться от того, что и проза Андрея Белого или, скажем, Ремизова, и поэзия Владимира Маяковского, и поэзия Марины Цветаевой, и творчество "левых" художников (Малевич, Кандинский, Шагал и др.) возникли не в 1917 году, а в конце XIX — начале XX века, названном, кстати сказать, "серебряным веком" русской

поэзии. И не была эта культура "полярна классической", хотя задолго до П. Палиевского ее обвиняли в этом многочисленные критики старой России, включая остроумного фельетониста А. Аверченко.

Можно ли, положив руку на сердце, сказать, например, что русский символизм, возникший в самом конце XIX века, развивался целиком в русле классической традиции? Не только бойкие фельетонисты отрицали это, но и Л. Толстой, и А. Чехов. Что не помешало, скажем, Александру Блоку (да и многим другим представителям тогдашнего "авангарда") в свою очередь войти в русскую классику. Да ведь если исключить из русской культуры символистов, акмеистов, футуристов и других, то из всего "серебряного века" останется, пожалуй, один только Иван Бунин. Прекрасный поэт, ничего не скажешь, но не мало ли для русской поэзии в годы, когда одновременно — или почти одновременно — творили Блок, Брюсов, Бальмонт, Белый, Гумилев, Ахматова, Вячеслав Иванов, Волошин, Цветаева, Маяковский, Мандельштам?

Я решительно отказываюсь в этом контексте от оценок: они неизбежно будут субъективны и бездоказательны. Да и никакого значения не имеет для читателя то, что я, скажем, не люблю (а другой любит!) Брюсова, Бальмонта, Вячеслава Иванова, Гумилева (за вычетом нескольких стихотворений). Суть в том, что сейчас, в последней четверти века, мы не можем не видеть, какими сложными и сложно опосредованными путями шло развитие русской поэзии в XX веке, как не просто и не прямо влияло классическое наследие на самых отчаянных "новаторов" и "ниспровергателей". Иначе и не бывает в живом самодвижении жизни и культуры, иначе и не начинается творческий путь, как с отталкивания от отрезка пути, кажущегося уже пройденным. Можно ли это творческое отталкивание от классики (с последующим возвращением к ней на новом витке) именовать "полярной враждебностью"? Без такого творческого отталкивания культура должна умереть в копиях и переизданиях, ничего своего не внося в отечественную и мировую сокровищницу. Пастернаковское "нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту" тем ведь и дорого, что впадает он в "неслыханную простоту", пройдя свой собственный путь сложности и увидев то, чего ни Пушкин, ни Тютчев, ни Некрасов видеть не могли. Это ведь не та простота, которая хуже всякого воровства, не "морковный кофе" . . .

И куда вы, с вашей тенденцией противопоставлять "аван-

гарт” классике, денете, скажем, Марину Цветаеву, которая так и не впала в ”неслыханную простоту”? В интерпретаторы? Во враги Пушкина? В ряды тех, кто создавал ”искусство потребителей”?

Теперь далее: б) *попытка реабилитировать сталинизм.*

”Авангардистами, — говорит Палиевский, — создана ложная легенда о расцвете культуры в 20-е годы. Это — ошибочная точка зрения. Настоящий расцвет культуры падает на 30-е — 40-е годы, как ни странно это покажется присутствующим . . .”

Не странно. Ибо слышим мы это не впервые. Палиевский — не автор и не первооткрыватель концепции, согласно которой именно период массовых убийств и заточений в лагеря и тюрьмы является периодом расцвета русской культуры. Задолго до него эту светлую мысль высказал в журнале ”Молодая гвардия” С. Семенов*, хотя ни он, ни следующий тем же курсом Палиевский не могут привести ни одного сколько-нибудь убедительного доказательства ”расцвета русской культуры” в годы сталинского террора.

В самом деле, вот, например, утверждение Палиевского, провозглашенное тоном, каким вещают аксиому:

”Как бы ни относиться к 30-м — 40-м годам с политической точки зрения, но следует помнить об *историческом повороте к русской классике, который произошел именно тогда*” (!).

(Отметим, что к сталинской политике 30-х — 40-х годов можно, оказывается, относиться *по-разному*, то есть и положительно, как относится к ней, видимо, не только официальная пропаганда, но и Палиевский. Как вяжется это одобрение сталинской политики 30-х годов, когда было разгромлено русское крестьянство, с надеваемой на себя Палиевским и его соратниками личной ”почвенничества” и ”защиты народности”? А никак не вяжется. Это просто один из моментов негласного соглашения сталини-

* Как это ни нескромно, я вынуждена отослать читателей к своей статье ”Трактат о прелестях кнута”, являющейся ответом Семенову. Она не напечатана, разумеется, ни в одном советском журнале, но имела довольно широкое хождение в Самиздате. В ней приведен и ряд фактов, и ряд имен, подтверждающих, что массовое убийство людей было одновременно и планомерным истреблением культуры. Кстати, из приведенного там далеко не полного списка можно убедиться, что убивали, не справившись ни о национальности, ни о литературном направлении, ни об отношении к русскому фольклору: воспевателя русской избы Николая Клюева убили таким же точно образом, как и ”авангардиста” Даниила Хармса.

стов с легальными "русистами", о котором я еще буду говорить).

Откуда же взял все-таки Палиевский, что в тридцатых годах произошел "исторический поворот к русской классике"?

Примеров у него не густо: "Иван Сусанин", "Музыкальная комедия", какие-то балеты, исполнение в концертах арий из классических опер (всегда исполнялись!), ни одного поэтического имени, а из прозы — только Шолохов и Булгаков. Да и эти примеры — насколько обоснованы?

"Был написан по-видимому самый великий роман XX века "Тихий Дон". Писал Булгаков, да, да, я подчеркиваю — писал и написал, это гораздо важнее, чем напечататься . . ."

"Тихий Дон", действительно, великий роман. Самый ли великий, об этом пусть судят в XXI веке. Но зачем же передергивать? Первая книга "Тихого Дона" впервые напечатана в 1928 году, следовательно, писал ее автор (кто бы он ни был) в середине тех самых проклинаемых двадцатых годов. Последняя, четвертая книга была напечатана перед войной. А дальше? А дальше писатель Шолохов уже кончился. Где же "расцвет"?

Что же до "несущественности" того, когда написан, а когда издан роман "Мастер и Маргарита" (и другие произведения М. Булгакова, но прежде всего, конечно, "Мастер и Маргарита"), то это уже цинизм, который, даже при всей нашей привычности к нему, трудно себе представить. В течение всего сталинского "расцвета культуры" не была напечатана ни одна строчка Булгакова, а Палиевский говорит: "Неважно. Важно, что писал и написал. . ." Так ведь и о Мандельштаме можно сказать: "Неважно, что не давали куска хлеба. Неважно, что посадили. Неважно, что убили. Важно, что писал и написал . . ."

Для характеристики личности писавшего и написавшего, конечно, в первую очередь важно это. Но для характеристики эпохи периода? Периода, когда писателей убивали, как периода "расцвета культуры"?!?

Да, но ведь Булгакова не посадили и не убили . . .

"До чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели . . ."

И тут, мне кажется, уместно напомнить, что писатель Михаил Булгаков возник в двадцатых годах и что в эти годы он не только писал, но и печатался. Были напечатаны "Белая гвардия" (1923 г.) и сборник повестей, куда входили "Дьяволиада", "Роковые яйца" и другие (1925 г.). На сцене театра Вахтангова с огромным ус-

пехом шла "Зойкина квартира". Пресса, особенно рапповская, на все лады ругала Булгакова, но в те годы ругань в печати еще не означала, как при Сталине, физического или духовного (запрещения печататься) умерщвления писателя. Начиная же с тридцатых годов, с "исторического поворота к русской классике", как именует их Палиевский, запрещались все постановки пьес Булгакова, кроме "Дней Турбиных" (этого каприза тирана пока еще никто не разгадал).

Но, может быть, Палиевский прав в отношении собственно классики в узком смысле слова? Может быть, титанов и гениев русской культуры в 20-х годах только и делали, что "сбрасывали с корабля современности", а в 30-х годах, при Сталине, вернулись к любовному и уважительному отношению к ним?

Нет, и тут — *прямая неправда*.

Единственное полное (без купюр) собрание сочинений Л.Н.Толстого было задумано и начато *в начале двадцатых годов*. Единственный раз до смерти Сталина собрание произведений Достоевского было издано в СССР именно в двадцатых годах — и тогда же издавался ряд исследований его творчества, вовсе исчезнувших в тридцатые годы. При Сталине запретили переиздание тех самых сатирических поэм А.К. Толстого, которые не допускались к печати царской цензурой вплоть до 1905 года ("Сон Попова", "История государства Российского. . ." и др.).

А разве в 30-х годах в СССР издавался И. Бунин? Разве не в тех же 30-х годах был фактически запрещен у нас Есенин — и даже самое упоминание его имени считалось крамольным? *В тридцатых*, а не в двадцатых, когда поднимаемая ныне "почвенниками", как знамя, поэзия Есенина впервые получила широкую известность и популярность.

И "Китеж", об отсутствии которого на сцене Большого театра скорбит Палиевский, не ставился ни в 30-е, ни в 40-е годы. И именно в 30-х годах началось уничтожение архитектурного ансамбля Кремля, в том числе уникальных древних соборов.

Что касается 40-х — военных и послевоенных — годов, то эти годы, действительно, отмечены поворотом сталинской политики к русской великодержавности, к имперским традициям, но отнюдь не к русской культурной традиции. Если, конечно, не включать в эту традицию кастовое разделение солдат и офицеров, генеральские звания, погоны, разнообразные мундиры для чиновников различных ведомств, институт "денщиков", раздельное

обучение мальчиков и девочек и, наконец, антисемитизм. "Поворот к русской классической традиции" ознаменовался в эти годы позорным преследованием Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Или, может быть, простить это Жданову за то, что он одновременно поносил "авангардистов" Шостаковича и Прокофьева?

В свете всего перечисленного (а это — очень малая часть злодеяний, совершенных сталинским аппаратом в области культуры) заявление Палиевского, что "именно в 30-е — 40-е годы произошло слияние классической традиции с народной культурой", подтверждает лишь абсолютную аморальность людей, с одинаковым циническим прагматизмом относящихся как к своей культуре, так и к своему народу.

(Об этом циническом прагматизме свидетельствуют даже некоторые их и их учеников обмолвки. Замечу, что изъявляющим столь пылкую любовь к русской классике для начала не худо бы ее просто знать. Так, Журайтису прежде, чем защищать от Любимова "Пиковую даму", не худо бы узнать, что так озаглавлена не поэма, а повесть Пушкина. Так, рецензентке "Нашего современника" (№ 1 за 1978 г.) Ирине Стрелковой полезно было бы предварительно выяснить, что цитируемое ею стихотворение "Я не люблю иронии твоей. . ." принадлежит не Пушкину, а Некрасову. И одновременно уяснить себе, как беспомощна попытка использовать этот шедевр русской любовной лирики в качестве оружия против иронической струи в современной литературе. Да еще приплетать к этому имя Пушкина, которого, помимо всего прочего, можно было узнать "по когтям". . .)

Теперь — третье: что имеют в виду участники дискуссии, говоря якобы о литературных разногласиях? Зачем понадобилась вся эта темпераментная возня вокруг "традиций" и "авангарда"? И что подразумевается под традициями, а что и кто — под авангардом?

В какой-то мере ответ на эти вопросы дает выступление Ст. Куняева. Еще раз подчеркну: никто из выступавших, даже наиболее откровенный Куняев, не говорил открытым текстом, но все прекрасно понимали, что имеется в виду. Как, скажем, читатели советских газет досконально знали, кто подразумевался в 1964 — 1965 гг. при употреблении терминов "субъективизм" и "волюнтаризм". Советская интеллигенция в этом смысле прошла хорошую школу: что пишется, а что "в уме", она понимает с полуслова. Западные интеллектуалы эти ребусы иногда разгадать не в силах.

Если бы Палиевский, Куняев, Кожинов, Куприянов и прочие говорили вполне открытым текстом, они могли бы возразить мне примерно так:

”Вы говорите о стилях, литературных направлениях и т.п. А мы говорим об идеях, о моральных нормах, о гуманизме, о народности, всегда бывших традиционными для русской классики. Вот эта традиция и прервалась в 1917 году – и прервала ее *революция*. И вся русская поэзия и проза послеоктябрьского периода, и весь театр, и все искусство 20-х годов полярно враждебны русской классике и русскому народу, ибо полярно враждебна им революция и влившаяся с ней в русскую культуру инородцы”.

Такое заявление было бы, по крайней мере, честно. Но я не виню ”почвенников” в том, что они его не делают. Открытым текстом всего этого им говорить пока не позволяют – и только потому, что ”инстанции” все еще нужен фиговый листок марксизма и Октябрьской революции. Но ”инстанции” и ”почвенники” очень хорошо друг друга понимают – и поэтому полукрытым текстом Куняеву, Куприянову и другим дозволяется говорить все, что угодно – лишь бы они укрепляли ”русскую национальную идею”. Ибо в глубине души инстанции, как и Сталин в 1941 году, возлагают на нее больше надежд, чем на свою формальную пропаганду ”зрелого социализма” и ”развитой советской демократии”.

И они по-своему правы. Залитый кровью и со всех сторон оплеванный идеал социализма не светит сквозь сегодняшнюю реальную действительность. Пусть казенные барабанщики без конца дуют в уши, что он, социализм, уже построен, уже осуществлен, уже зрелый, реальный, развитой. Но реальность – видна. И история – пройдена. И кровавая цена – заплачена.

А – за что?

И не случайно ”из гушины кровей” возникает столь популярная в современном мире идея национализма, и не случайно оказывается, что именно она сегодня в нашей стране способна создать эмоциональный накал, найти отклик, породить талантливую литературу. Потому что ведь невооруженным глазом видно: проза, группирующаяся вокруг ”Нашего современника” – самая содержательная современная русская проза (к поэзии это, правда, не относится). Пользующиеся наибольшей популярностью талантливые прозаики вдохновляются сегодня национальной идеей – русской идеей, идентифицирующейся в их сознании и памяти с идеей крестьянской. Любовно, по крупницам, собирают и восста-

навливают они в памяти и в эмоциях невосстановимые в реальности приметы доколхозного крестьянского быта, нравов, морали, развеянных кровавым ураганом сталинской коллективизации. И как всегда в таких случаях, когда прошлое не изжито естественно, а погублено насильственно, появляется идеализация этого прошлого. Прекрасная дымка идеализации скрадывает все плохое и страшное, что было в этом быту и этих нравах, и из нее выступают только выпуклые образы уцелевших от прошлого чудесных стариков и старух ("Последний поклон" Астафьева, "Прощание с Матерой" Распутина и др.), морально намного превосходящих своих жестоких и бездуховных потомков.

Неоправданно идеализируя прошлое, талантливые художники говорят правду о настоящем.

Сейчас, через 60 с лишним лет после Октябрьской революции, сам факт появления такого мощного художественного течения должен заставить задуматься любого мыслящего человека, независимо от его взглядов и убеждений. Такое явление не может быть случайным. Глубокая рана, нанесенная русскому народу в лице его многомиллионного крестьянства в годы насильственной коллективизации, принадлежит к числу тех долго не заживающих исторических ран, которые есть у поляков (многократные разделы Польши), у чехословаков (от покорения Чехии немцами до вступления советских танков в Чехословакию в 1968 году), у ирландцев и у многих других народов. И есть немалый соблазн в том, чтобы отвести подспудно накопившийся гнев в русло национализма, объявив по аналогии это явление — сталинский погром в деревне — делом рук "инородцев", чужих, чуждых и ненавидящих русский народ.

Этот идеологический заказ и выполняют полуофициозные барды национализма. Для этого и нужны им евреи.

Никто не подсчитал и не может подсчитать, сколько евреев было среди "уполномоченных", раскулачивавших и вывозивших со своей земли русских крестьян в начале 30-х годов, — но наверняка их было меньше, чем русских. Однако, никто не подсчитал и тех шрамов, которые остались в сердцах и умах детей и внуков раскулаченных и вывезенных. И этим детям и внукам с их незаживающими шрамами вот уже в течение почти сорока лет на все лады подсовывается идея, что во всех их несчастьях виноваты евреи.

И вот здесь — точка пересечения интересов наших официаль-

ных кругов с интересами полуофициальных "почвенников". Здесь заключается союз и объявляется взаимная амнистия: "инстанции" пропускают мимо ушей выпады "почвенников" против Октябрьской революции, а почвенники амнистируют Сталина и тридцатые годы, перенося огонь со Сталина на Ленина и с тридцатых годов (когда, собственно, и начался поход и против крестьянства, и против русской культуры) — на двадцатые. Обоим этот союз нужен: идеологам "неославянофильства", чтобы беспрепятственно насаждать идею воинствующего национализма; инстанциям — чтобы опереться хоть на какую-то идею, сплачивающую "своих" против "чужих", чтобы протянуть хоть какую-то эмоциональную связь между собой и "массами", которым давно обрыдли их циркуляры и указы. Да и им самим, инстанциям-то бишь, идея великодержавной государственности, в которой они воспитаны Сталиным, эмоционально неизмеримо ближе, чем проборматываемые ими "по долгу службы" заученные фразы об интернационализме и братстве народов, давно потерявшие всякое содержание в реальной жизни. Дело даже не только в антисемитизме. Нарастает, укрепляется, пропагандируется подозрительность ко всему "чужому", "не нашему" — к желтым, "черножопым", "носатым", иноязычным, нарастает и укрепляется идея национальной сплоченности против враждебного мира.



Дискуссия в ЦДЛ была своего рода "разведкой боем", пробой сил заключенного союза, черновым смотром жизнеспособности симбиоза официальной и неофициальной идеологий. Потому и понадобился такой псевдоним, как "защита классики". Некоторые из выступавших — то ли очень уж наивные, то ли, наоборот, весьма предусмотрительные — всерьез говорили о проблемах трактовки классического наследия, о соотношении традиций и новаторства, о праве на собственное прочтение пьес Гоголя и Чехова. Но не в этом был *смысл* дискуссии. "Не очень много шили там, и не в шитье была там сила . . ."

Зададимся вопросом: почему, выступая на защиту русской классики от "полярно враждебного" ей "искусства авангарда", появившегося, по утверждению Палиевского, "в момент возникновения нового общества и предложившего свои "нормы и понятия", ораторы основной свой удар направили на Багрицкого и Мейерхольда? Мейерхольд, как режиссер, существовал задолго до появления "нового общества", а убит был Сталиным уже в конце

30-х годов. Против кого Мейерхольд "поднял меч", от которого погиб, неясно, но ни против русского народа, ни против русской культуры он его не поднимал. У него есть только две "вины", с точки зрения "почвенников": во-первых, в его жилах текла нерусская кровь (Мейерхольд — из давно обрусевших немцев; Кожин же публично оконфузился, объявив его евреем); во-вторых, он с первых дней приветствовал революцию. Но что касается первого, то расовой чистоты мы не обнаружим и в биографиях Жуковского, Пушкина, Герцена, Фета . . . Надо ли продолжать список? В положительном же отношении к Октябрьской революции повинны и многие другие деятели русской культуры, скажем, Александр Блок, Андрей Белый, Вахтангов и прочие. Не все, разумеется. И если наши казенные пропагандисты на протяжении десятилетий пытались выбросить из русской культуры всех, кто не сочувствовал Октябрю, то "почвенники", придерживаясь того же метода, хотят просто сменить "выбрасываемых": отлучить от русской культуры всех, кто Октябрю сочувствовал.

С точки зрения Куняева, очень подходящей для отлучения фигурой является Багрицкий.

Почему именно Багрицкий — поэт, получивший широкую известность лишь во второй половине 20-х годов и умерший, не дожив до второй половины 30-х? Почему не, скажем, вышедший из той же "одесской школы" и ныне благополучно здравствующий Валентин Катаев? Вот уж кто с его "мовизмом" цинически разрушает не столько жанровые, сколько этические принципы русской классики, вот уж кто абсолютно равнодушен к гуманизму и куда как склонен к комфорту — не только "романтическому"!

Почему не Николай Тихонов, наследовавший, конечно, не Пушкину и Лермонтову, а более Киплингу и Гумилеву? Ведь, право же, его строки: "Он расскажет своей невесте о *забавной* (!) живой игре, как громил он дома предместий с бронепоездных батарей . . ." — по своим "нормам и понятиям" куда ближе знаменитому ". . . Или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет", чем лермонтовским строкам из "Валерика" (написанного, кстати, в форме послания любимой женщине):

. . . Жалкий человек!
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но непрестанно и напрасно

Один враждует он.
Зачем?

А ведь мы в молодости с восторгом читали и Гумилева, и Тихонова, романтизировавших жестокость. Только во имя разных целей.

Значит ли это, что их обоих надо отлучить от русской поэзии?

Нет, не значит. А вот Багрицкого Куняев отлучает.

Ответ на вопрос: "Почему именно Багрицкий?" не прост и не однозначен. Когда я читаю сейчас "ТБЦ" и дохожу до строк: "И если он скажет: "Солги!" – солги, и если он скажет: "Убей!" – убей!" – мне становится страшно и стыдно. Нет, не за Багрицкого. За себя. За свое поколение, обуреваемое самыми благородными стремлениями к освобождению и братству всего человечества. Как писал гораздо позже другой поэт, Наум Коржавин, мы были уверены в том, что

Еще бы немного напора такого –
И снято проклятие с рода людского!
Последняя битва, последняя свалка,
И в ней ни врага и ни друга не жалко!

Наши мечты и стремления остались неосуществленными. Но идеал всеобщего освобождения и братства не становится от этого менее прекрасным и благородным. И прямую неправду говорит Палиевский, утверждая, что революционная литература 20-х годов (которую он именует "авангардом") не имела положительного идеала. Она имела этот идеал, высокий идеал, не только не враждебный ни классике, ни народности, но, наоборот, наследующий ей. Разумеется, этот идеал был полярно противоположен идеям современных "неославянофилов". Это был идеал интернационализма, международного братства всех людей, уничтожения всяческого угнетения – и социального, и национального. Это был идеал всеобщей открытости, свободного общения свободных, равных и гордых людей, их протянутых друг другу рук, их взаимоуважения и взаимоподдержки. Об этом мечтал еще Мицкевич и писал Пушкин: "Когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся . . ."

Я и посейчас считаю, что этот идеал благороднее и выше, чем

идеал своего кутка, своего угла, своего личного и национального благополучия (хотя и это благополучие, и любовь к своей земле, истории, культуре входят непременно составными частями в международное братство). Я и сейчас считаю мечту Маяковского — “чтобы вся на первый крик “Товарищ!” оборачивалась земля” — более высокой и прекрасной, чем все ограниченные национальные идеалы, чем противопоставление “своего” — “чужому”.

Но эта высокая цель, этот нравственный идеализм обернулись в реальной жизни нравственным релятивизмом (“... если он скажет: “Солги!” — солги . . .”, “. . . ни врага и ни друга не жалко”). А это, как мы убедились, процесс, далеко идущий и приводящий к страшным последствиям. Только убедились мы в этом спустя много десятилетий, а тогда были заморожены фанатической верой.

Думаю, что замена революционного фанатизма, революционной узости и нетерпимости узостью и фанатизмом националистическими может привести в нашей многонациональной стране — да и на всем тесном земном шарике! — к последствиям, не менее, если не более, страшным. Поэтому систематическое — открытое и подспудное — отравление людских душ шовинистическим ядом — занятие вовсе не безобидное. Тяжело думать о том, что ждет наших потомков, если они убедятся в этом только через десятилетия . . .



Исторический факт, что русская советская поэзия двадцатых годов вдохновлялась не идеей национализма, а идеями социализма и международного братства. То, что это не по душе Палиевскому, Куняеву, Кожинovu, не может служить основанием для отлучения поэзии 20-х годов от русской поэзии в целом, для противопоставления ее классике. Не только Багрицкий, но и Александр Блок, и Владимир Маяковский, и Асеев, и Сельвинский, и Луговской, и даже глубоко национальный Есенин (из которого “почвенники” ныне выхватывают, как правило, одну цитату 1914 года), — в те времена воспевали мировую революцию и героизировали, романтизировали революционное насилие, с помощью которого, казалось: переступи — и будет рай на земле.

Здесь не место обсуждать вопрос о роли насилия в истории, тем более, что жизнь показала: эта “повивальная бабка” не только способствует появлению на свет нового общества, но нередко и душит его во младенчестве. Однако, возлагать на поэтов и художников прошлого моральную ответственность за нереализован-

ность или извращенность воспетого ими идеала не только несправедливо, но и антиисторично. Крепость задним умом никогда еще не способствовала глубокому пониманию ни литературы, ни жизни. Романтизация *жестокости борьбы* и в русской, и в мировой литературе родилась не в 1917 году, и если на этом основании противопоставлять современных поэтов классике, то придется "почвенникам" отлучать от русской поэтической традиции не только Блока, написавшего: "Пальнем-ка пулей в Святую Русь, в кондзовую, в избяную, в толстозадую!", но даже Пушкина, который не только ведь "милость к падшим призывал", но и писал:

Самовластительный злодей,
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, *смерть детей*
С жестокой радостию вижу.

Да и Гоголь написал не только "Шинель", но и "Тараса Бульбу" – отнюдь не образец гуманизма.

Но Куняев инкриминирует Багрицкому не только жестокость, а упоение жестокостью, даже некоторый садизм. "Странно, – говорит он, – что человек, приводящий приговор в исполнение, испытывает при этом радость (!)".

Внимательно перечитываю то же "ТБЦ", в котором содержатся приводящие меня сегодня в содрогание строки. Но нет в стихотворении радости. Ни у автора, импровизирующего услышанный в полубреду монолог Дзержинского, ни у самого Дзержинского, трактующего жестокость революции как *вынужденную*, как *тяжесть*, а не как *радость* ("О, мать-революция, не легка трехгранная откровенность штыка"). Жестокость при этом остается жестокостью, но она воспринимается как *тяжкий долг*. Справедливо, нет ли такое восприятие, с точки зрения современников, но именно таково было поэтическое восприятие Багрицкого, как и Гоголь, скажем, воспринимал убийство Тарасом Бульбой Андрия как тяжкий долг, а не как удовольствие, испытываемое от убийства сына.

Попытка оклеветать Багрицкого откровенно предумышленна и откровенно тенденциозна. Почему именно Багрицкого?

Позволю себе ответить вопросом на вопрос: если бы комиссар продотряда в "Думе про Опанаса" звался не Иосиф Коган, а Иван Петров (что было бы вполне реалистично: Иванов среди

комиссаров гражданской войны было во всяком случае не меньше, чем Иосифов), если бы соответствующая цитата звучала так:

В хате ужинает Ваня,
Молоко хлебает . . .

что, в этом случае Куняев тоже задал бы свой сакраментальный вопрос: "А продукты откуда?" Не задал бы!

Достаточно этого вопроса, чтобы не отмыться Куняеву от обвинения в антисемитизме, сколько бы ни прикрывался он Мандельштамом. Слишком прозрачен этот вопрос и слишком понятно, зачем из всех бытующих в советской литературе комиссаров Куняеву понадобился именно Иосиф Коган, а из всех поэтов именно Багрицкий. Да и опыт у нас есть: во времена светлой памяти "космополитизма" мы достаточно часто слышали вопрос: "Чей хлеб едите?" от процветающих тогда и процветающих поныне Шолоховых, Михалковых, Лапиных. И ни разу они, сами не вырастившие ни одного хлебного колоска, не задали его себе (кстати, Шолохов сам в молодости был в продотряде, что ж вы ему не инкриминируете "Донских рассказов"?). А ведь в ресторане ЦДЛ и в закрытых распределителях не житняком и не молоком довольствуются. Чей хлеб ели Сталин и его сподвижники, разорившие крестьянство, чей хлеб и сейчас едят его воспеватели и наследники, — этого вы не спрашиваете. Ни у С.В. Смирнова, ни у Сергея Васильева, ни у тех деятелей из инстанций, которые покровительствуют вашему направлению.

А продукты все оттуда же. Впрочем, не совсем оттуда. В результате выдающихся успехов нашего сельского хозяйства упомянутые патриоты, вероятно, едят французских цыплят, болгарские помидоры и пирожные из канадской муки.



Я не признаю круговой поруки, коллективной национальной ответственности за каждого человека (особо стоит вопрос об ответственности великих наций за подавление малых, но мы его здесь обсуждать не будем), весьма напоминающей систему заложничества. Но я признаю политическую и моральную ответственность каждого человека за свои действия — и за свое бездействие тоже. И, разумеется, за действия или бездействие той организации, в которую он добровольно и сознательно вступил. Младенец, выходящий из чрева матери, не выбирает, кем ему родиться —

русским или евреем, немцем или французом. Человек, вступающий в коммунистическую, или социалистическую, или консервативную, или фашистскую партию, этот выбор делает — и должен за него отвечать.

В гражданской войне, длившейся четыре года, принимали участие все народы, населявшие Россию, — и по обе стороны фронта было совершено немало жестокостей: разница только в том, во имя чего они совершались. Сталинскую коллективизацию проводили тоже люди самых разнообразных национальностей, но не как представители данной национальности, а как члены определенной политической организации. Поэтому *как народы, как нации* ни русские, ни украинцы, ни евреи, ни другие не несут никакой ответственности ни за зверства Слещева или Шкуро, ни за погромы Махно, ни за ужасы коллективизации — и покаянный пафос Коржавина или Хейфеца мне непонятен. Сталинскую коллективизацию в числе прочих и такими же методами проводили и евреи — однако *как еврейка*, я так же не могу взять на себя ответственности за это, как любой порядочный русский человек не мог отвечать за кишиневский погром или за дело Бейлиса, хотя организовывали и проводили их русские люди.

Но как член правящей партии этой страны, я должна нести полную моральную и политическую ответственность за все прошлые и нынешние злодеяния, хотя бы я лично ни одного человека не обездолила. И за то, с чем я солидаризировалась, что одобряла, за что голосовала, и за то, что молчала тогда, когда молчать было нельзя.

Попытка подменить политическую ответственность национальной, попытка найти национального "мальчика для битья" и тем избавить от исторической ответственности подлинных виновников трагедии (независимо от их национальности, но в полной зависимости от их политического положения в обществе) чревата тяжелыми (а, быть может, и кровавыми) потрясениями. Чревата она и дальнейшей моральной деградацией и вольных и невольных участников этой очередной фальсификации истории.

Примерами такой моральной деградации изобиловала дискуссия в ЦДЛ — увы, с обеих сторон.

Поносить, скажем, убитого Сталиным Мейерхольда и раздавленный сталинским сапогом театр считается "нравственным" актом в защиту русской классики. И делают это люди (Кожин, например), которые не видели и по возрасту и видеть не могли ни

одного спектакля Мейерхольда. Но почему же не заклеить задним числом великого режиссера, чей прах давно истлел в безымянной могиле, если в нравственный обиход общества давно уже вошло обыкновение клеймить позором писателей, чьих романов мы не читали, художников, чьих картин не видели, и подсудимых, чьих показаний не слышали?

И это делается именем русской гуманной классики, русской народной традиции!

Вернемся ненадолго к Куняеву. Ненависть, которую испытывает он к Багрицкому (да полно, к Багрицкому ли лично?), побудила его прибегнуть к фальсификации открытой, которую легко заметить невооруженным глазом, побудила его даже забыть о том, что он сам, как-никак, поэт, а это, казалось бы, предполагает способность к поэтическому видению.

Вот он утверждает, что в поэме "Человек предместья" "маленький человек изображается в полном противоречии, в разрыве с традицией русской классики, с традицией Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова . . ." Но нет в поэме "Человек предместья" "маленького человека". Это все равно, что упрекать Гоголя в том, что "маленький человек" — Коробочка, скажем, или Собакевич — изображены им, Гоголем, в полном противоречии с "Шинелью". Ибо ни Собакевич — не Акакий Акакиевич, ни "человек предместья" — не Макар Девушкин, а обобщенный поэтический образ жадного и хищного собственника. Порывает ли такой образ с русской классикой? Нисколько. Вспомним "Деревню" Бунина, "Власть тьмы" Л. Толстого, "Мужиков" Чехова, "Леди Макбет . . ." Лескова, вспомним Салтыкова-Щедрина и Глеба Успенского — это что, не русская классика? И ненависть к "матерому желудочному быту" вовсе не означает ненависти к *крестьянскому быту*, к *крестьянину*. Разве Опанас в "Думе" написан с ненавистью, а не со скорбью?

Кровь — постылая обуза
Крестьянскому сыну . . .

Опанасе, наша доля
Туманом повита . . .

Ума не приложу, как можно (если не руководствоваться злобой и предвзятостью) не разглядеть в Опанасе *трагической* фигуры, как не разглядеть мужика, который "убивать не хочет", ко-

торый, как Григорий Мелехов, хочет "поддержаться за чапиги" ("не хочу махать винтовкой, хочу на работу"), а волей истории и борющихся в ней сил брошен в жернова гражданской войны и вынужден убивать и умирать.

Но Куняев не хочет видеть и не видит. Он поглощен великой целью — разоблачить "чужака", пролезшего в русскую литературу, и делает это тем же методом, каким когда-то разоблачали "врагов народа", а ныне разоблачают "отщепенцев". Никакой вымысел при этом не возбраняется. Можно, например, приписать поэту "ненависть к живой плоти жизни" и чуть ли не стремление обезлесить Россию. Это поэту, писавшему: "И пред ним, зеленый сверху, голубой и синий снизу, мир встает огромной птицей, свищет, щелкает, звенит . . ." Поэту, который, воплощаясь в своего лирического героя, сбегает из лоснящегося жиром трактира в "мир, деревьями поросший и травой обрызганный". Поэту, живописующему, как

... над травой, над речными узлами
Весна развернула зеленое знамя, —
И вот из коряг, из камней, из расщелин
Пошла в наступленье свирепая зелень . . .
.....
Первым дроздом закликают леса,
Первою щукой стреляют плеса;
И звезды над первобытною тишью
Распороты первой летучею мышью . . .

Призыв "рубить деревья вместо того, чтобы сажать их" Куняев вычитал не в циркулярах Минлеспрома, а в стихотворении Багрицкого "Папиросный коробок". В этом стихотворении поэту в сумеречном видении чудятся ожившие портреты пяти казненных декабристов, и сосны за окном предстают виселицами, а кусты смородины — шпицрутенами. И, зажигая свет, поэт обращается к маленькому сыну с заветом: "Ты начисто вырубь сосны в саду, ты выкорчуй куст смородины".

Нужно ли быть поэтом, чтобы понять столь прозрачный символ: выкорчуй, уничтожь корни насилия, рабства (кстати, Куняев не может не знать, что сын Багрицкого, Всеволод, погиб в бою с фашистами). Внезапная политическая глухота Куняева либо смешна, либо нарочита. Неужели и восклицание Есенина в "Пан-

тократоре” (“О какими, какими метлами это солнце с небес стряхнуть!”) Куняев тоже толкует буквально — как стремление лишить человечество солнечного света и тепла?



В этом комментарии отведено так много места выступлению Куняева и анализу поэзии Багрицкого не потому, что не было в ЦДЛ других заслуживающих внимания выступлений. И не потому, чтобы я считала Багрицкого — крупного советского поэта 20-х годов — не подлежащим критике (в том числе и с точки зрения моральной, о чем сказано выше), а его талантливую и человечную “Думу про Опанаса” — равной “Слову о полку Игоре”. Нет, я так не считаю. Просто Куняев наиболее откровенно отбросил литературные “тонкости”, которыми драпировались другие — и в его выступлении наиболее “грубо, зримо” проявилась тенденция воинствующего национализма, национальной обособленности — в противовес неосуществившемуся интернационалистскому идеалу 20-х годов. При этом я вовсе не исключаю, что некоторые выступавшие (и, главным образом, некоторые сочувствующие им) испытывают искреннюю боль — как от ран, нанесенных русскому национальному чувству в годы коллективизации, так и от сегодняшнего отсутствия внимательного и любовного отношения к культурному наследию.

Но эти чувства используются, эксплуатируются в своих целях как определенной группой деятелей культуры, исповедующих воспитанные у них еще Сталиным шовинистические великодержавные взгляды, так и официозными инстанциями. Группа эта, независимо от субъективных различий внутри нее, отлично знает, что опирается на поддержку сверху и что *власть в ней нуждается*. Нуждается на новом историческом этапе не в бездарных психопатах типа Шевцова, не в вульгарных черносотенцах типа Сергея Васильева, а вот в таких — образованных, интеллигентных, способных выработать новую национальную идеологию и использовать для этого определенный комплекс национальных эмоций. Выработывают они свою идеологию под прикрытием государственной оболочки, внутри казенного “марксизма”, в который, в общем, не верят уже и сами его пропагандисты. И, надо сказать, делают это гораздо успешнее, чем их примитивные предшественники, изображавшие все захваты России “добровольным присоединением” и переименовывавшие французские булки в городские.

То, что происходит сейчас, гораздо серьезнее. Феликс Кузне-

цов проболтался: дискуссия в ЦДЛ действительно представляла собой *эксперимент*, эдакое осторожное опробование: можно ли более или менее безболезненно перевести русскую национальную идею из русла оппозиционного (Солженицын, "Вече" и др.) в русло государственное, но без государственного ярлыка? По существу решили в какой-то мере учесть "Письмо вождям" Солженицына, не реализуя, конечно, его программы в целом: сохранить авторитарный образ правления, дав некоторый выход национальным русским чувствам. По всей вероятности, это представляется определенным кругам соблазнительной возможностью оттянуть зреющую справа оппозицию от диссидентства к официозу и оставить в оппозиции только "инородцев", на которых потом "всем миром" и навалиться.

Судя по пробной дискуссии в ЦДЛ, план этот не очень реалистичен. Правда, легальные неославянофилы не запрашивают так много, как Солженицын: они не требуют публичного отказа правительства от марксизма, тем более, что пропаганда подлинного марксизма в нашей стране не карается еще строже, чем пропаганда религии. Бубните себе насчет марксизма, а нам дайте свободу рук! И они эту свободу получают, отвоевывают ее шаг за шагом, сплоченно и энергично наступая на робких и запуганных сторонников марксизма и интернационализма.

И здесь хочется сказать о том, как вели себя в ЦДЛ оппоненты Палиевского и компании.

Если "почвенники" не стеснялись в средствах, если они без всякого смущения открыто клеветали на мертвых поэтов и убитых режиссеров, то их оппоненты держались, прямо скажем, очень уж застенчиво. Они, по удачному выражению Розы Люксембург, употребленному ей по другому адресу более полувека назад, не стояли на позициях марксизма, а сидели, даже лежали на них. Они все время расписывались в верности "инстанциям", оправдывались и уговаривали своих противников помириться. Они не произнесли ни одного критического слова в адрес власть имущих. И осталось от их выступлений в общем жалкое впечатление, хотя и возражали они "почвенникам" по отдельным вопросам умно и верно и мысли интересные высказывали — но все это с таким видом, как будто существуют действительно две равно спорящие стороны, а тех, кто производит ЭКСПЕРИМЕНТ, вовсе и нет . . .

Их противники вели себя иначе.

Кто выступил против цензуры? Против подавления "попы-

ток сомневаться"? Против снятия неудобных спектаклей и статей? Против "могущественных звонков в редакции"?

Представьте себе, Палиевский! Правда, он изобразил дело так, будто эти "чужаки"-авангардисты пользуются покровительством, а бедных "почвенников" зажимают. Но это — старый прием, им при реакционных режимах всегда пользуются критики справа, им еще Суворин пользовался. Правда, не следует и преувеличивать смелость Палиевского: он выступал, уверенный в своей безнаказанности, да и "свободы" требовал только для своего направления, что одновременно означает требование полностью покончить с возможностью творческой реализации других направлений. Комические противоречия между "критицизмом" Палиевского и его же стремлениями "тащить и не пущать" проявлялись в его речи неоднократно. Вот только один, уж очень показательный пример.

В многотиражке (!) Большого театра напечатана заметка некоего народного артиста, профессора (фамилию Палиевский не назвал), размышляющего о задуманной им "нетрадиционной" постановке "Русалки". И Палиевский, только что возмущавшийся "могущественными звонками в редакции", мгновенно загорается благородным гневом: "До каких пор мы будем слушать этих народных артистов, профессоров?"

А почему, собственно, и не послушать? И как запретить этому народному артисту и профессору высказываться (даже в многотиражке!), если не с помощью "могущественных звонков"? Палиевский по существу требует только одного: чтобы "звонки" были точно определенного содержания, даже чтобы они вовсе не требовались, чтобы раз навсегда было решено, что поощряется, а что запрещается. Как в благословенные сталинские времена!

Итак, критический пыл Палиевского в конце концов сводится к упомянутому мной в начале статьи требованию, которое он предъявляет властям: *покончить даже с остатками слабых ростков разномыслия, проявившегося в нашем обществе в 50-х годах.* Вот почему он так смело критикует: он выполняет "социальный заказ". Определенные круги только этого и хотят: покончить с любой самостоятельностью мысли. И Палиевские выдвигают для этого благовидный предлог: защита русской классики, защита национальных, народных традиций . . .

Конечно, в такой ситуации положение их оппонентов — будем условно называть их "либералами" — было сложнее: им-то уж

всякое лыко ставилось в строку. И все-таки стыдно за трусливое и беспринципное поведение на дискуссии людей, считающих — или, по крайней мере, называющих себя — социалистами, коммунистами, интернационалистами . . .

Так, стыдно читать в записи речи Эфроса такой пассаж: *"Я молюсь на наше время за то, что оно перестало играть такими вещами . . ."* (антисемитизмом?) А также мольбу, обращенную к тем, кто называет его работу изменой русской классике: *"Давайте относиться друг к другу с большим доверием . . ."*

Кого он молит о доверии? Министерство культуры? Откуда он взял, что наше время *"перестало играть такими вещами"*? Ведь он только что выслушал речи, о которых хорошо знает, кем они поощрены и инспирированы.

Ну, если он *"молится"* на такое время, то так ему и надо. Отсутствие собственного достоинства нельзя возместить никаким талантом.

Вот Евтушенко с призывом *"давайте не ссориться!"*, уж очень похожим на известную статью *"Правды"*, призывавшую в свое время *"Новый мир"* не ссориться с *"Октябрем"*, а Твардовского — облобызаться с Кочетовым. Твардовский, как известно, лобызаться отказался и продолжал свою линию, за что впоследствии и лишился журнала. Евтушенко, давно уже облобызавшийся с Софроновым, продолжая свою извилистую линию *"примирителя"*, с одной стороны выступает против *"квасного патриотизма"*, а с другой — лезет с поцелуями к *"почвенникам"*, которые его авансов не принимают. И в самом деле, зачем им Евтушенко, уже скомпрометировавший себя своим полуофициозным положением.

Сравните сегодняшнее поведение Евтушенко с его стихами и выступлениями 50-х — 60-х годов.

Вот Борщаговский, которого я уважительно помню по его выступлениям тех же 50 — 60-х годов. Если бы он *тогда* произнес такие слова: *"Я пришел сюда с ощущением великолепно меняющегося времени . . ."*, — его можно было бы понять. Но — сегодня? Сегодня, через десять лет после оккупации Чехословакии, во время разгула цензуры и судебных приговоров защитникам демократических свобод, сегодня, когда русская культура по произволу властей предержавших потеряла уже многих своих выдающихся деятелей, высланных или вынужденных уехать из страны? Как можно сегодня сказать, что *"повернуло на "ясно"*, что *"все хорошо"*? — Отказываюсь понимать.

Уж скорее можно понять тех ораторов (например, А. Битова и И. Роднянскую), которые в той, главной, не названной, подспудной теме дискуссии участия не приняли (Роднянская даже прямо заявила, что она "двух станом не боец. . ."). Это нельзя сказать, чтоб очень уж героически, но все же честнее.

Незаванной темой было требование узаконить национальную вражду как основу существования общества. Такое требование не только не является актом защиты русской классики, русского народа, русской культурной традиции — оно враждебно этой традиции и враждебно народу, оно нуждается в усилении государственного нажима, в еще более свирепой цензуре, в закрытых судах, в административном произволе — и над русскими, и над нерусскими, населяющими нашу страну.

И у сторонников социализма не нашлось мужества сказать, что государство, нуждающееся на 61-м году после Октябрьской революции в таком "усилении", не имеет права называть себя социалистическим.

Я даже не осуждаю "либералов" за то, что они не сказали этого теми словами, которые употребляю я: может быть, они так не думают, а, может быть, и не решаются (легко мне, пенсионеру!). Но тогда уж лучше молчать, чем заискивать.

И не может быть, чтобы они не думали о красном карандаше цензуры, который калечит их собственные произведения и произведения их коллег по перу. О тех своих товарищах, которым вообще не дают выхода к читателю (Г. Владимов — "Верный Руслан", Ю. Домбровский — "Факультет ненужных вещей", В. Корнилов, В. Войнович и многие другие). О до сих пор не напечатанной последней поэме А. Твардовского "По праву памяти". О "Реквиеме" Ахматовой и купюрах из ее "Поэмы без героя". О стихах, поэмах и романах, лежащих в столах. О запрещенных спектаклях (например, "Федор Кузькин" в Театре на Таганке). И так далее — список велик.

Впрочем, все это — не классика. Не имеет отношения к официальной теме дискуссии, символически назначенной на 21 декабря — день рождения Сталина.



При всем многовековом опыте манипуляции человеческими мозгами, особенно усовершенствованном в XX веке, насильственное возвращение к прошлым верованиям, традициям, ценностям, как показала история, невозможно. Можно вспомнить попытку

римского императора Юлиана Отступника, можно упомянуть период Реставрации Бурбонов во Франции XIX века, усилия русских славянофилов повернуть общество к допетровской старине, и прочее, и прочее. Не получается. Не получается — невзирая на то, что в каждом отринутом прошлом есть непреходящие ценности, которые, хоть оно и отринуто, входят в сокровищницу человеческого духовного, нравственного, житейского, материального опыта. Входят сами — в память, в душу, в национальный характер, в социальные обычаи. Или умирают — тоже сами. Можно *заставить*, укоренить в душе и навыках — нельзя.

По этой причине невозможен искусственный поворот современного советского общества (в духовном смысле) ни к дореволюционным традициям русской империи, ни к советским традициям двадцатых годов, ни к сталинскому конгломерату идей. Возможен только один путь духовного развития общества — к никогда не изведанной нашей страной социалистической *демократии*, необходимыми составными которой явятся терпимость, широта, национальная свобода, подлинное равноправие народов и равноправие взглядов. Такое развитие было бы развитием и всего лучшего, подлинно прекрасного, что есть во всемирно великом наследии русской классики. Любить свой народ, свою страну, знать свою историю, бережно относиться к своим культурным ценностям и традициям при уважении, бережности и интересе к новому, чужому и незнакомому, — разве это противоречит друг другу? Если человечество не пойдет по этому пути, оно духовно погибнет. А именно на этот путь толкают его националисты всех мастей.

Тоталитаризм дает такие возможности для манипуляции мозгами, каких не давал ни один строй. Можно заставить молиться на "Краткий курс", а можно — на Николу Мирликийского. Но и в том, и в другом случае в душах людей будет пустота, будут отсутствовать рожденные собственными умственными и нравственными усилиями мысли и чувства. А из пустоты не рождаются ни произведения искусства, ни моральные добродетели, ни гражданские доблести. Поэтому любой идейный союз с тоталитаризмом, пусть движимый самыми искренними стремлениями — спасти ли национальную самобытность или выторговать "улучшения" и "реформы" — приводит к усугублению пустоты и бездуховности.

Июль 1978

Георгий Владимов

ГЕНЕРАЛ И ЕГО АРМИЯ

(Главы из повести)

Прощайте, пернатые войска! . .
(В.Шекспир, "Отелло, венецианский мавр").

1

Вот он появляется из мглы дождя и проносится, лопоча по крышкам, по истерзанному асфальту — "виллис", король дорог, колесница нашей Победы. Закиданный грязью, хлопает на ветру брезент, судорожно мечутся щетки по стеклу, размазывая полупрозрачные секторы, взвихренная слякоть летит за ним, как шлейф, и оседает с шипением.

Временами и для него шоссейка становится непроезжей — из-за воронок, выбивших ее во всю ширину и налитых доверху темной жижей, — тогда он переваливает кювет наискось и жрет дорогу рыча, крутясь в разбитой колее, срывая пласты глины вместе

с травой, и, выбравшись с облегчением, опять набирает ход и бежит, бежит за горизонт — слиться с грозовой тучей. А за ним остаются мокрые прострелянные перелески, с черными сучьями и ворохами латунной листвы, обгорелые остовы машин, сваленных догнывать за обочиной, и печные трубы деревень и хуторов, испустившие последний дым два года назад.

Попадаются ему мосты — из наспех ошкуренных бревен, рядом с прежними, уронившими ржавые фермы в воду, — он бежит по этим бревнам, как по клавишам, подпрыгивая с лязгом, и еще колышется и скрипит настил, когда "виллиса" нет и следа, лишь синий его выхлоп дотаивает. Попадаются ему "пробки" — из встречных и перекрестных потоков, скопища ревущих, отчаянно сигнализирующих машин; изящные регулировщицы, с мужественно-девичьими лицами и с матерщиной на устах, расшивают эти "пробки", тревожно поглядывая на небо и каждой приближающейся машине издали грозя жезлом, — "виллису", однако ж, отыскивается проход, и потеснившиеся шоферы смотрят ему вслед с непонятной тоскою и недоумением.

Только железные дороги задерживают его, — но, обойдя уверенно колонну санитарных фургонов, расчистив себе путь к шлагбауму требовательными сигналами, он первым прыгает на переезд, едва прогрохочет хвост эшелона.

Вот скрылся он на спуске, за вершиной холма, и затих — кажется, пал он там, загнанный до издыхания, — нет, вынырнул на подъеме, песню упрямыства поет мотор, и нехотя ползет под колесо тягучая российская верста.

И в нем, под брезентом, — четверо.

2

Что была Ставка Верховного Главнокомандования? — ну, вот хоть для водителя, уже закаменевшего на своем сиденье, глядевшего на дорогу тупо и пристально, помаргивая красными веками, а временами, с настойчивостью человека давно не спавшего, пытаюсь раскурить прилипший к губе окуроч. Должно быть, в самом этом слове — "Ставка" — слышалось ему и виделось нечто устойчивое и высокое, вознесшееся над всеми московскими крышами, как сказочный островерхий терем, а у подножья терема — долгожданная стоянка, обнесенный каменной стеною

и уставленный машинами двор, наподобие постоянного, о котором он слышал что-то или читал. Туда постоянно кто-то прибывает, кого-то провожают, и течет меж шоферов непрерывающаяся беседа — не ниже тех бесед, что ведут их хозяева-генералы за высокими зашторенными окнами, в сумрачных тихих палатах, на восьмом этаже. Выше восьмого водитель Шибякин — предыдущую свою жизнь проживший на первом и единственном — не забирался воображением, и без того у начальства должна б голова кружиться, однако и ниже ему находиться не пристало — нужно — как минимум, пол-Москвы наблюдать. И Шибякин был бы жестоко разочарован, а то и не поверил бы, узнай он, что Ставка укрыла себя глубоко под землю, на станции метро "Кировская", и кабинетки ее отделены друг от друга фанерными переборками, а в вагонах разместились буфеты и раздевалки. Это было совершенно не солидно, это бы выходило поглубже гитлеровского бункера, наша Советская Ставка так располагаться не могла, поскольку германская как раз за этот "бункер" и высмеивалась. Да как-то и не внушил бы он того трепета, с каким уходили в подъезд на робких ватных ногах генералы.

Вот тут, у подножья, где поместил он себя со своим "виллисом", рассчитывал он узнать и о своей судьбе, которая могла и потечь отдельным руслом. Если хорошо растопырить уши, можно бы кое-что узнать заранее — как вызнал же он вот про этот путь еще до генеральского приказа, — от коллеги из автороты штаба. Сойдясь для долгого перекура, в ожидании конца совещания, они поговорили сперва об отвлеченном — Шибякин, помнилось, высказал предположение, что если на "виллис" поставить движок от восьмиместного "доджа", то вот это будет машина, лучше и желать нельзя; коллега против этого не возражал, но заметил, что движок, пожалуй, под "виллисов" капот не влезет, придется какой-то кожух еще наваривать, оба согласно нашли, что лучше ничего не менять. Отсюда склонились к переменам вообще и к переменам в армии — в частности, коллега себя и здесь выказал сторонником постоянства, и в этой как раз связи и намекнул Шибякину, что следует ждать больших изменений, об этом он не распространился, поскольку, мол, нету еще решения, но по тому, как он голос прижал, почувствовалось Шибякину, что решать будут — не в армии, и даже не во фронте, а так высоко, куда им обоим никогда не добраться. "А чем черт не шутит, — вдруг возразил коллега, — ты-то, может, и доберешься. Случаем, Москву увидишь — кланяйся".

Выказать удивление — какая могла быть Москва в самый разгар наступления — Шибякину, шоферу командующего, амбиция не позволила, он только кивнул согласно, считая искренне, что коллега то ли услышал звон отдаленный, то ли сам же этот звон и родил. А вот вышло — не звон, вышло и вправду — Москва. На всякий случай Шибякин тогда же начал готовиться — смонтировал и поставил наезженные покрывающие, "родные", то-есть американские, которые приберегал до Европы, приладил кронштейн, для еще одной, не лишней в дальнем пути, канистры, даже и этот брезент натянул, который обычно ни при какой погоде не брали — генерал его не любил. "Душно, — говорил, — как в собачьем ящике. И рассредоточиться не дает", — это значит, выскочить быстренько через борта при обстреле или бомбежке. Словом, все было у него готово, когда генерал и впрямь скомандовал, как всегда — неожиданно: "Запрягай, Шибякин, пообедаем — и в Москву".

Москвы Шибякин не видел ни разу, и ему и радостно было, что так внезапно сбывались давнишние, довоенные планы, и беспокойно за генерала, вдруг отбывающего в Ставку, и за себя самого — кого еще придется теперь возить? и не лучше ли на полуторку попроситься: хлопот поменьше, а шансов выжить, пожалуй, что и побольше, все же кабинка крытая, не всякий осколок пробьет. Но главное было чувство — странного облегчения, избавления, — в котором себе самому не хотелось признаться.

Он был не первым у генерала, до него двое сменилось шоферов — если считать от Воронежа, а именно оттуда и начиналась история армии, раньше же — по мнению Шибякина — ни армии не было, ни истории, а — сплошной мрак и бестолочь. Так вот, от Воронежа самого генерала даже не поцарапало, зато — как в армии говорилось — под ним убило два "виллиса", оба раза — с водителями, а один раз — еще и с адъютантом. Вот о чем и ходила стойкая легенда — что "самого" не берет, он как бы заговоренный, и это как раз и подтверждалось тем, что гибли рядом с ним, буквально в двух шагах. Правда, когда выплывали подробности, выходило все немного иначе, "виллисы" эти убило не совсем под ним. В первом случае — с прямым попаданием дальнего фугаса — генерал еще не сел в машину, он задержался на минутку на КП дивизии и вышел — уже к готовой каше. А во втором — когда подорвались на противотанковой мине — его уже не было, он вылез пройтись по дороге, поглядеть, как замаскировались перед завтрашним наступлением самоходки, а водителю велел отъехать куда-нибудь с

открытого места — тот возьми и сверни в рощицу. Между тем, дорога-то была разминирована, а рощу саперы обошли стороной, она для движения не планировалась... Но какая разница, думал Шибякин, упредил генерал свою погибель или же опоздал к ней, а в этом-то и была его заговоренность, да только на спутников его — она не распространялась, она лишь с толку сбивала их, она и была, если вдуматься, причиной их смерти. Когда-нибудь подсчитают историки, что на каждого убитого в эту войну пришлось до десяти тонн истраченного металла, Шибякин же и без их подсчетов знал, в своем сорок третьем, как трудно убить человека на фронте. Только бы первые месяца три протянуть, научиться не слушаться — ни пуль, ни осколков, а слушать себя, свой безотчетный озноб, который чем безотчетнее, тем вернее тебе нашепчет, откуда лучше бы загодя ноги унести, иной раз — из самого безопасного блиндажа, из-под семи накатов, да в какой-ни то канавке перележать, за ничтожной кочкой, — блиндаж-то и разнесет по бревнышку, а кочка-то — и схоронит! Он знал, что спасительное это чувство как бы гаснет без тренировки, если хотя б неделю не бываешь вблизи передовой, но его-то генерал передовую не то что сильно обожал, но и не брезговал ею, — так, стало быть, предшественники Шибякина не могли от нее слишком уж отвыкнуть, — значит, по своей же дурусти сгнули, себя не послушались!

С миной — ну, это просто смешно было, против нее и наставления говорили, и здравый смысл. Стал бы он, Шибякин, съезжать в эту рощицу, под сень берез? Да хрена-с-два, хоть перед каждым кустом ему воткни "Проверено, мин нет", — кто проверял, для того и нет, он свои ноги унес уже, а на твою долю, будь спокоен, одну "пэтэмку" оставил в спешке; да хоть бы он всю рощу пузом подмел, — известное ж дело, раз в год и незаряженное стреляет! Вот со снарядом было сложнее — на мину ты сам напоролся, а этот — тебя выбрал, именно тебя. Кто-то неведомый прочертил ему поднебесный путь, дуновением ветра подправил ошибку, отнес на две, на три тысячных вправо или влево, — и за те секунды, что в твоём распоряжении, как же почувствуешь, что твой единственный, родимый, судьбою назначенный, уже покинул ствол и торопится к тебе, посвистывая и пожужживая, да ты-то его свиста не услышишь, услышат другие, которые сдуру ему поклоняются. А все-таки — зачем же было ждать, не укрыться, когда что-то же задержало генерала на том КП? — да то самое, безотчетное, и задержало, вот что надо было понять! Во всех

этих рассуждениях Шибякин неизменно чувствовал превосходство над своими двумя предшественниками, — но, может, то было всего лишь извечное сомнительное превосходство живого над мертвым? — такая мысль ему тоже западала в голову. В том-то и дело, что закаяно его ощущать, это превосходство, оно-то и сбивает с толку, прогоняя спасительный озноб; наука выживания требовала — всегда смирайся, не уставай просить, чтоб тебя миновало, — тогда, быть может, и минует. А главное... главное вот что — тот же озноб ему шептал постоянно, что с этим генералом он войну не вытянет. Какие причины? — да если назвать их можно, то какая же безотчетность... Где-то это произойдет и когда-то, но произойдет непременно — вот что над ним висело, как навешение, отчего и были унылость и мрачность в таком на вид лихом, отчаянном и франтоватом парне — лишь посвященный взгляд распознал бы за такой вот лихостью, за таким вот отчаянно-бравым видом скрытое предчувствие. Где-то веревочке конец, говорил он себе, что-то долго она вьется и слишком счастливо — и уж он мечтал отделаться ранением, а после госпиталя попасть к другому генералу, не такому заговоренному.

Вот, собственно, о каких опасениях, — не о чем другом, — поведал водитель Шибякин майору Светлоокову из армейской контрразведки СМЕРШ, когда тот его позвал к себе на собеседование, или — как говорилось у него — ”кое о чем посплетничать”. ”Только вот что, — сказал он Шибякину, — в отделе у меня встречаться не след: вломится кто-нибудь с хреновиной, помешает. Лучше в другом месте. И пока — никому, ладненько? Потому что... мало ли что”. Свидание было в недалеком от штаба леске, на опушке, там они сошлись в назначенный час, майор Светлооков сел на поваленное дерево и снял фуражку, подставив осеннему солнышку крутой, выпуклый лоб, с красной полоской от околышка, — чем как бы снял и свою начальственность, расположив к откровенной беседе, — Шибякина же пригласил жестом усесться пониже, на травке.

Нехорошо, что Шибякин рассказывал о таких вещах, о каких наука выживаний требует умалчивать, но майор Светлооков его тут же понял и посочувствовал.

— Ничего, ничего, — сказал он, тряхнув энергично своими льяными прядями, закидывая их подальше назад, — это мы понимаем, всю эту мистику. Все подвержены, не ты один, командующий наш — тоже. И скажу тебе по секрету — не такой он загово-

ренный. Он про это не любит вспоминать и нашивок не носит, но было у него — по большой глупости, под Солнечногорском, в сорок первом, зимой — восемь пуль схватил в живот. А ты и не знал, вот как. И — ординарец не рассказывал, который при сем лично присутствовал. Так что — не все у вас нараспашку. Ну, наверное, не велел ему Фотий Иваныч рассказывать. И мы тоже не будем, верно? Ну, разобрались, слава Богу, что тебя точит, я думал — чего похуже... Слушай-ка, — он вдруг покосился на Шибякина подозрительно, веселым и пронизывающим взглядом, — а может, ты мне того... дуручку валяешь? Я ж тебя не про то спрашиваю.

— А про чего же?

— Ну, может быть, странности какие наблюдаешь за ним... в последнее время. А? Ничего такого?

Шибякин повел плечом, что могло означать и как "не замечал", и как "не моего ума дело", но какую-то неясную угрозу, касающуюся генерала, он уловил, и первым его внутренним движением было — отстраниться, хотя б на миг, чтоб только сообразить, что могло угрожать ему самому. Майор Светлооков смотрел на него пристально, взгляд его голубых пронзающих глаз было трудно выдержать. Казалось, он почувствовал смятение Шибякина и этим взглядом возвращал на место, которое обязан был занимать человек, находящийся в свите генерала, — место преданного слуги, верящего хозяину безгранично.

— Никаких сомнений у тебя быть не может, — сказал майор Светлооков твердо, — и ты мне их не выкладывай. Только — факты. Есть они — ты обязан выложить. Командующий — большой человек, заслуженный, нам с тобою — не чета. Тем более мы обязаны все махонькие наши силы напрячь, поддержать его, если в чем-то он пошатнулся. Может, устал он, может, какое-то душевное внимание требуется. Он ведь с просьбой не обратится, а мы не заметим, упустим момент, а потом — локти будем кушать. Мы ведь за каждого человека в армии несем ответ, а уж за командующего — что и говорить...

Кто такие были "мы", несущие ответ за каждого человека в армии, только ли они вдвоем с майором или вся армейская СМЕРШ, в глазах которой генерал "в чем-то пошатнулся", этого Шибякин не понял. Ему было неуютно и тягостно. Как будто его и отрывали от генерала и одновременно возвращали к нему, как бы заранее укоряя в предательстве, которое он и обязан был, и не должен сейчас совершить.

— Ты вот мне что скажи, — спросил майор Светлооков, — как он, по-твоему, к смерти относится?

Шибякин поднял к нему удивленный взгляд.

— Как все мы, грешные...

— Не знаешь, — сказал майор Светлооков строго. — Я вот почему такой вопрос задал. Сейчас предельно остро говорится насчет сохранения командных кадров. Специальный приказ Ставки есть, и Верховный подчеркивал неоднократно, чтоб командующие себя не подвергали опасности. Слава Богу, не сорок первый год, научились реки форсировать, личное присутствие командующего на переправе — ни к чему. Зачем ему было под обстрелом на пароме переправляться? Может, сознательно себя не бережет? С отчаяния какого-то, со страху — что не справится с операцией? А может, и того... ну, чуть тронулся, бывает это, и понятно до некоторой степени — операция оч-чень сложная!

Ни до какой степени это не было понятно Шибякину — и операция была вроде бы других не сложнее, и развивалась, на его взгляд, так даже успешно, однако майору Светлоокову могли быть на этот счет иные, высшие, не доступные его разуму соображения.

— Может быть, единичный случай? — размышлял, между тем, Светлооков. — Нет же, какая-то последовательность усматривается. Командующий армией, понимаешь, свой КП выносит поперед дивизионных, а дивизионному — что остается? Еще ближе к немцу придвинуться? А полковому — и вовсе противнику в зубы лезть? Так и будем — друг перед дружкой личную храбрость доказывать? Или, например, ездит на передовую — без охраны, без бронетранспортера, даже радиста с собой не берете — вот так на десант нарываються, на засаду, а бывает — и к немцам заскакивают. Потом иди выясняй, что не имело место предательство, а просто, по ошибке. Такие вещи надо предвидеть. И предупредить. И нам с тобой — в первую голову.

— Что же от меня зависит? — спросил Шибякин с облегчением. Предмет собеседования стал ему наконец понятней и соответствовал собственным опасениям. — Шофер же маршрут не выбирает, ему приказывают...

— Еще б ты командующему путь выбирал!.. Но знать заранее — это в твоей компетенции, верно? Говорит же тебе Фотий Иваныч: "Запрыгай, Шибякин, щас в 146-ю заскочим". Так?

Шибякин подивился осведомленности майора, но возразил:

— Не всегда. Иной раз в машину сядет и тогда путь говорит.

— Но он же не в одно место едет, верно? За день в двух или в трех хозяйствах побывает — то на пять минут заскочит, а то на час. Вот у тебя возможность — созвониться.

— С кем это... созвониться?

— Со мной, "с кем". Мы наблюдение организуем, свяжемся с тем хозяйством, куда он в данный момент направляется, чтоб выслали встречу. И понимаю, командующему иной раз хочется нахрапом подъехать, застать все как есть. Так одно другому не мешает, у нас своя задача. Мы имеем такую возможность, чтоб и комдив не знал, когда Фотий Иваныч нагрянет, а мы знать — будем.

— Я-то думал, — сказал Шибякин, — вы этих... шпионов ловите.

— Мы все делаем, — сказал майор Светлооков. — Задача у нас — не ограниченная. Главное, чтоб мы всегда и во всем в курсе были. Это ты мне обещаешь?

Шибякин снова повел плечом, выгадывая время для ответа. Как будто ничего плохого не было, если всякий раз, куда б ни направлялись они с генералом, об этом будет знать майор Светлооков. Но как-то коробило, что ведь придется ему сообщать скрытно от генерала. Он и спросил:

— Это как же — от Фотий Иваныча тайком?

— У-у! — загудел майор Светлооков насмешливо. — Кило презрения у тебя к этому слову. Именно — тайком. Зачем же командующего лишний раз беспокоить?

— Не знаю, — сказал Шибякин, — как это так можно...

На что Светлооков вздохнул долгим печальным вздохом.

— Представь себе — и я не знаю. А — нужно. А — приходится. Так что ж делать? Раньше вот в армии институт комиссаров был — куда как проще! То, что я от тебя уже целый час добиваюсь, в два счета я мог от комиссара узнать. Комиссар и контрразведчик — первые друг другу помощники. Теперь — больше доверия военачальнику, а работать стало — куда сложнее. Субординация, к члену Военного совета не подкатись, он тоже генерал, ему это звание почетней комиссарского. А мы, скромные люди, тихой сапой должны работать. А как? Вот и шевели мозгой. Да, Верховный нам осложнил задачу. Но — не снял ее!

Эта печаль и озабоченность в голосе Светлоокова, и его

откровенность, да и бремя задачи, исходившей не от кого-нибудь, а от Верховного, — все делали так, что Шибякину просто не во что было упираться.

— Звонить — ведь оно, знаете... У связиста линия почти всегда загружена. А когда и свободна — тоже так просто не соединит. Ему и сообщить же надо — куда звонишь. Потом он, глядишь, Фотий Иванычу... Нет, это...

— Что "нет"? — Майор Светлооков подвинулся к нему. И как-то он сразу повеселел от такой наивности Шибякина. — Ну, чудак же ты! Неужели так и попросишь: "Соедини-ка меня с майором Светлооковым из СМЕРШа"? Так мы все дело с тобой провалим. Проще же — по холостой части. Ну, по бабьей. Ты Калмыкову из трибунала — знаешь? Старшую машинистку.

Шибякин смутно припомнил нечто грудастое, рыхлое и — на двадцатилетний его взгляд — пожилое, с непреклонным лицом и тонкими, поджатыми губами, властно покрикивающее на двух подчиненных барышень.

— Что, не объект для страсти? — Светлооков весело хохотнул. — Ну, дело вкуса. Вообще-то на все охотники имеются. И даже — хвалят. Что поделаешь — любовь зла! К тому же у нас не женский монастырь, выбирать не приходится. Вот вступим в Европу — не в этот год, так в следующий — там такие есть монастыри — специально женские! Но личный состав — не бабы, а девки, понял? Называются — "кармелитки". Невинность — гарантируется, бери любую — не ошибешься, там порченных не держат.

Эти "кармелитки", в воображении Шибякина соотнесясь с "кармельками", выглядели куда как маняще и сладостно, что же до той, грудастой, с поджатыми губами, то как-то не представилось, чтоб он за ней приударил или хоть потрепался по телефону.

— Гут, — согласился майор Светлооков, — зер гут, избе-рем другой вариант. Как тебе — Зоя? Не та, не из трибунала, а которая в штабе телефонисткой. С кудряшками.

Вот эти пепельные кудряшки, свисавшие из-под пилотки спиральками на выпуклый, фаянсово-матовый лобик, и взгляд этот изумленный — маленьких, но таких ярких и блестящих глаз, и ловко пригнанная гимнастерка с белоснежным подворотничком, расстегнутая на одну пуговку — никогда не на две — чтоб не нарваться на замечание, — и хромовые, шитые на заказ сапожки, и маникюр на длинных и тонких пальчиках, — все это было уже поближе к делу.

— Зюечка? Так она же с этим... из оперативного. Чуть не жена ему?

— У этого "чуть" одно тайное препятствие есть — супруга законная в Барнауле, которая письмами уже политотдел бомбит. И двое отпрысков нежных. Так что Зюечка — не отпадает, советую заняться. Ну, так вот — ты к ней подкатываешься, мосты наводишь и откуда только можно — звонишь. Что тебя — связист не соединит? Шофера командующего? Дело-то — понятное. Ты только понахальнее, понял, место свое в армии надо знать. В общем, ты ей: "Трали-вали, как вы спали?" и — между прочим — так, примерно: "К сожалению, времени в обрез, через полчаса — ждите — от Иванова звякнут". Много болтают по связи, одним трепом больше.. Да даже и это не обязательно, мы с тобой шифр установим, на каждое хозяйство свой пароль. Ну, что тебе еще не ясно?

— Да как-то оно...

— Что "как-то"? Что? — вскричал Светлооков уже сердито. И Шибякину не показалось странным, что майор уже имеет право и рассердиться на него за непонятливость, и отчитать гневно, хотя при начале беседы этого права как будто не было. — Для себя я, по-твоему, стараюсь? Для сохранения жизни командующего. И для твоего, между прочим, сохранения. Или ты — тоже смерти ищешь?!

И он в сердцах взмахнул прутиком и хлестнул себя по сапогу — звук как будто ничтожный, но заставивший Шибякина внутренне сжаться и ощутить холодок в низу живота, тот унылый мучительный холодок, что возникает при свисте снаряда, покинувшего ствол, и его шлепке в болотное месиво — звуках самых первых и самых страшных, потому что и грохот лопающейся стали, и фонтанный всплеск вздымающейся земли, и треск ветвей, срезанных осколками, уже ничем тебе не грозят, уже тебя — миновало. Этот всепонимающий Светлооков разгадал то, что от Шибякина укрывалось и лишь теперь озарилось — что с генералом и впрямь происходит что-то опасное, заведомо гибельное — как для него самого, так и для окружающих его. Когда, стоя во весь рост на пароме, в заметной своей кожанке, он так картинно себя подставлял под пули с правого берега, под пули пикирующего "фоккера", это не бравада была, не "пример личной смелости", а то самое, что время от времени постигало других и что называлось: человек ищет смерти.

Совсем не в отчаянном положении, не в кольце охвата, не под дулами заградотряда, но часто в успешном наступлении, в атаке, — человек делал бессмысленное, непостижимое: бросался в рукопашную один на пятерых, или с пятнадцати шагов, поднявшись, одну за другой швырял гранаты под танк, идущий прямо на него, или подбежав к пулеметной амбразуре, лопаткой рубил прыгающий ствол, — и почти всегда погибал. Было ли то в помешательстве, в ослепляющем запале, или так изъел, источил ему душу многодневный страх, что долее было не вынести, но слышали те, кто оказывались поблизости, его крик, вмещавший и муку, и злобное торжество, и какое-то освобождение. А накануне — как припоминали или просто придумывали — бывал этот человек хмур и неразговорчив, жил как-то невпопад, озирался непонятным, в себя упрятым взглядом, точно уже провидел завтрашнее. Шибякин этих людей не мог постичь, но то, что их повлекло умереть так поспешно, было в конце концов только их дело, они за собою никого не звали, не тащили, а генерал — и звал и тащил. Что ему, спрашивается, не сиделось под семью накатами, под скорлупою бронетранспортера, который ему полагался? И не подумалось ему, что так же картинно и под те же пули подставляли себя невольно и те, кто должны были находиться при нем неотлучно. Но вот — нашелся же один, кто разгадал, разглядел зорким глазом генеральские игры со смертью и пресечет их своим вмешательством. Как ему это удастся, ну вот хотя бы — как отведет он случайный снаряд, почему-то Шибякина не озадачило, само собою разумелось, хотелось лишь всячески помочь этому озабоченному и всесильному майору, сообщить побольше о странностях генеральского поведения, чтобы учел в каких-то своих расчетах.

Светлооков молча, понимающе кивал, иной раз вздыхал или цокал языком, затем далеко отшвырнул свой прутик и передвинул на колени планшетку.

— Так, — сказал он, — ну, закруглимся, пожалуй, на этом. На-ка вот, распишись мне тут.

— О чем? — споткнулся разлетевшийся Шибякин.

— О неразглашении. Разговор у нас, как ты понимаешь, особо секретный.

— Дак... зачем? Я и так не разглашу.

— Ну, тем более — почему ж не расписаться? Ну, давай, не ломайся.

Шибякин, уже взяв карандашик, увидел, что расписаться ему следует в самом низу листка, исписанного мелким, витиеватым, но и изящным почерком, наклоненным влево.

— Тезисы, — пояснил майор. — Я тут схему набросал заранее, о чем у нас пойдет беседа. Видишь, сошлось — в общем и целом.

Шибякина это изумило, но отчасти и успокоило. В конце концов, не сообщил он этому майору, чего тот сам не предвидел. И он расписался нетвердыми пальцами.

— Ну, вот, — майор Светлооков, усмехаясь, застегнул аккуратно планшетку, откинул ее за спину и встал, — а ты, дурочка, боялась. Пригладь юбку, пошли.

Он вышагивал спереди, четко переступая налитыми, обтянутыми мягким хромом ногами, планшетка и пистолет елозили и подпрыгивали на его крутых ягодицах, и у Шибякина было то ощущение, что у девицы, возвращающейся из лесу вслед за своим остывшим уже соблазнителем, и которая тем пытается умерить уязвление души, что сопротивлялась, как могла.

— А кстати, — майор Светлооков вдруг резко оборотился, и Шибякин на него налетел, — раз уж нас все на эти темы клонит. Может, ты мне сон объяснишь? Ты как, сны отгадывать умеешь? Вот, представляешь, снится мне: прижал я хорошего бабца в подходящей обстановке, то ей да се заливаю в уши, и под юбкой шурую — вежливо, но неотвратимо, с честными намерениями. Ну, все чин-чином: сперва, конечно, ломается, потом — нате, пожалуйста. И вдруг — ты представляешь? — чувствую — мужик! Вот положение — с мужиком это я возился! Просыпаюсь в холодном поту. А? К чему бы это?

Шибякин молчал, ошарашенный, распяливая лицо глупой и жалкой улыбкой. Майор смотрел на него внимательно, с чуть заметным насмешливым прищуром. Не дождавшись ответа, он двинулся дальше, сам себе отвечал:

— А я так думаю — пора войну кончать. Скорей по домам, своих баб щупать. А то, наблюдаю, у всех уже мозга за мозгу заходит.

Там, где тропинка впадала в просеку и где могли бы их увидеть вдвоем, майор Светлооков опять остановился.

— Ну, тебе направо, мне — налево. Вот что я скажу тебе, Шибякин. Ты это, о чем мы договорились, не рассматривай, как

будто тебя употребили. У меня ведь в желающих сотрудничать недостатка нет. Но я это тебе доверил — как честь. Вижу — тебя коробит что-то. Понимаю, понимаю. Но ничего — свыкнешься. Ты все обдумай трезво, прикинь, наметь себе план, как будешь со мной работать. Не на бумаге, конечно, никаких записей, все в голове. И — приступай, приступай. Счастливо!

Приступить Шибякин, однако, — так и не успел. Не пришлось никуда ездить с генералом — все последние дни тот сидел сиднем в своем убежище, которое выбрал себе сразу же после переправы, отдельно от штаба, в сильно разбитом вокзальчике станции Спасо-Песковцы, и к нему туда подъезжали с докладами — и из штаба армии, и с левого берега, и со всего плацдарма, теперь до того разросшегося, что его все реже называли плацдармом. Шибякин же только дежурил у "виллиса", и понемногу то потерянное и гадливое ощущение, что испытал он в леске, улетучивалось, сменяясь избавительной надеждой, что надобность в нем у майора Светлоокова, может статься, уже и отпала.

Оно явилось опять, это ощущение, когда майор Светлооков, проходя к генералу по каким-то своим сверхважным делам, призадержался возле Шибякина и, ткнув его легонько пониже груди своей планшеткой, весело пожурил:

— Ты что же это мне девку изводишь? Жалуется мне на тебя.

— Какую девку?

— "Какую"! Зоечку. Охмурил — а не звонишь. Столько, говорит, я в него души вложила, а он прохиндеем оказался.

— Так ведь... об чем пока говорить?

— Вот, еще научи его, о чем с прекрасным полом говорить. Ты позвони, а там видно будет. Позвони, позвони, не стесняйся. И прошел, весело оглядываясь через плечо.

Два дня Шибякин собирался с силами и все-таки позвонил этой Зоечке, с которой до этого едва ли десятью словами перекинулся, и теперь не мог вспомнить без жгучего стыда, от которого жарко и влажно делалось лицу, свой собственный голос, то жидкий, то деревянный, свои дурацкие косноязычные упреки этой Зоечке, что вот, мол, бывают некоторые, которые своих знакомых не помнят, зазнались, а Зоечка-то и не зазналась ничуть, моментально его узнала и этого звонка очень даже ждала, и на каждый его попрек отвечала таким щебетом, что у него в ушах звенело. Едва дождавшись конца разговора, он с великой

натугой сообразил, что она ведь ему и свидание назначила, про-
сила хоть завтра улучшить минутку и заглянуть.

А назавтра и случилось вот это, все преломившее и изба-
вительное: ”Запрягай, Шибякин, пообедаем — и в Москву!”
Но еще один разговор все-таки состоялся у него с майором — по-
следним в армии, кого видел Шибякин и с кем говорил. Разо-
гревая мотор, он увидел неясное отражение в стекле и оглянул-
ся. Майор Светлооков стоял у него за спиной, чуть поодаль, и
глядел на него своим ледяным и веселым взглядом, легонько
похлопывая прутиком по сапогу.

— Вот, отбываем, — сказал Шибякин. — Выходит, служба
наша кончается...

— Знаю, знаю, — ответил майор Светлооков. — С Богом,
как говорится. А служба наша — не кончается. Она начинается,
но не кончается.

Перебирая все это в памяти, — слева от генерала, во весь
путь молчаливого и сумрачного, — Шибякин вдруг понял с упав-
шим сердцем, что ведь, наверно, тот разговор в леске имел какое-
то отношение, пусть отдаленное, к внезапному их отъезду. И, мо-
жет статься, предупреди он тогда генерала, — который ведь был
ему не чужее этого майора Светлоокова! — признайся он сразу
же, генерал бы принял какие-то свои меры, и этого отъезда, во-
все для него не радостного, могло б не быть. Но вместе со своим
признанием представлял он себе стремительный и брезгливый
взлет генеральских бровей и бьющий в лицо вопрос: ”И ты — со-
гласился?!” — ”Да ведь для нашего же сохранения...” — ”Ска-
жи лучше — для своего”. И после этого ничего, ничего бы он не
сумел объяснить генералу.

Глядя на дорогу, летящую в лобовое стекло, забрызган-
ное слякотью, он постигал то, чего еще не успел постичь по мо-
лодости: так не бывает, чтоб кто-то, вызвавшись разгрузить
часть нашей души, принять тяжесть забот на свое плечо, другую
ее часть не нагрузил бы еще тяжелее. И еще одно постигал во-
дитель Шибякин, изъездивший тьму дорог, — что коли пере-
секутся твои пути с интересами тайной службы, то как бы ни
вел ты себя, что бы ни говорил, какой бы малостью ни посту-
пился, а никогда доволен собою не останешься.

Юрий Домбровский

**ВСТУПЛЕНИЕ К РОМАНУ
"ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ"**

Везли, везли и привезли
на самый, самый край земли.
Тут ночь тиха, тут степь глуха,
здесь ни людей, ни петуха.
Здесь дни проходят без вестей —
один пустой, другой пустей,
а третий, словно черный пруд,
в котором жабы не живут.

Однажды друга принесло,
и стали вспоминать тогда мы
все приключенья этой ямы
и что когда произошло.
Когда бежал с работы Войтов,
когда пристрелен был такой-то...
Когда, с ноги стянув сапог,
солдат — дурак и недородок —
себе сбрил пулей подбородок,
а мы скребли его с досок.
Когда мы в карцере сидели

и ногти ели, песни пели
и еле-еле не сгорели:
был карцер выстроен из ели
и так горел, что доски пели!
А раскаленные метели
метлою извернули воздух
и еле-еле-еле-еле
не улетели с нами в звезды.

Когда ж все это с нами было?
В каком году, какой весной?
Когда с тобой происходило
все, происшедшее со мной?
Когда бежал с работы Войтов?
Когда расстрелян был такой-то?
Когда солдат, стянув сапог,
Мозгами ляпнул в потолок?
Когда мы в карцере сидели?
Когда поджечь его сумели?
Когда? Когда? Когда? Когда?
О, бесконечные года! —
почтовый ящик без вестей,
что с каждым утром все пустей.
О, время, скрученное в жгут!
Рассказ мой возникает тут...

Мы все лежали у стены —
бойцы неведомой войны —
и были ружья всей страны
на нас тогда наведены.
Обратно реки не текут.
Два раза люди не живут.
Но суд бывает сотни раз!
Про этот справедливый суд
и начинаю я сейчас.
Печален будет мой рассказ.
Два раза люди не живут...

АМНИСТИЯ (апокриф)

Даже в пекле надежда заводится,
если в райские вхожа края
Матерь Божия, Богородица,
Непорочная Дева моя.
Она ходит по кругу проклятому,
вся надламываясь от тягот,
и без выборов каждому пятому
ручку маленькую подает.

А под сводами черными, низкими,
Где земная кончается тварь,
потрясает пудовыми списками
ошарашенный секретарь.
И кричит он, трясаясь от бессилия,
поднимая ладони свои:
"Прочитайте вы, Дева, фамилии,
посмотрите хотя бы статьи!
Вы увидите, сколько уводится
неудобного Небу зверья.
Вы неправы, моя Богородица,
Непорочная Дева моя!"

Но идут, но идут сутки целые
в распахнувшиеся ворота
закопченные, обгорелые,
не прощающие ни черта!
Через небо, глухое и старое,
через пальмовые сады
пробегают, как волки поджарые,
их расстроенные ряды.
И глядят херувимы печальные,
золотые прищулив глаза,
как открыты им двери хрустальные
в трансцендентные небеса;

как крича, напирая и гикая,
до волос в планетарной пыли
исчезает в них скорбью великая
окаянная сволочь земли.

И глядя, как кричит, как колотится
Оголтевшее это зверье,
я кричу: "Ты права, Богородица!
Да прославится имя твое!"

Колыма, зима 1940 года



Я вновь один. И есть барон.
И есть разбросанные корки,
и крики западных ворон
вокруг раскраденной махорки,
сухая сука, две шестерки
и вор по прозвищу Чарльстон.
Вот он мне ботаает про то,
как он подпутал генерала,
как дочь несчастного бежала,
его хватая за пальто.
А он приплясывал, смеясь,
плечами поводил картинно
и говорил: "Отстань, падлина,
я честный вор, отлипни, мразь!"

Она сбежала от отца
и по банам его ловила,
она сто тысяч закосила,
и отмолила, откупила,
и отдала молодца.

Я все прослушал до конца
и призадумался уныло:

зачем любви нужна могила
и тяжесть крестного венца?
Зачем сознанию подлеца
всегда одно и то же мило:
"Она страдала и любила,
и все простила до конца!"
Как мне противен разум мой,
Мое тупое пониманье.
Он не потащится с сумой,
он не попросит подаянья.
Но как его ты ни зови,
он все пойдет своей дорогой —
сорвать с поруганной любви
венец блестящий и убогий.
О ложь! О милое ничто!
Любви прекрасное начало.
Тот край, где дочка генерала
по людным улицам бежала,
хватая вора за пальто.
Дай мне, сияя и скорбя,
моей любви шепнуть неловко:
"Я все простил, тебе, дешевка...
Мне очень трудно без тебя!"



Я не соблюл родительский обычай.
Не верил я ни в чох, ни в птичий грай.
Ушли огни, замолк их гомон птичий,
и опустел иконописный рай.
Взгляни теперь, как пристально и просто
вдали от человеческих нор и гнезд
глядят кресты таежного погоста
в глаза ничем не возмутимых звезд.
Здесь сделалась тоска земли близка мне,
здесь я увидел сквозь полярный свет,

как из земли ползут нагие камни
холодными осколками планет.
Могила неизвестного солдата!
Остановись, колени преклоня,
и вспомни этот берег ноздреватый,
зеленый снег, и на снегу — меня.
Здесь, над землей, израненной и нищей,
заснувшей в упоенье пустоты,
я обучался кротости кладбища —
всему тому, что не умеешь ты.

Зима 1941 года

КОЗЛОВ

Певец! Когда перед тобой
во мгле сокрылся мир земной.
Пушкин. "Козлову"

"Ночь весенняя дышала
светло-южной красотой,
тихо Брента протекала,
серебримая луной".
Тихо в сумрачном канале,
отражающем луну,
дева в черном покрывале
молча смотрит на волну.
Он гребет, на лодке стоя,
быстрый, яркий, как волна,
но красавца за фатою
не заметила она.
И не слышит, как в палаты
бьет напевная волна.

.....

Ночь и грязь, домов квадраты
крестит дождик полосатый.
Тучи мчатся, ночь темна.
Заиграл сверчок на печке,
ветер кинулся в окно,
оплывают тихо свечки,
утомленные давно.
Мелкий дождик ноет, нудит...
Дочка борется со сном.
Может, хватит? Может, будет?
Может, тоже отдохнем?

Но вперяя взгляд лучистый
И сжимая пальцы рук,
"Заструился пар душистый!" —
ты приказываешь вдруг.
И опять цветы, и маски,
и рапиры, и щиты,
и корсеты, и подвязки —
все взбесившиеся краски
разъяренной красоты!

Знаешь? Я с тобой согласен:
из скворешен и квартир
до нелепости ужасен
этот вылинявший мир.
Так хватай же кисти смело
и не бойся ничего —
только синим, только белым,
только красным крой его!
И тогда средь одиночки,
вдохновенной слепоты,
из тугой и жесткой почки
хлынут липкие цветы.

Ты увидишь на мгновенье
неподвижно и светло

все, что гибнущее зренье
в темноту перенесло.
То, стыдясь и хорошея,
вновь вошла в свои права
абсолютная идея,
неподвижность божества.
Светлый рай олеографий —
красота добра и зла,
все, что нам на мокрый гравий
с неба муза принесла.



Меня убить хотели эти суки,
но я принес с рабочего двора
два новых наостренных топора —
по всем законам лагерной науки.
Пришел, врубил и сел на дровосек.
Сижку, гляжу на них веселым волком:

”Ну что, прошу, хоть прямо, хоть
проселком...”

”Домбровский, — говорят, — ты ж умный
человек.

Ты здесь один, а нас тут... Посмотри же!”

”Не слышу, — говорю, — пожалуйста,
поближе!”

Не принимают, сволочи, игры.
Стоят поодаль, финками сверкая,
и знают: это смерть сидит в дверях сарая —
высокая, безмолвная, худая,
сидит и молча держит топоры.
Как вдруг отходит от толпы Чеграш,
идет и колыхается от злобы.

”Так не отдашь топор мне? не отдашь?
Ну сам возьму!” — ”Возьми!” — ”Возьму!”
— ”Попробуй!”

Он в ноги мне кидается — и тут,
мгновенно перескакивая через,
я топором валю скуластый череп —
и поминайте, как его зовут!
Его столкнул, на дровосек сел снова:
"Один дошел, теперь прошу второго!"

И вот таким я возвратился в мир,
который так причудливо раскрашен.
Гляжу на вас, на тонких женщин ваших,
на гениев в трактире, на трактир,
на молчаливое седое зло,
на мелкое добро грошовой сути,
на то, как пьют, как заседают, крутят, —
и думаю: как мне не повезло!



Какая злобная собака
ты, мой сосед — товарищ Грозь.
Я много видел, и однако
такой мне видеть не пришлось!
Всегда встревоженный и хмурый,
с тяжелой палкой у плеча,
ты молча смотришь из конуры,
весь содрогаясь и рыча.
И только кто погреет спину,
кто встанет к печке, как к стене,
ты вздыбишь черную щетину
и заколотишься в слюне.
Ты кинешь громаы и проклятья,
о доски палкою стуча —
кляня всех немцев без изъятя
и всех евреев сообща!
И снова мир стоит на месте,
но как тому не повезло,

кто, как и я, в своем аресте
лишь мировое видит зло.
Он ходит грустный и печальный
и был бы несказанно рад
узнать, что кто-то персональный
в его несчастье виноват.
Хожу, сижу, с судьбою споря,
тяну наскучившую нить,
и кроме вечных категорий
(добро и зло, огонь и море),
увы, мне некого винить!

ЭПИЛОГ К РОМАНУ "ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ"

И я умел сажать Иуду
в ему принадлежавший ад,
и я не удивлялся чуду,
которым женщину творят.
И, все сминая, всем ликуя,
я тоже был в числе таких,
что, словно раковину морскую,
тугую створку рвут у них.
И я ходил по тропкам торным,
далеким от добра и зла,
по тем местам, где кровью черной
земля заблевана была.
И я, забыв всех бед причину,
весной в багровой тесноте
нес синеусую скотину
на раззолоченном шесте.

Но счастлив я, что к изголовью
твоих, о ненависть, могил
со всепрощающей любовью
я никогда не подходил!

Что, все приняв, все понимая
и, отрешенный от всего,
я не просил у Бога рая,
помимо ада моего!

Здесь все — от строчки и до строчки —
что розно пережили мы:
я — в желтом мраке одиночки,
ты — в светлом празднестве чумы!
Был пепел жирен, дым был черен.
И дым, и дождь который год.
Но неужель из этих зерен
уже ничто не прорастет?



Увы, весь этот мир не для меня!
Неискренний, двуличный и пытливый.
Я полюбил змеиные отливы
и радуги угарного огня.
Я полюбил разъятый, словно труп,
мой страшный мир в палитре увяданья.
Но в оный час, когда из жестких губ
послышится склерозное дыханье
и будет взгляд мой искренен и туп,
но страстного исполнен ожиданья,
и я увижу смерть — совсем не ту,
что с детства мне обещана преданьем, —
а дикий свет, нагую высоту
вне образов, времен и очертаний...
И вдруг пойму, что тяжкий жребий мой —
ты, жизнь моя! — не прашуров наследство,
а только путь, осмысленно прямой,
бессмысленно прямой в пустое детство.
И затоскую, смертно трепеща, —
приди тогда из облачных расселин
и возврати мне солнце, тигра, зелень
и музу старую под щетками хвоща.

В Гершуни

НЕ СТАЛО ТОЛИ ЯКОБСОНА. . .

Общепринятое некрологическое многоточие изображает, должно быть, следы на цыпочках ушедших слов — наследили на мраморе — благоговейно, гуськом. . . Мне хочется, однако, нарушить эту склепную тишину.

В. Набоков.

Десять лет назад я жил у Якобсонов в Зюзине, скрываясь от м о е й м и л и ц и и , напуганной судебным разоблачением, поскольку была причастна к подлогам и лжесвидетельствам заводской администрации, уволившей меня с волчьим билетом в честь 50-летия Октября и по указанию КГБ. Вскрытые в судебном разбирательстве по предъявленному мной иску, эти подлоги послужили поводом для частного определения, вынесенного судом в отношении администрации завода, где я до увольнения работал начальником смены. Знала ли судья А. Никишина, что руку заводского начальства направляет охранка? Думаю, что знала. Когда я спросил М.П. Устинову — ищейку из спецчасти завода — откуда ей стало известно о моем прошлом лагерном сроке и о характере моего тогдашнего дела, о котором она просветительствовала по всему заводу, — Никишина с отчетливо-понимающей

ухмылкой остановила меня: "Снимаю вопрос!" В ее мрачно-веселой mine я прочел: "Не занимайтесь ерундой, держитесь вашей главной цели".

Судья активно и демонстративно держала мою сторону, и это не было для меня так уж неожиданно. В подготовительные месяцы она сначала отнеслась неприязненно к моей бороде, к берету и портфелю, к моей небрежной речи, полагая, что имеет дело с нудным интеллигентным сутягой, коему трудно где-либо ужиться из-за повышенных претензий к жизни и к окружающим, из-за завышенной оценки собственной персоны и заниженной оценки прочих персон — вечно правый и возмущенный Паниковский: "Жалкие, ничтожные люди!" Потом, когда она потребовала у меня трудовую книжку и просмотрела ее, я опасался нового всплеска недовольства, т.к. у меня уже кончался вкладыш: отметок о многократно менявшихся местах работы было достаточно, чтобы подтвердилась, предполагаемая мной, ее догадка о вечной неуживчивости и недовольстве всем и вся. Это чудилось во мне и другим, даже порой хорошим знакомым, и я уже был опытен в том, как иные бывают уверены, что понимают нас лучше нас самих и уверяют, например, что мы мнительны или наивны или занимаемся пустяками. . . И сами мы, конечно, не понимаем этого, не знаем, что для нас пустяки, а что важно.

Я не ухожу в сторону и не пишу воспоминаний о себе — я рассказываю о Толе, хоть и начинаю издали. Он не был из таких, которые знают лучше нас, кто мы такие и что нам следует делать, как поступать. И, кстати, не возмущался, когда опека и самонадеянное рецензирование чужой психологии затрагивали его самого. Снисходительнее Толи и Гриши Подъяпольского я не знал никого. Я еще подумал однажды, что Пушкину такая безмятежность в межчеловеческих передрагах так была бы кстати. Многие, наверное, читали о его отношениях с друзьями — с Вяземским, например, и о предостережениях последнего относительно возможности недоброго исхода их дружбы, если не обуздать раздражительного упорства, которым Пушкин встречал любой совет или заботу о его благополучии.

. . . Итак, Никишина, к моему удивлению, сказала: "У вас хорошая книжка. Не убирайте далеко, на суде может пригодиться". Верно, ей было приятно избавиться от собственной ошибки в первоначальной и приблизительной своей рецензии — психологи-

ческой и социальной. Все записи, кроме последней, говорили обо мне как о клейменном пролетарии — каменщике, слесаре и что угодно, только не Паниковский. Я замечал, что избавление от подобных заблуждений вызывает в честных людях стремление наверстать упущенное — выдать побольше теплоты, симпатий тому, кого по неведению до сих пор третировали. Положим, истинная честность не допускает заданных или интуитивных антипатий, но наш уродливый режим десятилетиями все ставил с ног на голову, переставляя плюсы и минусы, и не только понятия и представления, а и многие ощущения, даже инстинкты смещались. . . Да уж лучше, когда не безнадежно смещаются, когда люди еще способны спохватиться, смутиться, устыдиться. Иногда и в этом возвратном сознании и чувстве уходят в крайность, особенно те, которых принято называть "русскими натурами". Но Никишина не ударилась в излишества совестливости — ни внешне, ни скрыто. Это была сдержанная женщина, примерно моих лет. Ее неприязнь не выявлялась через, и столь же спокойными были ее досада при сознании ошибки и последовавшая за этим доброжелательность, которая еще не обязательно должна была означать готовность пойти наперекор КГБ. Во всяком случае, я на это не надеялся и пришел в суд с Леной К., чтобы было кому (в недобром случае) рассказать о суде и отдать Майе, Толиной жене, чемодан для П. Литвинова с пятью экземплярами его "Белой книги", только что полученными с машинки.

Больше никто из наших в суд не пришел. Был рабочий день, да и свободным всегда недосуг, а иным просто не хотелось наблюдать в течение нескольких часов мое погружение на дно — другого исхода не ожидали, и я не ожидал. Одна знакомая все упрасивала бросить эту тяжбу — каменщиком-то можно устроиться с любым волчьим билетом. Предвидя крах, я все же решил не отступать.

Дело я выиграл триумфально, один, без адвоката — только благодаря своим напряженным пятимесячным усилиям и безупречной принципиальности судьи Никишиной. Был у меня, впрочем, все эти месяцы добрый советчик и друг Илья Зильберберг. Позаботился и Григорий Померанц — помог мне поступить на работу в то самое время, когда я был не только обладателем волчьего документа, а был еще и разыскиваем милицией. Он также свел меня с одной своей знакомой, а та устроила безочередной вход в высшую юридическую консультацию профсоюзного

Олимпа, где старались меня просветить и натаскать, но все преподаваемое знал я назубок, ибо времени для юридической подготовки было в избытке.

А морально я не был подготовлен к столь громовой победе, она меня ошеломила. Возмущенные заводские вельможи с их юрисконсультом галдящим клубком вывалились из зала, забыв на столе секретаря пачку своих повесток. Было радостно не столько от победы, сколько от нового подтверждения нашей уверенности, что Россия жива, что ее и в XX веке не удалось прикончить каттам с метлами и собачьими головами.

Я не забуду Никишину, как не забуду 25 июня 1960 года на станции Торбеево ту заплаканную старую женщину на платформе у столыпинского вагона, которая, хоть и без имени, стала известна в нынешнем десятилетии во всем мире — после появления "Записок Сологодина" и последнего тома "Архипелага ГУЛag". Это были единственные виденные мной слезы, посвященные заключенным — единственные за 40 лет тюрем, но мне их хватило, чтобы Россия наполнила меня своим трагическим великодушием, уберегла от отчаяния, пустоты, слабодушия, от компромиссов и союзов с подлецами, с сильными и снисходительными врагами или двоедушными доброжелателями.

Я все ломаю голову: если б оказался я на Западе, как бы мне вспоминались эти две женщины — неизвестная по имени, увиденная через решетку вагонного окна, и Никишина, не расставшаяся с честью даже в судейском звании — при таком-то режиме! Когда я проникаюсь ощущением воображаемого расстояния между ними и мной, мне кажется, что я понимаю все, происходившее с Толей все пять лет его жизни без России.

Опять вспоминается прошлогодняя передача "Голоса Америки", 7 и 8 ноября — программа под названием "Русский Париж". Наглые, но не назвавшиеся себялюбцы заявляли, что сейчас "быть патриотом — значит уехать" (цитата точная). Этих анонимных патриотов я сравниваю сегодня с Анатолием Якобсоном и мне стыдно, что с теми парижанами я был когда-то знаком, может быть и дружен.



Итак, я жил у него в 1968 году, перед тем, как сбежать от милиции и охраны еще дальше — в тайгу, победа в суде вышла мне боком, испуганные проходимцы в форме и в штатском утروили свои усилия и плутни. (После тайги опять пришлось

мне устроиться каменщиком и быть им до ареста 1969 года).

Мы были с ним знакомы уже 12 лет, но только в месяцы совместного проживания узнал я его близко. Ссорились за 12 лет только раз. Плохо помню, как это ухитрился я с ним повздорить — другим тем более трудно такое вообразить, зная о его широко распахнутой и буйной доброте. Это был общий любимец, дитя успеха. Это был физический, интеллектуальный и духовный атлет. Среди щедро одаренных натур он был одним из немногих, замеченных мной, которые словно стыдятся своего природного богатства, будто при его распределении им досталось лишнее за счет других, недодаренных. Слово преследуемый этой безвинной виной, он пребывал в постоянной готовности искупить ее, расплачиваясь со всеми — как бы отдавая долги, тем более тяжкие, что никто их впрямую не просил, размеры их были неведомы, и этот вечный должник метался, не знал — для кого больше стараться. Он был непозволительно прост, не понимал, что рядом с ним были не только единомышленники, одержимые единой для нас страстью человеколюбия, свободолюбия, ненавистью к угнетателям и тартюфам от разных идеологий и религий. Он дорожил, как и все мы, ранними иллюзиями, но он — дольше всех, и в 36 лет, еще не имел права сказать: "Исчезли юные забавы. . ." Он упорно не замечал возле себя двоедушия и темных помыслов честолюбцев, а они эксплуатировали его душевную щедрость, безотказность, привязанность. Для них наше опасное и правое дело было раздольным полигоном, где можно дать разбег кипящим амбициям, катализируемым соблазнами легко достижимой популярности. Таким популяризм никогда не бывает в тягость! И такие вожделенно липнут к простодушным богатырям, расточающим для всех свои интеллектуальные и душевные сокровища.

У нас накопился уже нелегкий опыт, оплаченный баснословной ценой, но сколько еще до этого опыта созревает наивных или просто недалеких — их сбивает с толку риск, явность которого отвлекает простодушные и восторженные взгляды и н а к о м ы с л я щ и х от помыслов, скрытых за этим риском. Сколько их, рискованных и красовавшихся собой, свалилось с коней! Им подай опасности лишь в таком-то количестве и такого-то качества, и лишь на столько-то времени, и при непременно условии, чтобы на самом высоком зрелищном уровне — с афишей и аншлагом, да с оплатой по высшему тарифу! Им подай тюрьму на годик-другой

— только отметиться! На долгие не согласны. Только попозировать перед миром из-за решетки. А когда тюрьма отверзнет им многолетнюю зияющую перспективу, у них начинаются душевные оползни. . . А какое движение убереглось от них? Было бы хоть одно большое дело, в которое бы они не сумели втереться? Хвала еще небу, что нам их досталось немного, и эти глисты не успели пока высосать наш моральный организм.

Нарциссы, не успевшие еще расцвести, ни даже раскрыться в телепокаянном ворковании или в застенчивой публицистике "Лит. газеты", бегут заранее, ибо знают, что после телевизионных и газетных упражнений невыносимо будет одиночество, вернее — отсутствие аудитории, страшно будет ожидание внезапных встреч с недавними товарищами где-нибудь в метро, на улице, у общих знакомых, чья застенчивая и растерянная снисходительность кого-то из павших нарциссов устраивает, хоть и не в той мере, в какой устраивала восторженная аудитория, а кого-то из них такая застенчивость казнит свирепее карцеров и сульфазина.

Толя и к таким бывал снисходителен — словно совестно было ему, что он так силен, а они так слабы, и словно была в этом и его вина.

Самого-то его и тянуло в тюрьму, и не тянуло. Жена сидела, тесть сидел (Александра Петровича Улановского я свел с Исаичем, и вроде был от их знакомства толк); друзей и знакомых сидело несчетно, и Толя среди них чувствовал себя порой каким-то салажонком. Помню, сокрушался, что один с н о б все напоминал ему об этом, использовал даже свою былую отсидку как аргумент в спорах. "А мне и сказать нечего", — сетовал Толя, плохо скрывая неуверенное возмущение.

Не спешил он, однако. Не берегся, а и не спешил с самым этим желанием, и кулаки удерживал иногда чуть не зубами. Сядишься, и сколько из-за тебя хлопот, суеты, мытарств. А его застенчивость, боязнь излишка внимания к себе были какой-то патологией — и так уж должник всех на свете, а там и вовсе изойти благодарностью, преданностью, любовью к человеческому роду. Эта любовь оказалась властной вымогать у него слезы — я наблюдал их несколько раз; например, когда читал он вслух последнее слово Кости Бабицкого, комментируя, как человек, гуманист, попав в яму к зверям, пытается еще хоть в чем-то их вразумить. Затем — в Орловском центре, после 20-минутного

свидания, когда расставались. "Ну и нервы у тебя!" – прикидывался я, как мог, невозмутимым, чтобы ему было легче. Он успел объяснить, уходя, что это не "нервы", это из-за бессилия – из-за того, что он уезжает, а я остаюсь. Потом в письме все это растолковал мне подробнее и добавил, что я могу за него быть спокоен, если и он окажется взаперти. Будто б я сомневался!

Да, в эмоциональной организованности ему далеко было до Никишиной. Здоровяк, оптимист, непоседа, обладатель крепкого и стройного тела, стальных бицепсов, густой непослушной шевелюры, совершенно открытого лица, доброго, застенчивого и мужественного, временами он повергал себя в бешеную пучину чувствований, пафоса и едва справлялся со своей неистовой холерической озаренностью, и при этом – неизменно ясная голова, удивительное ораторское искусство, не нарушаемое даже взрывами эмоциональной хаотичности. У него был редчайший для нашего времени дар координации усилий души и интеллекта – свойство великих людей. Борющаяся Россия, ее Спротивление никогда не были бедны замечательными людьми. Не жалуемся и сегодня. Такие люди, как Г. Подъяпольский, А. Костерин, Ю. Галансков, В. Никольский, А. Якобсон (всех не называю, даже ушедших) – необходимый и естественный противовес тем разрушителям, коих я сравнил с глистами, а их тоже хватало в прежние времена, так что ныне они нам не больший укор, чем Майборода – декабристам, Азеф – эсерам или Иуда – всему двухтысячелетнему христианству.

Первопроходец свободы, отмеченный на титульном листе истории демократического движения в России, ушел из жизни собственной волей. В годы созидания "Путешествия. . ." он уже предвидел для себя вероятность такой участи (знал же, на какое идет он "чудище" и самым эпитафием словно объявлял ему: "Иду на вы"). Он писал: "Если добродетели твоей убежища на земле не останется, если доведенну до крайности не будет тебе покрова от угнетения, тогда вспомни, что ты человек, вспомни величество твое. . . – Умри". Радищев погиб воином в неравном бою.

Анатолий Якобсон погиб в неравном мире. Вернее, в неравном, скрытом сражении, ведущемся не по правилам – одиноким честным воином.

До выезда из России он не знал ни больших бед, ни тюрьмы (кажется, и я его этим попрекнул, как тот "сноб"), и поэтому не понимал многого, что необходимо понимать, живя во времена

воинственного ханжества, когда каждый Яго становится явным лишь тогда, когда уже поздно, когда его нож уже в твоей спине. Обмороченный неизменным успехом, он не получил необходимой закалки. Могучий боец, он не выработал в себе реакции на двоедушие мнимых друзей, не замечал его подолгу, так как знал о нем лишь теоретически. Когда же, начиная с 1973 года, ему довелось уже встречаться с двоедушим лицом к лицу, тогда было уж недосуг во всем этом разобраться — он уезжал. И уехал смятенный, незащищенный, уже познав душевный озноб. . .

”Моцартовский характер”, — сказал он как-то об одном своем друге. Я так воспринимал и самого Толю. Что делать моцартовским натурам в наше немощартовское время, обильное Собакевичами и Яго, не ведающими комплексов и нравственных передраг?



Ночь на 30-е апреля 1969 года я провел у Толи в Зюзине (опять пришлось скрываться), сидя над спидолой. Именно в эти сутки впервые дошла весть о появлении на книжных прилавках Европы и Штатов книги А. Марченко, и в этой же передаче — об угрозе нового срока для него. Толи дома не было. Утром он ворвался в квартиру, взбудоражив ее якобсоновским темпераментом. В руках книга. Раскрыл ее, прочел надпись, показал мне: ”Анатолию Александровичу Якобсону с восхищением и завистью. Корней Чуковский. 30 апреля 1969 г.” Был день его рождения. Значит, старик, с которым он тогда еще не был знаком, узнал заранее и дату, и отчество, и снарядил в это утро посыльного, молодого человека, встретившего Толю у подъезда, для вручения подарка (он отказался от приглашения зайти).

Надпись Корнея Ивановича была откликом на появившуюся тогда в самиздате Толину работу ”О романтической идеологии”. Она давно уж известна, как и ”Конец трагедии”, а о стихах Якобсона знают немногие. Его стихи высоко ценила Ахматова, и на книге своей надписала ему: ”Анатолию Якобсону за его стихи”. Сам же он, в отличие от демократических, православных и прочих нарциссов, влюбленных в каждую свою строчку, не признавал свои стихи достойными обнародования, и я не уверен

даже, что он многое записывал — продиктует, когда попросишь, пошлет раз в год в письме. Я помню много его стихов, поэму, от которой — мурашки по коже. Записано ли все это хоть вчерне?

На память я знаю только два его стихотворения. По ним и судите о нашем Толе — кто не знал его до 1973 года.

А. Якобсон

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

*Жаль мне тех, кто умирает дома,
Счастье тем, кто умирает в поле.
Д. Самойлов.*

Страх в бою извечен и понятен.
Он, как смерть, гнездится где-то рядом.
На душе он не оставит пятен,
И в крови он растворится ядом.
Головешкой в голове не тлея,
Он по жилам пробежит, как искра;
Человек дрожит, но не подлеет.
Страх немого крика, но не визга.
С ним беседовали молча. Точку
Ставили. Вставали с автоматом.
Но не сетовали шепоточком
На судьбу, и не в подушку — матом.

Смерть в бою сработает мгновенно —
Молнией, несущей ослепленье.
Или — медленные муки тлена,
Запах тлена, но не смрад растленья.
Не пугает смертная истома,
Если горшие увидел боли.
Жаль мне тех, кто умирает дома,
Счастье тем, кто погибает в поле.

АННЕ АХМАТОВОЙ

Рука всевластная Судьбы
Россию взвесила, как глыбу,
И подняла — не на дыбы,
Как Петр когда-то, а на дыбу.

И на весу гремят составы,
Несутся годы-поезда. . .
Отменная была езда!
Мгла — впереди, и бездна — под,
И от заставы до заставы
Все вывернутые суставы,
Да смертный хрип, да смертный пот.

Но извиваясь от удушья,
Вручая крестной муке плоть,
Россия, как велел Господь,
В ту пору возлюбила душу.

Самой себе могилу рыть,
Любые вынести глумленья,
Но душу — спрятать, душу — скрыть,
Спасти — живую — от растленья,
Надежный отыскать сосуд,
Чтоб в нем душа — как хлеб в котомке,
А там какой угодно суд
Пускай произнесут потомки.

В одной крови себя избыть,
В одном дыханье претвориться,
В наперснице своей судьбы,
В сестре, избраннице, царице.

Найти такую и обречь
На муки, и, святынь святей,
Собою заслонив, сберечь
От тысячи смертей.

Р. Лерт

ПОДСТУПЫ К "ЗИЯЮЩИМ ВЕРШИНАМ"

(Опыт ненаучного анализа)

Книга эта гениальна по определению. Поэтому дочитать ее до конца вряд ли возможно. Впрочем, допустим вероятностный результат: читатель книгу дочитает. Тогда перед ним неизбежно возникает характерный для описываемой ситуации математически безупречный конфликт — между логическим выводом и практическим действием.

Логический вывод из прочитанного — самоубийство. Один из условных персонажей книги — Болтун — сравнительно легко преодолевает извечную коллизию между теорией и практикой: пройдя через соответствующие бюрократические процедуры, он получает талончик на официально разрешенное и официально организуемое самоубийство. Реальный фантастический читатель (причины фантастичности читателя очевидны) такой привилегии не имеет. Он вынужден обходиться кустарными средствами. Ему приходится в порядке личной инициативы самому добывать хороший крепкий гвоздь, прочную веревку, доброкачественную электродрель; самому просверливать дырку в

железобетонной панели современной квартиры. Деревянную затычку в эту дырку ему тоже надо вбить самому — и так крепко, чтобы она не выскочила под тяжестью его тела. А раньше, чем все это добывать, надо сопоставить свой рост с высотой малогабаритной квартиры — иначе все хлопоты могут оказаться напрасными.

И, наконец, когда все будет готово, может оказаться, что все его планы (и даже не осознанные им самим зародыши планов) давно уже хранятся в досье и папках Сотрудника. Ибо, как установлено новейшими социологическими исследованиями, стукачи человека — ближние его. Согласно засекреченным данным Социолога, стукачами являются 97,3% жен интеллектуалов (с разбросом 88,1 — 109,2%), 103,16% любовниц, 99,99% ближайших друзей и т. п. Поэтому подготовленное даже самым тщательным образом самоубийство скорее всего провалится, будет рассмотрено как диверсия против существующего строя и повлечет за собой заключение добровольного самоубийцы в психиатрическую тюрьму. А к этому не стоит стремиться добровольно и, самое главное, на это не стоит затрачивать столько усилий. Тем более, что, не имея блага, вы наверняка не достанете ни хорошего гвоздя, ни хорошей веревки.

Поэтому приходится жить.

Прошу не рассматривать все написанное выше как чистую пародию или иронию. Конечно, какой-то элемент пародийного сгущения здесь присутствует, но ведь и сама книга насквозь пародийна, иронична, если слово "ирония" не слишком слабо для этой предельно горькой, перехватывающей горло сатиры. Может быть, ни Свифт, ни Салтыков-Щедрин, с которыми на суперобложке сравнивается автор, не достигали такой беспощадности взгляда, такой экспрессии отчаянья. Тут дело не в степени и характере таланта, тут дело не в том, чтобы "средствами художественной литературы заклеить..." Мне кажется, автор о художественной литературе даже и не думал, да и клеить не собирався. Писала ли Анна Франк свой дневник с целью заклеить фашизм?

Как ни странно, эта почти лишенная эмоций (в их обычном восприятии), грубая, злая, местами непечатная книга воспринимается как лирический дневник. Вся книга есть не что иное, как страстное рыдание интеллигента, вопль удушаемого мозга, насиуемой и растлеваемой мысли. Все остальное в этом вы-

мышленном обществе — отсюда. Вся античеловечность описываемого образа жизни, все гротескное изображение вымазанных красной икрой рыл, у которых "стало модно ходить с расстегнутой ширинкой", вся стабильность духовной Забегаловки и материальной Очереди, вся смесь слабого протеста и мощной трусости, честолюбия, лакейства, предательства и хищничества, вся нищета чувств и помыслов, — все это результат запрета на мысль и слово. Насильственно культивируемое безмыслие, нарастающая духовная бедность насаждаются теми, чей интеллект обратно пропорционален их рангу. Аморальность здесь — следствие уклада, в котором господствует антимысль.

Бессмысленно спорить с фантастикой. Бессмысленно требовать, чтобы сатирический гротеск был написан по канонам учебника. Бессмысленно доказывать, что в реальной жизни причины и следствия можно поменять местами. Не хочется спорить с автором по поводу того, "изм" ли то общество, которое создали в Ибанске Потребители и Потребительницы Черной и Красной Икры — и какой именно "изм". По-моему, Забегаловка — она и есть Забегаловка под вывеской любого "изма": с пропусками на власть, икру и поездки в Париж, с платьями, расписанными по марле модной портнихой — и с талончиками на самоубийство. Что же до идеологической связи между основоположниками, с одной стороны, и Троглодитами и Сотрудниками с другой, то такую связь от веку и при всех укладах провозглашали именно Троглодиты и Сотрудники. Причем тогда, когда косточки основоположников давно сгнили — и возразить они не могут. Впрочем, я, кажется, оторвалась от фантастики и коснулась недопустимой реальности.

Не в том суть, "изм" это или не "изм". Да Зиновьев, собственно, и не занимается истоками и происхождением того страшного общества, которое он гипотетически рисует. Перефразируя выражение одного из его персонажей, можно сказать, что его интересует не прошлое, а настоящее и — будущее в настоящем. Он не исторический труд пишет, а сатирическую оплеуху дает. Сатирическая же оплеуха несмываема и, несмотря на свою фантастичность, сама может войти в историю. Как, впрочем, и мрачное прогнозирование, до сих пор чаще бывшее уделом поэзии. Если обращаться не к щедро рассыпанным по "Зияющим высотам" образцам "безобразной поэзии", а к старой доброй классике, то эпиграфом к книге могло бы послу-

жить особенно часто цитируемое в современных мемуарах блоковское:

О, если б знали, дети, вы
Холод и мрак грядущих дней!



Читать эту книгу безмерно тяжело. Дышать нечем. Дух перехватывает от квинтэссенции подлости, зла, лжи, устрашающей безнравственности и тупости. Нет, читатель не смакует обработанный мастером "букет" коньяка, он, задыхаясь, с вылезающими из орбит глазами, через силу глотает спирт-сырец невероятной крепости. Неужели никакого просвета нет в этом "темном царстве"? А оторваться все-таки не можешь. И когда прочтешь, становится почему-то легче. Почему бы? Может быть потому, что отступать — некуда. Пусть зло преувеличено, пусть добро не берется в расчет, но когда зло обозначено в такой откровенной, сгущенно-грубой, осязаемой форме, невозможно отвернуться, закрыть глаза и побрызгать вокруг одеколончиком.

Одна из мыслей, пришедших мне на ум (может быть, нестати) при чтении "Зияющих высот", это мысль, брезжившая еще тогда, когда я смотрела "Дон Кихот" в постановке Г.Козинцева. Нет, не когда читала Сервантеса, а именно тогда, десятка полтора лет назад, когда смотрела фильм. Теперь эта мысль вернулась и прорисовалась еще четче.

Что такое Дон Кихот, лишенный Санчо Пансо? И что есть Санчо Пансо без Дон Кихота? В первом случае — дух, лишенный сострадательной человеческой любви, полет мысли без реальной плоти, без запаха очага, без житейских забот, свойственных большинству людей, — и потому чужой им. А что такое Санчо Пансо без Дон Кихота? Превращение человека в Рыло, оскотинивание его, стремительное его падение — сначала до морального уровня трезвого бакалавра Караско, а потом еще ниже — до животного, независимо от наличия у него бакалаврского (или кандидатского) диплома.

Человечество не может оставаться человечеством без Дон Кихотов, то есть без свободной мысли, свободного полета

фантазии, деятельной любви, деятельного благородства, без самоотверженности и чести. Но все это пропадет, сгинет, сгинет в грязи и насилии Рыл, если Дон Кихота не поддержит и не защитит Санчо — трезвый, от природы добрый, естественно честный, но хитроватый и обладающий неистощимым юмором Санчо. И уж наверняка пропадет, если сам Санчо обратится в "рыло".

Может быть, это имеет какое-то касательство к проблеме взаимоотношений интеллектуалов с народом? Обычно этой темой мало интересуются и мало возлагают на нее надежд. Ну а все-таки?..

Автор, чей труд рассматривается здесь путем ненаучного анализа, не первый, кому предъявляется счет в грубости, безнадёжности, беспросветности и так далее. И Джонатану Свифту, и нашему Михаилу Евграфовичу предъявлялись те же претензии: их произведения не переизобиловали "положительными типами". Чтобы не тревожить больше их великих теней, вспомним других писателей — рангом помене, а временем поближе. Социалиста Е. Замятина, например, с его антиутопией-предостережением "Мы". Антифашиста Дж. Оруэлла, которому принадлежит открытие феномена "двоемыслия" (ибанские "критиканы" сочли этот термин слишком почетным для себя), а также изобретение названий Министерств Правды и Любви. Плохо знакомого у нас Сашу Черного, чьи скорбные и пессимистические сатиры предварили песни А. Галича и кого вполне можно считать родоначальником "безобразной" поэзии. Правда, для научности ненаучного анализа одну оговорку придется сделать: все "злые" произведения упомянутых писателей были изданы и многократно переизданы у них на родине. Кроме Е. Замятина, А. Галича, ну и еще кой-кого. Ибанские "безобразные" поэты такой надежды не имели и в самый либеральный период истории, именуемый одними эпохой Реабилитанса, другими — эпохой Растеряанса. Заметим при этом, что, скажем, двухтомник "Сатир" Саши Черного, с достаточной злостью изобразившего не только современных ему Мыслителей, Претендентов и Супруг, но и некоторых Политических Деятелей и Сотрудников, все же вышел в Санкт-Петербурге в 1910 году, в самый разгар политической реакции. Уж подлинно, куда ихним Сотрудникам до ибанских! Мальчишки и щенки!

Я вспомнила все эти имена не для того, чтоб искать лите-

ратурных предшественников или предтеч А. Зиновьева — наоборот, чтобы показать, что никаких литературных предшественников у него, по существу, и нет. Как по переполняющему книгу содержанию, так и по форме, произведение А. Зиновьева абсолютно уникально. Все упоминавшиеся мной писатели были именно профессиональными писателями, художниками по преимуществу. Экстраполировали ли они во времени или в пространство, погружали ли политику в быт, создавали ли сюжет или искали символические образы (вроде "чижика съел!"), — они имели дело с искусством и с материалом жизни, переплавленным в искусство.

В случае А. Зиновьева мы имеем дело и с другим автором, и с другим произведением. Как я уже говорила, автор, по-моему, не претендует на художественность, на искусство. Он претендует на полуфантастический репортаж. Стараясь точно осмыслить факты, он издевательски интерпретирует их; научно (или якобы научно, кто его знает?) излагая события, он их безудержно пародирует.

А получается *искусство*. А получается *социальная фантастика*. А получается *сатира*. Как получается — тайна.

"Зияющие высоты" поначалу производят впечатление сумбура. Это ложное впечатление. (Напомню, что на некоторых читателей такое же впечатление произвел роман У. Фолкнера "Шум и ярость". Этим я вовсе не хочу поставить А. Зиновьева рядом с У. Фолкнером в "литературном преискуранте" — просто отмечаю, как обманчиво бывает первое впечатление). Книга напоминает не о беспорядке и сумбуре, который, как мы знаем из литературы, бывает в доме *после* обыска, а о целенаправленном отборе и упаковке материалов *перед* обыском. Конечно, торопятся. Конечно, в чемодан швыряют материалы, не очень заботясь о последовательности — потом разберутся. Но отбирают то, что считают нужным.

Автор точно (или почти точно) фиксирует некие факты, одновременно резкими и грубыми штрихами рисуя очень схожую карикатуру. Потом он наводит на изображение безжалостный и яркий свет мысли и показывает, как фантастично выглядит реальность в этом бесцветном и слепящем свете. Он точно (или почти точно) показывает взаимоотношения групп и личностей в рисуемом им обществе и прочерчивает линию возможного развития этих возможных взаимоотношений. Все

обнажено и высвечено под прожектором интеллекта. Это одновременно и логика, и социология, и пародия на них. Это одновременно и фотография, и сатира, и дневник, и мемуары, и фантазмагория. И псалом, и анекдот. И философствование, и насмешка над философией. И лирический плач сквозь зубы, и нарочито разнузданная, похабная "сортирность". И все это втекает друг в друга и вытекает одно из другого. Здесь разъятый, разобранный до последнего винтика и бесповоротно осужденный механизм запрещения мысли. Вот он — въяве, и въяве — спроецированное его следствие. Если правомерно такое определение, это логический гнев, гнев самой мысли против бессмыслицы. И тем сильнее очень редкие, очень короткие среди этой выверенной сатиры взрывы эмоций, проблески страстной горечи.

Я, по крайней мере, ничего подобного этой книге не читала, не знаю. Тут даже неуместно говорить о том, с чем ты в книге согласен и с чем несогласен. Все равно как спрашивать, согласен ли ты с протопопом Аввакумом или с Экклезиастом.

А, к тому же, с Зиновьевым одинаково опасно как соглашаться, так и не соглашаться. Нет, опасно не в ибанском смысле, а в чисто интеллектуальном. В отличие от Аввакума и Экклезиаста, он написал не проповедь, а книгу *насмешливую*. Он обликает, издеваясь, и смеется, презирая. Для критика всегда есть опасность попасть впросак, приняв гипертрофистическую выдумку. Причем смех здесь, заметим, не щадит никого — не только Троглодитов и Рыл, но и друзей, возлюбленных, единомышленников и сотворцов. Что-то достоверное есть, например, в разговоре Болтуна с Мазилой, когда Болтун ставит ехидный "экспериментаторский" вопрос: что было бы, если бы нас с тобой приласкали? Это вовсе не личный вопрос, это нравственная, психологическая и социальная проблема целого слоя так называемых интеллектуалов.



Я записываю свои беспорядочные мысли об этой книге после того, как ее прочла, но уже не имея ее на руках. Мне и труднее, и легче о ней писать, потому что я полностью отстранена от реальной среды, давшей автору толчок к творчеству,

послужившей исходным материалом для сатирических этюдов и полуфантастических построений. Я не знаю никаких прототипов этих абстрактных, как неоднократно подчеркивает автор, персонажей. Ни с одним из них я не заседала на кафедре, не участвовала в совещаниях, не стояла в очереди за гонораром, не ходила ни к парикмахеру, ни к портнихе, не пила чай, ни кофе, ни коньяк. Если как читатель (то есть как отстраненный зритель социальной драмы) я кое-кого из них не угадываю, я могу в одном случае расхохотаться и заплодировать, в другом — возмутиться и освистать. Но суть самой социальной драмы я вижу ясно. Я, читатель, могу расходиться (и, вероятно, расхожусь) с автором по многим вопросам. Автор, как человек, может быть в иных случаях несправедлив, зол и пристрастен. Но как сатирик он *беспощадно прав*. И главная его правда в том, что я, читатель, чужой, посторонний, с другой точки глядящий, никого в лицо не знающий, — я их узнаю. Я узнаю не отдельных людей, а *социальный слой*. Я их *знаю*. Знаю, несмотря на абстрактность, на отсутствие психологии, на скудость бытовых реалий. А разве нам нужно знать психологию "органчика"? Или господ ташкентцев? Ну пусть я видела других, не этих, но вполне готовых или потенциальных Троглодитов, и Мыслителей, и Кисов, и Сотрудников, и Супруг. Из других, правда, областей деятельности. Какая разница?

Разумеется, за более чем семидесятилетнюю жизнь я видела не только их. Я видела честных, и героических, и самоотверженных, и добрых. Но...

Но почему-то темы эти
У всех сатириков в тени
И все сатирики на свете
Лишь ловят минусы одни.

Когда действительность в изобилии поставляет материал для гневной сатиры, она появляется. Когда честным затыкают глотку, самоотверженных поливают грязью, добрых ожесточают, а героических переводят на удобрение, — она появляется. Появляется вопреки несбыточной голубой мечте всех Правителей на свете — иметь благоприличную, пристойную, ручную сатиру. Мало того — иметь гениев ручной сатиры.

Ручных сатириков сколько угодно, но гениев и талантов

среди них почему-то нет. Ни Щедрины, ни Свифты, ни наши современники — Бертольды Брехты и Курты Воннегуты — среди них не рождаются. Задача для учеников первого класса и Заместителей Второго ранга: почему?

Ах, как возмущенно и трогательно возмущаются Заместители и Заведующие всех рангов "беспросветным пессимизмом" сатириков, их грубостью и неприличием, отсутствием у них "светлых", "положительных" образцов!

Так поговорим о пессимизме и оптимизме.

"Беспощадный пессимизм", который ставят в вину сатирикам, ни для одного человека на свете никогда не был и не может быть целью и смыслом жизни. Человеку свойственно стремиться к счастью ("Я в этот мир явился голый и шел за радостью, как все..."). Между нами говоря, я подозреваю, что и самому Шопенгауэру иногда хотелось улыбаться. Конечно, и пессимизм, и оптимизм, как все на свете, может быть модой. Но *живое* оптимистическое мироощущение и мировоззрение вырастают только на материале *живой* жизни. Люди радуются, когда им хорошо, и грустят, когда им плохо. Это так просто.

Однако, существует еще такое понятие, как казенный оптимизм (о казенном пессимизме, кажется, никто никогда и не слышал). "Оптимизм" такого образца производится искусственно — как та синтетическая икра, о которой упоминает А. Зиновьев, но распространяется гораздо шире, хотя усваивается не лучше. Расфасованным и упакованным в стандартную идеологическую тару суррогатом оптимизма снабжаются обычно широкие массы — наряду с отштампованными пластмассовыми репродукциями некогда живых идеалов. Это — ширпотреб. Хозяева жизни не нуждаются для себя ни в том, ни в другом.

Но люди не могут постоянно питаться синтетическими продуктами, дышать искусственным воздухом и выдавливать из себя улыбку, когда им хочется плакать. Крушение идеалов — почва, на которой живой оптимизм не произрастает. Именно потребность в глотке естественного воздуха, в свободном движении мысли, в открытом излиянии чувств обращает мыслящих и чувствующих людей к пессимизму там, где оптимизм навязывают им силой. Ибо казенный оптимизм не имеет никакого отношения к реальным идеям, мыслям, страданиям и даже радостям людей.

Пессимизм — естественное органическое следствие круше-

ния идеалов. На заре моей молодости люди бесстрашно отдавали за эти идеалы жизнь. Были ли они, те идеи и идеалы, живыми, героическими и прекрасными? Да, были. И рождали живой оптимизм. Но их больше нет. Они не изменились, как полагают одни, не родились неизменными и античеловечными, как утверждают другие, не остались святыми и непорочными, как думают третьи. Их просто нет, не существует вживе. "Умер Великий Пан". То, что не вдохновляет больше на героизм и самоотверженность, не внушает надежд, не рождает чувства счастья, — нельзя считать живым. Идеи и идеалы смелых, честных и человеческих людей, именовавшихся революционерами и восставших против грязи, злобы и подлости старого мира, погибли вместе с этими людьми (а, может быть, и раньше их). Это не значит, что последующие поколения имеют моральное право устраивать свалку на их могилах. Старый мир был достаточно подл, уродлив и бесчеловечен (читай того же Салтыкова-Щедрина) — и его антагонисты были правы. Так допустимо ли теперь — и теоретически, и морально — взваливать на противников этого мира ответственность за то, что узурпаторы их имени вырастили на его обломках еще более ядовитые грибы?

Но это опять же история...

Многие мыслители — в том числе и революционеры — предостерегали от *создания* "нового" деспотизма. Не послушали. Многие художники — в том числе и революционные — предупреждали об опасностях *укоренения* такого деспотического общества. Не послушали. Теперь художник — философ и математик — сигнализирует об угрозе *развития* такого общества. Он молод относительно. Во всяком случае он пришел в этот мир как мыслящее существо уже после того, как мир стал тем, что он есть. Этот наличный мир и его тенденции он и исследует, оставляя за порогом исследования самую историю превращения. Понять его можно. Он — не историк. Теоретически автор сатиры знает, конечно, что под видимым "бурьяном зла" погребены не только трупы миллионов людей, но и трупы великих идей. Но гласное зло для него — тот бурьян, что наступает ныне, что грозит затопить и задушить все живое в мире. Охрипнув, автор кричит и предупреждает. Тут его сатирический пессимизм более чем уместен. Он вливает глоток спирта-сырца в рот замерзающему.

Услышат ли? Те, кто слышит и мыслит, не так уж сильны. Те, кто обладает силой, — не умеют ни слушать, ни мыслить. И они не замерзают — они предпочитают французский коньяк.

Человек — затоптанный и растоптанный, идеал — загаженный и окровавленный — достаточное основание для пессимизма. И потому я, с юности воспитанная "в духе оптимизма", сегодня понимаю А. Зиновьева. Не обязательно соглашаюсь, но — *понимаю*. Это много — понимать друг друга. Мне доступен его пессимизм, хотя мой — несколько иного склада. В чем-то безнадежнее: я не верю не только в мудрость выдающихся Заведующих, но и в гуманизм выдающихся Президентов — и в человечность милосердных Банкиров я не верю тоже. В чем-то светлее: я все же продолжаю верить в человеческое сердце, в человеческую солидарность, в благородных Дон Кихотов и их верных оруженосцев.

Их мало. Их очень мало. Но я надеюсь (надежда ведь неистребима), что их будет рождаться все больше и они помогут человечеству выбраться из той грязной ямы, откуда я пока не нахожу выхода.

Так, может быть, именно пессимисты оздоравливают и приготавливают для Дон Кихотов нашу планету, на которой иначе можно было бы задохнуться от сладкой вони казенного оптимизма?

И потому я приветствую появление книги А. Зиновьева. Она во всяком случае учит полузабытому искусству: мыслить и — не соглашаться.



В. Гершуни

СЛОВЯЗЬ

Эти полурассказы-полураешники целиком смонтированы из пословиц, поговорок, прибауток, присловий, чистоговорок, речений, загадок из кладовой Владимира Даля, которую великий словопроходец наполнял более полувека. Тут ни единого слова не добавлено "для связки" — ни от автора-монтажника, ни из других собраний пословиц и поговорок. Отдав три четверти жизни собиранию и исследованию фольклора и слов живой русской речи, составлению "Толкового словаря" и сборника "Пословицы русского народа", Даль оставил векам самые выверенные тексты, представленные часто в нескольких вариантах, и дополнять или перемещивать их с другими, не далевскими, было бы нестоящим делом.

Сказ и раешник — два исходные жанра для этих опытов, названных "словазью", — самые близкие к стихии народного творчества, фантазии, лирики и юмора, которая веками отработывала разнообразные малые фольклорные формы — пословицы, присказки, потешки и пр. Кстати, именно Даль явился основоположником сказа как литературного жанра в чистом его виде. "Русские сказки Казака Луганского" появились почти в одно время с гоголевскими "Вечерами на хуторе. . .", которые не были сказами в полном смысле.

Специалисты, возможно, определяют основное жанровое качество этих опытов и место их рядом с раешником и сказом — разумеется, если обратят на них внимание, на что я лишь надеюсь,

ибо чувствую, что мои двухлетние усилия не дали того, чего я от них ожидал, и несую читателю свои монтажи без излишней уверенности. Но какой бы ни представлялась их жанровая принадлежность, и независимо от признания этой формы полужанром ли, поджанром, около-жанром — название я решил ей дать.

Словязь — хлебниковское слово, хотя у Велимира я его не встретил, а произвел от его слова "славязь" (славянство).

Если не удалось мне в я з а н и е, то пусть это будет в я з к а в простейшем значении — связывание. Во всех пословицах, прибаутках и пр. я не изменил и не переставил ни единой буквы, связывал же их с помощью пунктуации, при этом иногда соединял их в большие предложения, но ни одной не дробил.

О чувстве меры в любой работе и в любом творчестве излишне повторяться. Без него немислимы и вязание, плетение, вязка. "Без меры и лаптя не сплетешь". Чтобы понять, насколько это чувство споспешествовало моей рискованной работе или насколько оно мне изменяло, я решился на встречу с читателями.

У ЗАВТРА НЕТ КОНЦА

На то лето, не на это, а на третий год, когда черт умрет, когда на море камень всплывет, да камень травой прорастет, а на траве цветы расцветут; когда солнышко взойдет от заката, когда на сосне груши будут, когда волк будет овцой, медведь стадоводником, свинья огородником; когда песок по камню взойдет, когда черт помрет — а он еще и не хворал; когда восток с западом сойдется — после дождика, в четверг — что-нибудь, да будет!

ГОЛОВА ВСЕМУ НАЧАЛО

І. Нашего бога дурень

Нашему болвану ни в чем нет талану — под носом вошло, а в голове и не посеяно, с осину вырос, а ума не вынес. Ума — два гумна, да баня без верху: на руке пальцев не сочтет, на трех свиной корму не разделит. Разошелся ум по закоулкам, а в середине ничего не осталось.

Глупее надолбы приворотной. На дороге стоит, а дороги

спрашивает. Стоит у воды, а пить просит: "Эй, человек, сведи меня на водопой!" Просится на берег, а лезет в воду, решетом в воде звезд ловит.

Детина добр, купил бы ему гроб! Ни богу свеча, ни черту коцера. Ни в рай, ни в муку, ни на среднюю руку. За него грош дать — недодать, а два дать — передать.

Глуп по самый пуп, а что выше, то пуще — ни глаз под бровями, ни ушей за висками, ни языка за щеками. Ни ухом, ни рылом, ни очами, ни речами. В избе ходит, а дверей не найдет, вертится, как на шиле, как сорока на колу; мечется, как вор на ярмарке. Суетлив больно — обувшись парится: одна нога в лапте, другая в сапоге (комар парню ногу отдал). Много поту, да мало проку. Из бани идет — чешется, а из кабака — не шатается: дурацкую голову и хмель не берет. Топор обувает, топорищем подпоясывается; все кузни исходил, а некован воротился. Пошел завтра, пришел вчера — что ни путь, то крюк, что ни шаг, то и спотычка: увидел, что на утках озеро плавает, на море овин горит, по небу медведь летит, на дубу свинья гнездо свила, а овца пришла — яйцо снесла.

Целых два чина — дурак да дурачина. Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса. Он из таких, что по тринадцати на дюжину кладут, да и то не берут — всех в один кулак сожми, так только то и выжмешь, что съедено. С него, что с козла — ни шерсти, ни молока. Ни в пир, ни в мир, ни в люди. Ни в хомут, ни на козлы. С ним водиться, что в крапиву садиться. Что он дурак, так это и мать его родная скажет: "Не дурак, а родом так. Детки — радость, детки ж и горе — он в щенках заморен. Он прибит на цвету — личико беленько, да ума маленько. Холостой, что бешеный: одному спать — и одеяльце не тепло. Невеста без места, жених без ума — без жены, как без шапки. Свинья ваша пестрая — сыну моему мать крестная; сын мой женится, так отпустите ее в свахи!"

Сосватавшись, да — хороша ль невеста? Такая красавица, что в окно глянет — конь прынет, на двор выйдет — три дня собаки лают. На харе хоть топоры точи. Курица ряба, да перешиблена нога. Страшно видится, стерпится — слюбится; что пестро, то дураку и красно. Не птицу сватать, а девицу — красота приглядится, а щи не прихлебаются. Для щей люди женятся, для мяса замуж идут. Чего там калякать? Давай свадьбу стряпать!

По рукам, да и в баню. Худой поп свенчает — и хорошему не развенчать! Спесивый не взглянет, слепой не разглядит, а умный не осудит.



Такой дурак, что только уши пришить: забыл, что женился, да и пошел спать на сеник.

Пьян проспится, а дурак никогда. Ходит, как пальцы растерявши — вчерашнего дня ищет, а он ушел. Щупает петуха — не будет ли яйца. Гоняется за мухой с обухом, перегоняет с места на место, как леший зверя. На одном dniu семь пятниц, хлопот полон рот, как слепень снует, с сука на сук, а все недосуг. Бился, колотился, мясоед прошел, а все не женился — идет мимо кровати спать на полати.

Стыдливому удачи не видать. День мечется, другой бесится, третий на карачках лазит — им хоть полы мой да пороги подтирай. . . Отбилась от рук жена, так, что твой сатана. Меж бабьим "да" и "нет" не проденешь иголки — железо уваришь, а злой жены не уговоришь: кого боюсь, поскорее ложусь, кого не боюсь — поворачиваюсь. Бабе хоть кол на голове теши, баба — что жаба. Бабе спустишь — сам баба будешь.

— Улита, знать ты не бита? Тут нечего вертеться — либо этак, либо так. Знай приголубливай да поддакивай.

— Вот тебе помои — умойся, вот тебе онучи — утрися, вот тебе лопата — помолися, вот тебе кирпич — подавися!

Баба — что глиняный горшок: вынь из печи, он пуще шипит. Еще тот не родился, кто бы бабий норы узнал. Нашел дурень своего поля ягодку. Черт на дьяволе женился — помутилась вода с песком!

Так женился, что и сам себе подивился: "Кумишься, сватаешься, а проспихься — спохватишься. Живешь — не с кем покалякать, помрешь — некому поплакать".

Женился, как на льду обломился.

Беда на беду наскочила: дожили до мату — ни хлеба про голод, ни дров про хату. Сиди на печи да гложи кирпичи — дожили, что ножки съежили!

— Не отрубить дубка, не насадя пупка. Покров, натоги нашу хату без дров!

— А где тот хлеб, что вчера съели?

— Вспомнила баба свой девишник!

— Еще и место не простыло.

— Только след простыл!

Коротеньки ножки у хлеба, а как уйдет — не догонишь. Ни печеного, ни сеченого, ни вареного, ни толченого — свищи в кулак! Чего ни хватись, за всем в мир волокись — голод и волка из лесу гонит.

Нужда хитрее мудреца: с бороной по воду поехал, а цепом рыбу удить. Запряг прямо, да поехал криво, пригнала нужда к поганой луже. Прорубь высокая, так коням ноги подрубил. Хотел ехать дале, да кони стали — "тпру" не едет, "ну" не везет. Умел ошибиться, умеи и поправиться: не торопись ехать, торопись кормить — не лошадь, а корм везет. "Сена нет, так и солома съедома". Пошел по солому, принес мякины. "Ну! Ну!" — а погонять нечего. Поехал на своих вороних — две ляжки в пристяжке, а сам в корню. Хоть криво впряг, да поехал так.

"Есть на чем ехать, да нечего есть". Сам едет, сам и погоняет:

— Чок, чок, посвистывай в кулачок! Не сам еду, нужда едет!

Есть не сыщем, так посвищем!

Ехал летником, а своротил на зимник, в лесу дров не нашел.

Мерзлой роже да метель в глаза.

"Худо лето, когда сена нету". Снял голову с плеч да положил за пазуху — так и цела будет.

Пошел на собаке сено косить.



Помяни, Господи, царя Соломона и всю мудрость его!

II. Ум хорошо, а два лучше того.

Два дурака сошлись в одни ворота — брат брату сосед.

Дурак на дурака нашел и вышло два.

Дурак с дураком сходилися, друг на друга дивилися — два дурака, да у каждого по два кулака. Брат на брата — пуще супостата.

Отец сына умнее — радость, а брат брата — зависть. Поглядел дурак на дурака, да и плюнул: эка-де невидаль — и так дурак, и сяк дурак, и этак не так, и всячески дурак! Гусиный разум да свиное хрюкальце. По образу — как я, а по уму свинья! Русский чело-

век без родни не живет — на его бабушке сарафан горел, а мой де-душка пришел да руки погрел. Сидор Карпу родной терех — на одной онучке сушены. . . Брат он мой, а ум у него не свой — спереди дурак, да и сзади так. Умом больно обносился, не заплатана башка. Глаза, что плоски, а не видят ни крошки — два фонаря на пустой каланче. Ртом глядит, а ничего не слышит — рот до ушей, хоть лягушку пришей. Чужой рот — не огород, не притворишь. . . Разговорчив, как устрица, беседлив, как тюлень.

— Не разевай рта: ворона влетит и карета четверней въедет. Прожуй слово да и молви!

Доброе молчание чем не ответ! У него рожа по шестую пуговицу вытянулась — не доищется слова.

— Да выплюнь не жевамши! Будь хоть дураком, да болтай языком!

Ухмыляется, что кобыла на овес глядя:

— Что выплюнешь, того не схватишь.

Говорит, что родит. Слово вымолвит, ровно жвачку пережует:

— Молчок — сто рублей.

Не стыдно молчать, коли нечего сказать — молчанкой никого не обидишь.

— Молчок — золотое словечко.

Слово по слову, что на лопате подает.

— Не стать говорить, так и Бог не услышит. Дитя не заплачет — мать не знает.

Говорит, как клещами на лошадь хомут тащит, слово за слово цепляется:

— И глух, и нем — греха не вем. За молчание гостинцы дают.

— Молчан-собака не слуга во дворе. Води ушами, ворочай глазами, верти языком, что корова хвостом!

— Языком и лаптя не сплетешь.

Складно бает, да дела не знает.

— Красно поле пшеном, а беседа умом. Короткие речи и слушать неча. Сядем рядком да перетолкуем ладком, в чужой беседе всяк ума купит.

Он на вей-ветер слова не молвит — говорит, что клеит:

— Наш Фома не купит ума, своего продаст.

— Сказывай тому, кто не знает Фому, а я родной брат ему!

— Родной, да матери не одной!

— В глупом сыне и отец не волен. Отчего ты так глуп?

— У нас вода такая.

— Толки воду, чтоб пыль шла!

— Воду варить — вода и будет, воду толочь — вода и будет.

Замолчал, будто кислым залило. С дураком ни поплакать, ни посмеяться. Топчется на одном месте, как тетерев на току. . . У худой головы не благо и ногам. Каких дураков нет: и после бани чешутся!

— Не поминай бани — есть веники и про тебя!

— Умный поп тебя крестил, да напрасно не утопил! Пора бы за ум хватиться.

— Попа да дурака в передний угол сажают. Много ума — много греха, а на дурне не взыщут.

И глупый ино молвит слово в лад. Малому да глупому все с рук сходит — с умом в ответе, а на дураке нечего взять.

— Без ума житье — рай: сиди высоко да плюй далеко!

— Не долго думал, да ладно молвил — спроста, что с большого ума!

(Дурак дурака и хвалит, дурак дураком и тешится).

— Что больше думать, то хуже.

— Долго думать — тому же быть. Думает плотник с топором да писака с пером.

— Раздумье на грех наводит.

— От думы голова трещит.

— Думает индейский петух. Думал много, да вошь и поймал.

(Дурак дураку и потакает. Рад дурак своей масти).

— Хорошую речь хорошо и слушать. Отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим? Умный бы ты был человек, кабы не дурак — мужик простой, как кисель густой.

— И то зубы, что кисель едят! Ежеден не будешь умен — ден-то много, а ум-эт один. С умом жить — мучиться, а без ума жить — тешиться. Где умному горе, там глупому веселье.

— Дураку что глупо, то и любо. Дураку и Бог простит. (Рад дурак, что нашел глупей себя).

— Про всяк час ума не напасешься.

— На час ума не станет, дак и навек в дураках. Голова — всему начало.

— Не всяк умен, кто с головой. И глупый умного одурачит — на всякого мудреца довольно простоты. Всяк Аксен про себя умен! Дурь на дурь не приходится. Держи на уме, коли есть на чем!

Дураку только волю дай — скажется. Попусти поводья — он и удила закусил.

— Я тебе улью щей на ложку! За глупость Бог простит, а за дурасть бьют.

— Не вольна в дураке и дубинка. Мне все трын-трава, все щавель-дудки!

— Дурь-то из тебя повыколотят! Дурака и в алтаре бьют — пометь на ноге!

— Дурак не глядит и на кулак. Живи всяк своим умом, у каждого свой царь в голове! Заруби деревом на железе!

(Дурак дурака учит, а оба глаза пучат).

— Лучше не бай, глазами мигай, будто смыслишь. Аль глаза отсидел?

— Указчику — чирей за щеку!

Дай волю, а он две возьмет. Пустил козла в огород.

— У дурака дурацкая и речь. Молчи, коли Бог убил! Когда дурак умен бывает? Когда молчит.

— Не учи безногого хромать! Чужой роток — не свой хлевок, не затворишь.

— С дураком говорить, что в стену горох лепить. Я тебе дам ума!

Жаль кулака, а ударить дурака.

— На всех дураков не напасешься кулаков!

(Связался дурак с дураком — не разрубишь их и топором).

— Дурака учить, что на воде писать.

— Поучи щуку плавать! Слепой зрячего не водит! Знай свою руку! Что бельма уставил? Глядит, будто глотком подавился! Али ты слова не доищешься? Смотрит, как баран в гумно! Удалой долго не думает, у меня рука легка — была бы шея крепка! Вот тебе раз!.. Другой бабушка даст. . . А вот дурню на орехи! . .

— Не бей по роже — себе дороже! Не хватай за бороду, сорвешься — убьешься! . . Языком и щелкай, и шипи, а руку за пазухой держи. . .

— Я тебя заставлю рылом хрен копать!

— Когда Бог ума не дал, так руками нечего рассуждать. . .

.....
От дурака хоть полу отрежь, да уйди. Ни мертвеца рассмешить, ни дурака научить. Много на свете дураков — всех не перечесть, не токма что не переучишь. Море песком не засыпешь.

Матушка-рожь, за что кормишь дураков!



СВЕРЛИБР

Из-за разных житейских обстоятельств, которые наско-ро не объяснишь, детство мое затянулось, уйдя на многие годы за оптимальные психологические рубежи, не изникло ни под давлением невзгод военного и послевоенного времени, ни в сталинских спецлагерях. Эти особенности психики упряма, не желающего считаться с собственной зрелостью, послужили аргументами для офицеров спецпсихиатрии (Лунц и пр.) в 1970 году, когда они вынесли мне пошлый медицинский приговор. Его отменил Гарри Лоубер в нынешнем 1978 году. Но пикадоры со шприцами, стойкие преемники медицинского Ежова, удовольствовались заключением о нестойкой ремиссии: они не намерены убрать в ножны свои аминазиновые шпаги! (Кстати, в 1950 году в том же институте им. Сербского меня признали здоровым — Лунц был еще ежиком. С мягкими еще и г о л о ч к а м и . И еще больше съеживался рядом с таким *психиархом*, как профессор Введенский — мой тогдашний эксперт).

Детская склонность придумывать, переделывать, комбинировать и пародировать слова не иссякала особенно долго. Что мне запомнилось из выдумок разных лет? Прежде всего, конечно, то, что однажды понравилось многим или даже немногим. Летом 1950 года в старинной омской тюрьме, в подвальной

камере, во время одного из вечеров чтения и импровизации, о которых рассказано в "Архипелаге ГУЛаг" и в "Записках Сологдина", я спародировал официальное *хамжеское* наименование наших концлагерей, заменив в нем три буквы, и подлинное определение этого классического творения марксистско-ленинской мысли, полученное взамен фарисейского, Исаич принял через много лет как заглавие третьей части "Архипелага". В лагере я придумал для *гениального* вождя титул **к а н н и б а л и с с и м у с а** (см. в книге Анатолия Якобсона "Конец трагедии").

Около полусотни слов я опубликовал в последние годы на 16-й странице "Лит. газеты" (рубрика "Ашипки") и в других советских, самиздатских и зарубежных изданиях (лживотрепещущий, делохранилитель, бравописание, наоборотметр, мизантропики, дармалей, стукелажник, универсамка, архимедный лоб и др.) — и отдельными подборками, и внутри текстов, например, в очерках и статьях о В. Дале и "Толковом словаре".

Богатая этимология, тонкая, многообразная и многооттеночная семантика русского слова и его гибкая морфология делают его доступным для виртуознейших словотворческих экспериментов, особенно успешных в стихии фольклора включая "народную этимологию". У Даля встречается слово *ляхолетье*, оставшееся от панщины или от смутного времени. Из примечания Даля к пословице "Вражье-то лепко, а божье-то крепко" явствует, что *лепко* (о силе соблазна: вражье — бесовское) образовано слиянием "лепо" и "липко". В результате сознательного или бессознательного пародирования слов в народной речи в разное время появлялись такие, например, блестящие пародизмы, как *ветропрах*, *вошпиталь*, *гульвар*, *мараль*, *прижим* (режим), *вьюноша*. К ним близки лесковские *мелкоскоп*, *водоглаз*, *нимфозория*, *симфон* и др., многие хлебниковские шедевры, бесчисленные детские выдумки: *тепметр*, *боль-машина*, *мазелин*, *улицционер*, *кустыня*, *вертилятор*, *отмухиваться* . . .

Листая знаменитую книгу Корнея Чуковского, мы убеждаемся, что находки словосочинителей в возрасте от двух до пяти стоят наравне с изобретениями народных словоделов. Не ведая того, дети воскрешают архаизмы (льзя, лепо, вежа, чайнно), воссоздают диалектизмы (людь, обутки, одетки). Некоторые выдумки малышей вошли в широкое употребление с юмористи-

ческими правами: *сердитки, стрекозел*, — а то и на полном серьезе: *распакетить, лопатить*. Иные слова оказываются настолько "природны" языку, что входят в него, не привлекая внимания, как бы без стука, не замеченные даже их творцами! Так появилось слово *гладкопись* — в книге Л. Чуковской "В лаборатории редактора". Писательница не заметила у себя нового слова. Потом ее известили, что слово "гладкопись" взято на учет как неологизм.

После Карамзина даже искуснейшие словоизобретатели весьма редко создавали неологизмы, окказионализмы и иные новообразования, способные вжиться в литературный или разговорный язык. Но их словоизобретения сверкают в ткани произведений, как самоцветы в шитье, и обогащают язык, не принявший их в свободное обращение. Да многие из них потускнели бы, извлеченные из контекста — как вынутые инкрустации. Примеры бесчисленны, но хочется особо упомянуть о словотворческой щедрости Андрея Белого в цикле романов о Москве.



В предлагаемых опытах — попытка конструирования текстов из различных новообразований (для некоторых я решаюсь предложить термины: *эстетизмы* и *пародизмы* — есть же, например, экзотизмы, вульгаризмы).

Опыт показывает, что лучше всего такие тексты укладываются в виде верлиброподобных конструкций. Я использовал, кроме собственных, чужие выдумки, в первую очередь те, что дарили мне друзья, и некоторое из современного фольклора, т.е. слова, авторство которых не открыто широкой публике (здесь тех и других всего семь на 120 собственных).

Я назвал эту форму *с е р л и б р о м*. Это имя — пародизм, но оно не означает, что пародийные или комические элементы должны преобладать над всеми другими.



СЧАСТЛИВОЕ ДИССИДЕТСТВО

(Милодекламация)

Досиденты * репетируют арестанцы.

Диссидеточки играют в тюремек.

Миниатюрьмы одеты в грешетки.

— Бродители, снимите с них намордники
и пойте нам сюрренады!

— Ах, затейники-застенники,
теребятя-зубияки, резвята, демчурки!

Ну какие же из вас арестократы?

И что это за мрачная хромантика?

Прекратите эти эпигонки!

Не балуйтесь вы столь компрометчиво,

исполняя свои увертюрымы:

за рискованной этой скокофонией

будет долгая скукофония

невеселой камерной музыки —

те бессонные бесонаты

прокурортов и зонаториев.

Не спешите с барачными узами

и не стройте из себя компрометеев!

Эх, играли бы вы лучше в резволюцию,

да учили бы конспиранто. . .

— Ах, бродители-теребители, зудянки, хворонье!

Прекратите это кровокарканье!

Мы просили спеть нам сюрренады,

а вы заливааете хромансы,

помпулярные, точно ложунги

дидактической бормотургии

чернобравого дохладчика.

Лучше камерная скукофония,

чем спасительная хилософия,

хамжеская, как хвостливая

ликовальня конституциков,

их хвасторг и флаголепие

и бровурные уратории —

крикатуры на сотруничество

гегемонстров и клоакеров

трибунного портвейнгеноссе,

витринного Бонапарда

в его живом циркофаге.

* Современный фольклор — острота: среди диссидентов различают досидентов, сидентов и отсидентов.

ГРЕЗИДЕНТЫ

Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки . . .

М.Ю. Лермонтов

Ладонега в лесной Акварелии,
в Беломареве Соловкижи . . .
Глубайкал . . . Айвазовское море . . .

Вдохновечная даль волнолуния —
узорная, озерная, озаренная
молнеглазыми феероглифами
струнописи костронавтов —
беспризорных, беспризерных,
беспозерных думократов
сиятельного сославия
бездомных думочадцев,
бездамных дымоседов.

Непритворные непридворные
сердцоги и генералы
не обездолены — не обездалены!
не обескровлены, не обескрылены!
В их сон звездокронная кровля уронит
звуков падучую гроздь,
и странными струнами стронет
с трона владычицу грез.

Рассветный бредседатель
поднимет дымовладельцев,
объявит про динозавтрак,
а шатровый денералиссимус —
флягман и грамматург —
раскаплет забытый остаток
прозрачного граммофонда,
и добродяги затянут
молниями и гремнями
джинсы и брюкзаки,
покинут сереющих грезд морезонт —

грезиденцию кавалербардов,
вернутся в безвинные, безванные, бездушные плачуги
с холодными бродиаторами и забитыми дымоходами,
оставленные проституэтками,
забытыми свой филантреп,
и вредиторы-грошмейстеры
заведут свою пустораль,
двинут свои эйфоризмы,
уморальные максимомы,
которые бредиторам
напомнят, что они
небессердечны и небесчердачны,
но бесстажими композерами
блуждая в абракадебрях,
растрачиваясь в химероприятнях,
им лучше, мол, оглянуться
на тех врезидентов и врезвенников,
или люпус-пролетариев,
что загорбатывают или заграбатывают
без дамлетизма, без демокротства,
без кусторалей, без композерства,
без декадетства и диссидетства,
и в общем пора, мол, оставить
бредубежденья и заумь
и браться за ум
(и тупое свое "и т.п.") .

... И снова у думовладельцев
сплошные пойдут беспробудни ...

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•





В. Гершуни. СУПЕРЭПУС. Москва 1977 г.

Эта книга вводит нас в мир, где грань между обычным и зазеркальным стирается, и мы, споткнувшись на первой же строчке, не сможем пойти дальше, пока, волей-неволей, не прочитаем ее еще раз наоборот.

Море. Ром.
Отель и лето.
А тела у туалета.

И будем смеяться дважды: скатившись за строчкой —

Гни, комсомол, лом о смокинг —

”туда” и возвратившись ”обратно”.

”Суперэпус” — сборник перевертней (и даже заголовков здесь тоже перевертень), и я не погрешу против истины, назвав его у н и к а л ь н ы м . Ну-ка, припомните, читатель, где-нибудь еще вам встречалась поэма из шестисот (!) строк-перевертней? Добавлю, что поэма ”Тать” из ”Суперэпуса” интересна и сама по себе, безотносительно к завораживающей симметричности каждой строки.

Ее
дивен мне вид!
У дива на виду
Я утеснен, сегуя,
и лоб томим от боли
от чуда-ладу: что
Успенье псу?

Молился силом!
И омыты мои
очиньки, лик. . . Ничо,
вымолил, омыв
ее
укором тенет мороку.
Я славил боль, обливался
ей, нем, ан знамение
яро в тиши творя. . .
Меня истина манит сияньем!

”Сочинитель перевертней, — пишет В. Гершуни в предисловии, — независимо от собственного желания, не ведет за собой слово, а сам идет за словом, как за сказочным клубком. . . Работая в этом жанре, автор почти никогда не знает, куда катится клубок. Зацепившись за какое-либо слово, он и за минуту не предвидит, каким оно рассыплется спектром — здесь играет некая радуга-калейдоскоп, в ней то и дело перемешиваются все цвета”.

Мело полем.
На рубеже буран.
Игру пурги
уняв, я вяну,
мету путем,
и еле темп метелей
унял. Кляню.



У рояля ору,
я — рев зверя!
Урок ору.
.
Ох, эхо,
роди рокот о коридор!
Мажор, оплатив топот, витал по рожам,
а мама
алела —
Она и пиано
но и пион!

Еще, еще
одно рондо! —
и тети
икру заметут в туче мазурки!

Что это? Игра? Эстетские упражнения? Волшебство? Поиск тайных, неведомых нам возможностей в самом слове и в способах соединения слов?

Отложив последнюю страницу сборника, вернемся к предисловию (нам не сразу удастся перестроиться с перевертышей на обычный текст, и мы еще долго будем ворочать каждую строчку, пытаясь отыскать грань зеркальности), в котором автор знакомит нас с предысторией появления "Суперэпуса".

В период триумфального шествия нашей политпсихиатрии (1969—74 гг.) автор убедился, что для здорового человека, надолго помещенного в желтый дом, составление перевертней — лучший способ спастись от сумасшествия. Эти упражнения, интеллектуальные, почти как шахматы, и азартные, почти как карты, до отказа заполняют досуг, стерилизуют сознание от всего, что могло бы ему повредить, перестраивают структуру мышления таким образом, чтобы оно было постоянно и прочно избавлено от изнуряющей его губительной заикленности в ближнесущных проблемах, которая для ээка спецпсихтюрьмы может стать причиной духовной, моральной, а то и психической катастрофы. В отличие от обычных тюрем, в желтой тюрьме человек не только заживо погребен, но погребена и его мысль, его дух — в той обстановке беспросветного, идеального бесправия, которую не пробивает даже активная поддержка и защита извне. Там постепенно исчезает желание и способность к чтению, адского напряжения ума требует даже писание коротких писем. Деформируется восприятие реального, и сюрреалистическое, кафкианское делается доступным и близким — но не так, как для ребенка волшебная сказка, мобилизующая хоть небольшие усилия воображения, а так, как во время бреда галлюцинаторные образы, в реальности которых больной не сомневается. . .

В этой атмосфере Босх и Дали убедительнее Репина, Бодлер читается так же легко, как Михалков. . . Мировосприятие, порождаемое желтой тюрьмой, обрекает на модернизм.

Я все это рассказал, чтобы объяснить в какой т о р ч е с -

к о й а т м о с ф е р е (это может разуместься и в кавычках, и без кавычек) проходили мои занятия перевертнями. . .

Занятия перевертнями помогли мне сохранить мышление. Мне этого было достаточно, и я, честно, не придавал особого значения оценкам друзей, которым посылал свои опусы, даже оценкам А. Якобсона, признанного крупного литературоведа, считавшего перевертню поэтическим жанром, вполне равноправным с другими. . .

За пять лет я написал много вещей, разных по содержанию и по объему. Самой большой была поэма "Тать" из 220 строк, которую я дорабатывал и после выхода на свободу, и теперь в ней больше шестисот строк-перевертней. . .

Я и не помышлял публиковать свои вещи, считая, что претензии на читательское внимание после той великой спасительной службы, которую сослужили для меня мои упражнения в тюрьме, были бы нечестными. . .

Но вот прочтя кое-что из соцреалистов: поэмы о БАМе, о КАМАЗе и т.п., — я неуверенно подумал, что поделки иных обывательских кумиров, утративших последние притязания на эстетическое лицо, едва ли имеют большее право на внимание читателя, чем голо-эстетские упражнения, даже если им далеко до эстетического Олимпа.

Появившийся совсем недавно новый апостол воинствующего соцреализма, профессор Степан Карпиленко, с ходу заткнувший за пояс Козьму Пруtkова, нанес последний удар, разбивший чашу моей неуверенности. Я понял, что надо горопиться, т.к. после распространения стихов Степана Трофимовича мои перевертню уже не примет всерьез никто из обмороченной читательской массы. Поэтому я его боюсь даже цитировать, бросая тем самым вызов заинтригованному читателю этих строк, но одно слово этого уже легендарного поэта, трибуна, мыслителя я все же процитирую, чтобы объяснить заглавие своей книжицы.

Среди ряда неологизмов у проф. Карпиленко есть слово э п и с ь — производное от э п о с и о п и с ь . К тому времени я уже изобрел слово э п у с — от э п о с и о п у с . Увы, сейчас это доказывать трудно, и я рассчитываю на доверие читателей. Но что несомненно, и за что я благодарен профессору — это за толчок к дальнейшей разработке моего неологизма. Видя, что появился конкурент, я немедленно предпринял попытку сделать свой э п у с лучше, чем э п и с ь (т.к. признал их равноценными). Тут-

то и появился не совершенно точный, но отвечающий основным палиндромическим правилам перевертень-неологизм:

СУПЕРЭПУС

Едва ли неистовый профессор-поэт решится теперь претендовать на первенство и первородство!

Пользуюсь случаем серьезно предупредить Евтушенко, что если он легко переживет появление этой книжечки перевертней, то предстоящее издание эписей и сонетов-лекций С. Карпиленко перечеркнет 28-летний труд одного из пока еще ведущих соцреалистов, и пусть БАМский угодник не надеется, что Трофимыч согласится разделить с ним на Парнасе музово ложе (не путать с "мужево ложе"). Иными словами, два плодовых поэтических зверя не уживутся в соцреалистической берлоге. . .

И еще несколько выдержек из "Суперэпуса".

На дали ладан
течет
и елей;
миру курим
мы дым
фимиама и миф
миров творим!



Умыло Колыму
алым. Омыла
Воркуту кровь.

Мадам!
Угодила ли догу?
Роди мопса с помидор!



Я нем — меня
лишил
Амур ума,
а муза — разума!
Да рад
я и музе безумия!



Кошка — как шок.
Кот — как ток
около. Молоко
лакал. Плакал.
А то как умолял и вилял — о мука кота!

Фрагмент из поэмы "Тать"

Веру доищи, одурев,
и мало — колоколами,
и рано в звонари. . .
Ала в хуле делу хвала!
А народу хула в хвалу. Худо-рана
течет —
вымокал у ката кулак, омыв
дел след.
Народ чохом охоч до ран,
он сир присно,
и крут, как турки,
и круче чурки,
и серее ереси.
Неодолим он, но мило доен,
нечесан, а сечен,
надзору роздан,
надолго оглодан,
натупо опутан,
утоп в поту
и ох. . . под оплеухой!



К. Подрабинек

НЕСЧАСТНЫЕ

”Никто не достоин звания раба в большей степени, чем тот, кто считает себя свободным, не будучи таковым на деле”.

Жан-Жак Руссо. Общественный договор.

1. ДЕНЬ САЛАБОНА

”Подъем!” – гнусным голосом орет сержант. С верхних коек горохом сыпятся молодые. На нижних сладко почивают кандидаты и паханы. Мы с Вами, читатель, в Туркмении, в казарме Советской Армии. Введем сразу в курс дела.

В казарме строгая иерархия по годам и призывам службы. Солдаты первого года службы – без всяких прав, второго года – вершители судеб первых. Но кроме общего деления на быдло и олигархию есть и промежуточные градации. Солдаты первого полугодия – молодые. Это низшая каста. Отслужив полгода, молодые становятся карасями. Так сказать, законодательно, у карася нет никакого преимущества перед молодым. Ему ”положено” все то же, что и молодому. Но он отслужил дольше, и ему все же меньше достается стирок портянок паханам, ночных дражий казарм и т. п.

Армейские обычаи, имеющие в казарме силу закона, укладываются в емкое слово "положено". Так вот, пахать и соблюдать воинские уставы положено только первому году службы. Отслужив год, положено "заложить на все кое-что". Торжественная метаморфоза! Прошел год, карась превратился в кандидата. Имеется в виду не кандидат наук, а кандидат в паханы. Функции кандидата в основном карательно-полицейские. Они шугают молодых и карасей, чтобы те не борзели. Короче, они ответственны за "порядок". Отслужив полгода, кандидаты становятся паханами, отцами общества, так сказать, его сливками.

Паханам положено отдыхать. Репрессируют они молодых в порядке частной инициативы, личной заинтересованности, а не целеустремленно, как кандидаты. Ну и высшая ступень могущества, это быть дедом. Деды — это солдаты, дожившие до своего дембеля, но еще не уехавшие домой. У них есть и свои "внуки", новобранцы, забранные в армию по тому же приказу.

Пока мы разбирались в чинах, молодые и караси, а короче — салабоны, уже успели построиться на зарядку. Последуем и мы за ними в физгородок, где для них уготовлена пытка физкультурой. Руководят пыткой несколько "любителей спорта" и сержантов второго года службы. Каждый берет себе группу салабонов и старается довести до такого состояния, чтобы "служба медом не казалась". При этом умело чередуются различные упражнения. Вот одна из групп. Сегодня ночью эти молодцы имели наглость попасться на глаза дежурному по части, когда драили полы за наряд, состоящий из паханов. Молодцы, зацепившись ногами за тумбу, специально врытую в землю, лежат, перегнувшись через скамеечку, и качают пресс — "и раз", командует сержант. Молодцы, одновременно поднимаются — "и два", молодцы перегибаются через скамеечку. Сержант не спешит командовать. Ведь лежать в таком положении очень больно, сводит все мускулы тела. "И раз", — милостиво разрешает верховное существо. И так двадцать, сорок и сколько вздумается раз. Тело невыносимо болит, кажется, уже нет сил.

— Эй, ты, несчастный, выгибайся! Что, больше не можешь? — виновному выделяется оплеуха.

— Из-за тебя повторим все сначала.

Это тоже одна из воспитательных мер. Ясно, какими глазами будут смотреть на виновного коллеги по несчастью. Вокруг с любопытством и смешками наблюдает, покуривая, группа паханов.

В другом конце физгородка маленький ишподром. Пара азартных кандидатов держат тотализатор на бегающих по кругу салабонов. Проигрывающая лошадка подгоняется пинками. Иногда попытка физкультурой доводится до такой степени, что истязуемый без сил валяется на земле. Рядового Ш. качали до тех пор, пока у него не разошлись операционные швы на животе.

Что же заставляет салабонов подчиняться этому? — спросите Вы. Страх перед неминуемой расплатой ночью в казарме.

Где же офицеры? — спросите Вы. Дома. Кому охота рано вставать? Они придут только к разводу. Изредка они приходят к зарядке. Офицер отправляет на нее всю роту, а сам идет в канцелярию курить. Не повезло паханам! Вместо того, чтобы спать, придется слоняться по городку. Иногда офицеры появляются и в самом физгородке, но это ничего не меняет. Во-первых, бывает это редко. Во-вторых, физгородок большой, зарядка проходит рано, а потому еще темно. Контроля не получается. Заметим, что попытка физкультурой может быть несколько раз в день. Расписанием предусмотрены кроме ежедневной физзарядки еще и физкультурные занятия. Офицеры, положившись на сержантов, спокойно уходят по своим делам.

Всему приходит конец, и физзарядке тоже. Молодняк гонится в казармы, где ему предстоит немного развеяться — навести в расположении роты порядок. С подъема двое уборщиков, назначенных еще вечером, естественно, салабонов, мыли казарму. Теперь молодняк должен заправить койки свои и за аристократию. Тут тонкость. Офицеры требуют высокого качества заправки коек. Сержанты еще большего — разумная перестраховка! По периметру койки требуется навести уголок, рубчик, стиг постели должен быть прямой линией.

— Чтоб комар яйца обрезал, — командует сержант. И закипает работа.

Но ничто не идеально, к печали сержанта. Иногда поступает приказ:

— Руками вы работать не можете, наводите уголок зубами.

И наводят зубами уголки, прикусывая одеяло по периметру!

Паханы и кандидаты валяются на заправленных койках (спят они только на нижнем ярусе). Уставом это запрещено, но причем тут устав! Поэтому в течение дня салабоны то и дело заправляют за ними койки.

По распорядку дня далее следует утренний осмотр. Когда офицеров нет, а бывают они редко, строятся одни только салабоны. С них требуют чистых подшитых воротничков, начищенных сапог, чистого обмундирования, подковок на сапогах, надраенных блях и многого другого. Но Боже, как этого добиться! Найти сапожную щетку и крем перед осмотром — проблема даже для пахана. Их попросту нету.

Периодически из жалования солдат вычитается по одному-два рубля. На эти деньги приобретаются сапожные щетки и крем, зубные щетки и паста, мыльницы и мыло, материя для воротничков. Из общего запаса старшина припрятывает приличную долю, в основном материи, в каптерке. Это для будущих паханов. Остальное выдается всем. И очень быстро исчезает.

В казарме процветает кустарный промысел. Паханам на дембель изготавливаются сувенирчики — цветочки, подставки, шкатулочки. Основной материал — органическое стекло, на инкрустацию идет цветная пластмасса. Большим спросом у туркменского населения пользуются браслеты для часов казарменного производства. Это своего рода разменная монета стоимостью от трех до десяти рублей. Мыльницы и зубные щетки являются инкрустационным материалом, полотенца нужны для шлифовки изделий. В короткий срок запасы исчерпываются. Сапожные щетки быстро выходят из строя, часть из них служит для надривания полов. Вот почему перед утренним осмотром начинается ажиотаж.

Паханы выходят из положения просто:

— Две минуты, найди щетку и крем! В противном случае будешь держать улыбку у себя в руках.

Но что делать салабону? Ведь личных вещей у него нет, все отбирается и крадется. Где достать материю на воротничок? Какого труда стоило найти чистый воротничок для пахана и пришить ему на китель. А где взять для себя? Да и когда и время для этого было выкроить?

— Вывернуть карманы и показать содержимое! — командует сержант. И не дай Бог, если он обнаружит кусок материи, зубную щетку, письма, бритвенный станочек.

— Несчастный, марш сортир мыть! Потом еще с тобой разберемся.

Тоже разумно поставленная практика. Делается это для того,

го, чтобы салабон не имел ничего личного, а вся материя, щетки, крем и т. п. было достоянием аристократии. Ведь салабону негде все это прятать, кроме как на себе. Его вещмешок проверяется, койка тоже, любой пахан может все отобрать.

Но не о своем внешнем виде он беспокоится. Всякий второслужащий может ему приказать "в две минуты" почистить ему сапоги, надраить бляху, найти закурить. Иначе "держать улыбку в руках". Вот и пробует изловчиться салабон, попадая в эти-кие клещи.

Заметим сразу. Воровство в казарме повальное. Крадут старослужащие у всех, молодые друг у друга. Оставить ничего нельзя. Всякий старается запрятать свои вещи в боевой машине, в радиостанции, в комнате боевого дежурства, даже закопать в укромном углу.

Итак, утренний осмотр кончился. Несколько "несчастных" с ведрами и метлами орудуют в сортире. А для остальных есть новое развлечение — утренний тренаж. Бывает он разный.

Положим, сегодня тренаж по защите от оружия массового поражения. Салабонам могут предложить надеть противогазы и бегать по кругу, через каждые двадцать метров падать, вставать и снова бежать. В климате Туркмении трудно даже просто так бегать. Что же сказать о беге в противогазе. В редких случаях присутствия на тренаже офицера все тренируются просто в надевании противогаза. Бывают тренажи по физподготовке. Что это такое, писалось уже выше. Но вот, положим, тренаж по строевой подготовке. Сержант выводит молодняк на плац, и те маршируют строевым шагом.

— Не слышу запаха резины! — в ярости кричит командующий нарядом. — Будем тренироваться!

И действительно, в свободные для всех по уставу, а на деле только для старослужащих полчаса после обеда на плацу, в жару, после еды будет тренировка. Будет тренировка и в личное время вечером.

— Запевай! — командует сержант. Салабоны дружно поют, маршируя.

— В наше время пели лучше, — критически замечает какой-то пахан.

— Ничего, — успокаивает сержант, — они у меня сегодня охрипнут.

Тут преследуется цель. Вот идет рота. Если ведет ее офицер,

то в строю все: впереди хомуты , потом молодые и караси, сзади развязно шагают старослужащие.

— Строевым, запевай! — следует команда. Старослужащие идут все так же развязно, для вида только открывая рты. Поэтому салабоны должны отбивать шаг очень громко, петь во всю мочь за всю роту. А как этого добиваться? Тренировками!

Самый приятный тренаж — политинформации. От салабонов требуется одно — внимательно слушать офицера, загораживая спинами спящих паханов.

”Масло съели, день прошел”, гласит казарменная мудрость. Масло дают один раз в день за завтраком. Восемнадцать килограмм съел, уезжай домой. Рота идет на завтрак приближать долгожданный срок. Тут мы сталкиваемся с новой пыткой, пыткой голодом. Истина, что армия не курорт, — банальна. Известно, что солдатская жратва отнюдь не блюда французской кухни. Однако, если бы солдат съедал все положенное ему, жить было бы возможно. Но в этом ”если бы” и все дело. Между гарнизонным продовольственным складом и солдатским столом имеется два промежуточно-осадочных пункта — склад части и кухня. Вечерком можно заметить прапорщиков, идущих домой с большими сумками, а на кухне повара задают пиры своим друзьям старослужащим. Результаты для солдатского рациона ясны. Но и это еще не все.

Положим, за столом сидит десять человек. Поскольку солдат первого и второго года службы примерно одинаковые количества, то и за столом окажется пять аристократов и пять рабов. Как же, как не рабами, назвать салабонов, хоть большинство из них таковыми себя не признают. Вследствие такой диспозиции за столом, каждый старослужащий может обжать одного молодого или карася. Паханы и кандидаты сидят на одном конце стола, где бачок. Молодые и караси — на противоположном. На этом пиршестве богов есть и свои ганимеды. На роль виночерпия выбирается молодой, наиболее достойный доверия паханов. Такой ”разводящий” кладет каждому пахану столько, сколько тот пожелает. За свою лакейскую должность он имеет некоторую корысть. Оделив старослужащих, он в первую очередь кладет себе. Остальное идет на другой край стола.

Разумеется, если в бачке было нечто достойное внимания, ну, скажем, хотя бы картошка, а не перловая каша, на другой край стола вообще ничего не попадает. Но если это даже и перло-

вая каша, последний за столом может и ее не получить. За последним местом сидят или самый слабый молодой, или наиболее третируемый кандидатами салабон. За некоторыми столами ганимедов нет. Там менее гордые паханы унижаются до самообслуживания. Салабонам от этого не легче.

Ни один салабон не смеет взять себе хлеб, масло, сахар, вечером кусочек рыбы, пока не возьмут себе старослужащие. После этого молодняк накидывается на остатки. При этом сидящие ближе к паханам находятся в более выгодном положении, чем сидящие дальше от них. Каждое место за столом строго регламентировано, оно соответствует общественному положению, определяемому силой, изворотливостью, угодливостью перед старослужащими, наглостью и подлостью. Итак, вся пища разобрана.

Вот задача для первоклассника. За столом было двадцать кусков сахара. Пять человек взяли себе каждый по три куска. Сколько кусков сахара достанется каждому из оставшихся пяти человек? Вариант. Двое из первой пятерки оказались сластенами и взяли по четыре куска сахара. Сколько человек из второй пятерки окажутся без него?

Надо отметить, что все куски сахара, хлеба и рыбы разной величины, так что если салабон и съест все-таки что-нибудь, то это может быть крошкой или плавником.

В учебках, где все солдаты одного призыва, такая неравномерность кусков по величине не странна. Сегодня ты съел маленький кусок, завтра другой, все справедливо. Но вот в войсках дело другое. Что касается пресловутого масла, то если оно не разделено на куски, салабонам его не видать. Исходя из пословицы, они могут этот день в жизнь не засчитывать.

Рубоны в обед и ужин проходят как и в завтрак. Не удивительно, что обжатые салабоны ходят вечно голодные, а такое хроническое недоедание очень тяжелая пытка. Ничто так не деморализует человека, не подавляет его, как пытка голодом. Паханы это понимают. Часто можно видеть, как они накладывают себе вдвое больше того, что могут съесть, и оставляют в тарелках. Салабоны, естественно, взять остатки не смеют.

— Ты что, несчастный, что ли? — В разряд несчастных попадает всякий салабон, имеющий наглость печалиться своему образу жизни. И будьте спокойны, у него будет еще больше основания для этого!

Жрать хочется! Может быть, выручат посылки или денежные переводы заботливых родных? Напрасные чаяния. Ротный почтальон, салабон, конечно, приносит в казарму корреспонденцию. При этом он придерживается строгого правила. Перед тем, как отдать извещение молодому адресату, сообщит пахану. Вопрос, какому именно, регулируется между паханами. Осчастливленный молодой идет с паханом или группой паханов на почту и получает посылку. Он даже сам приносит ее в часть. Тут она у него отбирается, и у паханов в укромном месте начинается пир. Почетный эскорт сопровождает салабона не потому, конечно, что ему не доверяют, а для того, чтобы не делиться со всеми старослужащими в казарме. Если счастливчику пришли деньги, то он сам идет на почту и по возвращении благопристойно отдает их уважаемому господину. Зачастую за примерное поведение салабону перепадает кусок или рубль.

Итак, перед молодым вечная проблема — что бы поесть? И кусок хлеба, я не преувеличиваю, подарок судьбы. Конечно, некоторые храбрецы пытаются выйти из такого положения. С отчаянным мужеством они прокрадываются на кухню и клячат у поваров жратву. Иногда к их мольбам снисходят, иногда повара их бьют. Но если какой-нибудь пахан из его роты застанет салабона за таким занятием, то все — быть ему несчастным.

Завтрак кончился. Салабоны убирают посуду. Плотно поевшая рота идет на утренний развод. С развода солдаты отправляются на занятия и работы. Примерно в половине случаев офицеры поручают проводить занятия сержантам, а сами уходят по своим делам и бездельям. Старослужащие гуляют или спят в казарме. Молодняк усиленно натаскивается в познании солдатской науки. А как же иначе? По итогам полугодовой проверки будут приличные результаты хотя бы за счет молодых.

Если роту отправили работать, есть два варианта. Предположим, поступило задание всем сообща вырыть траншею. Старослужащие будут загорать, бдительно следя за тем, как падут салабоны. Если подойдет офицер, можно будет в крайнем случае взять для вида лопату в руки. Второй вариант. Даются разные задания группам на четыре, восемь человек. Если задание важное, офицер в группу молодых назначит одного пахана. Ясно, что при этом производительность труда возрастает.

Итак, мы коснулись еще одного вида пытки, пытки работой. Она менее стабильна, чем остальные, но иногда проявляется

в острой форме. К таким случаям относятся в основном кухонные работы. Состав кухонного наряда должен чистить котлы, носить воду, расставлять, убирать и мыть посуду, чистить картошку, и многое другое. Даже в полном составе наряда трудно справляться со всей работой. А не дай Бог не справиться! Солдату положено если не есть вовремя, то хотя бы присутствовать при этом по расписанию. Но половина наряда — старослужащие, значит молодняк должен работать вдвое усиленнее. Кухонный наряд — суточный, и все сутки без перерыва бегают салабон, подгоняемый пинками. Многие выбиваются из сил, и тогда следуют сцены жестокого избиения. Во что бы то ни стало должна обеспечиваться бесперебойная работа столовой. Но салабон даже под угрозой колесования не может бегать со скоростью антилопы. Что же делать? И тут совершается акт пиратства. Паханы ловят со стороны молодых, неосторожно приблизившихся к столовой, и заставляют их работать. На этой почве иногда вспыхивают междоусобицы рабовладельцев. Любой старослужащий может избить любого салабона. Избить, но не эксплуатировать. Последнее есть уже покушение на частную собственность — молодые являются принадлежностью только данной роты. Действительно, молодому нужно простирать своему хозяину портянки, а его умыкнули чужие! Непорядок.

Ревностное отношение к своей двуногой собственности старослужащих проиллюстрируем следующим случаем.

К сержанту И., кандидату, пришел пахан другой роты.

— Не в службу, а в дружбу, одолжи парочку салабонов. Понимаешь, все наши уже разобраны, некому одежду мою постирать.

— Пожалуйста, с удовольствием, — согласился И., желая угодить приятелю-пахану, и кликнул двух салабонов.

Молодые В. и другой, по кличке "Гапон", принялись за работу. Через некоторое время зашел в умывальник их старшина Л.

— Что тут делаете?

— Стираем.

— Кто велел?

— Сержант И.

— Не шустрите! И. уже постирался.

— Не знаем, он нам приказал.

Л., наверное, сам искал себе свободных салабонов и ответ этой парочки его не удовлетворил. Пошел старшина к И. и получил объяснение.

— Ты что, падлю, хомут е..., наших салабонов заставляешь на других пахать?

Завел его в уголок и крепко избил.

Внимательный читатель, ознакомившись с пиратством, спросит: а как отличить молодняк от паханов? Как тут не ошибиться? Ведь невозможно знать всех солдат части в лицо. Попробуем объяснить.

Молодым положено быть одетым строго по форме. Старослужащий, напротив, делает все, чтобы будучи в военной форме носить ее не по форме. Перед нами пахан или кандидат. Сапоги у него с гармошкой. Достигается это с помощью плоскогубцев. Верх сапог подогнуты. Ремень болтается. На кителе верхняя пуговица расстегнута. Шапка торчит на макушке. Если это панамы, то носится она как шляпа, с "гендышком". На кителе сзади, на уровне плеч, отглажена складка. Шинель высоко обрезана и похожа на пальто. Кроме того, зимой проблема облегчается тем, что на рукаве шинели старослужащего два шеврона, у молодого один. Символика тут ясна — одна полоса означает первый год службы, две — второй. Очевидно, Министерство Обороны так распорядилось, чтобы облегчить жизнь паханам. Старослужащий может иметь усы и быть давно нестриженным. Правда, сапоги у него блестящие, китель выстиран и выглажен, все у него чистое и добротное. Оно и понятно, все это достигнуто заботами молодых. Но даже и без этих примет, по наглому, вызывающему виду, разболтанной походке можно догадаться, кто перед вами. Ни одну из этих отличительных примет не смеет иметь салабон. Сапоги у него гладкие, китель застегнут вплоть до крючка, панамы круглая, шинель длинная, прическа короткая, усов нет в помине, пояс затянут.

Кстати, о поясе. Если салабон начинает слабо затягивать ремень, то происходит следующее. Двое паханов, упираясь ему в живот, затягивают ремень до предела, и салабон должен так ходить. Это мучительнейшая пытка. Через полчаса истязуемый при последнем издыхании. Ремень немного ослабляют и на внутренней стороне для контроля ставят метку.

Обмундирование молодых старое и грязное. Старое потому, что новые сапоги, шапки, рукавицы, короче все, что можно, отбирают у них старослужащие, взамен отдавая свое. Грязное потому, что молодые все время работают, все время на полах, да и нет времени и возможности привести себя в порядок. Но

самая главная отличительная черта молодых, это вечно забитое выражение во всей фигуре, тоска на лице. Тут ошибиться невозможно.

Прошел обед. После получасового перерыва, как правило, чистка оружия. Паханы бездельничают, салабоны чистят все автоматы. Затем снова занятия, работа. Проходит ужин, теперь полтора часа так называемого личного времени. Свободное и личное для паханов и кандидатов, но никак не для салабонов. У последних задача — довести внешний облик старослужащих до нужной кондиции: пришить им воротнички, надраить бляхи и еще тысячи забот. Если сегодня вечером кино, то многие салабоны его не увидят. Работа прежде удовольствия! А то, что кино большое удовольствие, знает любой, служивший в армии. На полтора часа забывается служба, работа, командиры, и можно погрузиться в далекий сказочный мир гражданки и свободы.

Впрочем, что тут кино. Ведь оно бывает три раза в неделю. А вот Новый год можно встретить в армии только два раза. За десять минут до наступления нового 1975 года зашел я в умывальник. Там несколько салабонов стирали паханам портянки. Что тут скажешь...

Сегодня командир роты выдавал солдатам жалованье. Как правило, это три рубля восемьдесят копеек в месяц. Процедура эта происходит так. Командир сидит в канцелярии. Молодой входит, расписывается и получает деньги. Выходит и отдает поджидающему за дверью пахану рубля два. "Свободен, как ночной трамвай!" Что можно сделать в армии на остаток? Ведь и на курево не хватит. Но салабону положено курить "бычки". Пахан изящным жестом кидает окурочок на землю и салабон кидается поднимать. Запасливый салабон всегда хранит где-нибудь пачку сигарет. Ночью, когда он спит на втором ярусе, его может выбросить из койки пинок ногой лежащего внизу пахана.

— Найти закурить, две минуты, живо! — А где найдешь ночью закурить, если нет запаса? Причем, нерасторопность тоже наказывается.

— Смирно, кругом, бегом марш! — командует старослужащий. Салабон пробегает метров двадцать.

— Смирно, кругом, бегом марш! — снова команда. Салабон бежит назад. И так много раз.

Если сегодня выдавали жалованье, значит молодняку предстоит "ночь печали". На полученные и отобранные деньги старо-

служащие перепьются и устроят тотальное избивание молодняка. Вино дает простор всем зверским инстинктам. Нечего и говорить, что молодым пить не положено, нарушения жестоко караются. Добыча вина связана с риском попасться. Так как паханы сидеть на "губе" не любят, то на добычу посылаются салабоны-шустряки.

— Попадется, ну и черт с ним, пускай врубается в службу.

Пьянки происходят обычно ночью, а сейчас перед отбоем вечерняя прогулка. По существу, это пятнадцатиминутный тренаж по строевой подготовке. Как они происходят, мы уже знаем. После вечерней прогулки проверка личного состава роты. После проверки отбой.

Но не все так просто. В случае тревоги солдату положено одеться за сорок пять секунд. Это обстоятельство и кладется в основу еще одного издевательства над молодыми.

— Сорок пять секунд, отбой! — кричит сержант. Какой смысл в том, чтобы в случае тревоги быстро раздеться? Разве только тот, чтобы похоронной команде проще было собрать обмундирование в одну кучу? Молодняк бешеным стадом несется к своим койкам, на ходу раздеваясь. Кстати, за эти сорок пять секунд нужно еще аккуратно уложить одежду на табуретки. Это тоже, очевидно, служит облегчению труда похоронной команды. Табуреток на всех не хватает, и горе тому, кому она не досталась. Но вот все в постели.

— Сорок пять секунд, подъем! — орет сержант. Бешеное стадо несется на проход строиться, по пути одеваясь. Опоздать никому не хочется. Не успевший может тренироваться очень долго. Наблюдающим за всем этим паханам очень весело. Это их любимое вечернее развлечение. В казарме гул азартных выкриков, насмешек, подгоняющих команд.

И действительно, салабоны сталкиваются лбами, лезут вдвоем в один сапог, пытаются надеть через голову штаны, сплошной юмор! Все приедается, и поэтому заготовлена новая фаза веселья. Молодняк в одном нижнем белье стоит перед койками. Один вид их забавен! Лучшее белье забирается после бани старослужащими. Поэтому белье салабонов самых удивительных размеров. У многих прорехи на самых интересных местах.

— Отбой! — орет сержант. Молодые впрыгивают в постель.

— Подъем! — тут же орет сержант. Молодые выпрыгивают на пол.

— Подъем, отбой, подъем, отбой! Не успеваем? Будем тренироваться! — и так множество раз.

Салабоны как обезумевшие белки носятся между полом и койками. Кульминация смеха достигается, когда один салабон прыгает другому на шею.

— Отбой, — наконец, в последний раз звучит команда. Но и это не все. Предстоит еще качание прессы.

— Поднять ноги! — командует сержант, — опустить, — так с десяток раз. Официальная часть вечера заканчивается, но свет не гушится. Паханы ходят умываться, фланируют по казарме. Умываются ли молодые? — спросит читатель. Когда как. Иногда им предоставляется такая возможность, иногда нет.

Предположим, разрешили перед сном умыться. В казарме острый дефицит полотенец, особенно ножных. Старослужащие делают просто, забирают у салабонов полотенца для лица и превращают их в ножные. Пускай те вытираются, чем хотят. Далее, в казарме острый дефицит тапочек. Так что салабон пойдет умывать ноги в сапогах и мокрые же ноги снова сунет в грязные сапоги. А сапоги всегда мокрые. Летом, пока не дадут мабуты — от пота. Зимой от воды. Сапоги у салабонов обычно худые, а влажность зимой в Туркмении ужасающая. Центрального отопления в казарме нет, стоит лишь несколько печек. Старослужащие развешивают портянки около них, сапоги ставят рядом для просушки. Но салабонам этого делать не положено. Однако в целях поддержания в казарме приятной атмосферы паханы требуют от салабонов чистоты портянок, что и проверяется. Салабон вечером стирает свои портянки, а сушить их негде. Утром он сунет ноги в мокрые портянки. От постоянной сырости ноги начинают гнить, все салабоны мучаются этим. Вообще говоря, полагается менять портянки каждую неделю вместе с бельем, но "на положено кое-что положено", говорит солдатская пословица, портянки меняются раз в полгода.

Зимой в Туркмении бывает холодная погода, тепло спать только около печки. Те старослужащие, которым выпало такое счастье, покрываются поверх одеяла шинелями. Молодым опять-таки это не положено. Вот и дрогнет салабон на верхней койке, а под ним его шинель покрывает пахана.

Наконец, свет погас.

— Дембель стал на день короче, всем отцам спокойной ночи! — кричит салабон.

– Спасибо, сынок ! – дружным хором откликаются паханы. Вечерний ритуал завершен.

Если сейчас "ночь печали", то всех подряд салабонов избьют. Но предположим, эта ночь обычная. В одном углу казармы поют паханы, в другом бренькает на гитаре кандидат, где-то пьют, где-то разговаривают. Некоторые отцы любят массаж. Несколько массажистов-сынков часок-другой ублажают священные тела паханов. Жизнь в казарме не замирает. А для салабонов наступает час для самой распространенной пытки, пытки избиением. Бьют сынка, конечно, и днем, но ночью особенно. Может быть, избьют за какую-нибудь провинность, может быть просто так. Салабону командуют "подъем!" Для пущей убедительности пинком выбрасывают из койки. "Смирно!" Сынок вытягивается.

– Отжаться от пола тридцать раз, – командует отец. Молодой отжимается. Снова команда – стать смирно!

– Стать смирно! Ты сегодня сделал то-то и то-то, сынок несчастный. Плохо в службу врубаешься? – следует серия ударов по лицу. Салабон падает.

– Смирно! – рывкает пахан. Салабон встает и вытягивается по стойке смирно. По лицу у него течет кровь. Следует новая серия ударов. Иногда салабону не дают подняться и избивают ногами. Иногда в экзекуции участвует группа старослужащих. Избиение кончается, и салабон идет умываться. Если сам идти не может, его тащат в умывальник специально разбуженные сынки. Теперь наступает очередь следующего. Никто из салабонов не знает, кто им будет. Несколько десятков человек лежат, в страхе ожидая. "Сейчас поднимут, сейчас поднимут". Это сильнейшая пытка страхом. А паханы прекрасно понимают деморализующую силу страха, ведь когда-то они сами все это испытывали. Вечный страх – вот что держит салабона в повиновении. Вот почему избивают сынков ночью, вот почему их бьют даже просто так, превентивно. Для назидательного урока другим. Молодой лежит, трясаясь от страха на койке, и слышит, как бьют его товарища.

Иногда, если салабон провинился с точки зрения отцов серьезно, то избивают его в умывальнике. Выбранную жертву заводят туда ночью, и группа паханов бьет ее с особой жестокостью, смертным боем. Потерявшего сознание салабона оставляют на цементном полу, обливают холодной водой из шланга и

умывальник закрывают. Под утро его притаскивают в казарму и забрасывают на койку. В результате салабоны попадают в госпиталь. Рядовому Ч., например, побоями отбили слух. Существует и такая своеобразная форма избиения, как "прокатить к Володьке". В конце казармы, в проходе, на устланном кумачом постаменте, стоит бюст Ленина. На другом конце прохода ставится истязуемый. Проход длиной, этак, метров тридцать. Сынку наносится серия ударов, и он падает. Так своим телом он одолевает этот путь, "прокатывается до бюста". А бюст взирает на него своими слепыми глазами.

Любят отцы развлекаться ночью и другими способами. Будится салабон.

— Смирно! — командуют ему. Сынок застывает по стойке "смирно".

— Еще смирнее! — сынок вытягивается из последних сил. Звучит команда:

— Уа!

— Уа-уа-уа, — кричит салабон, хлопая себя вытянутыми руками по бокам, словно невиданная птица. Дружный гогот. Кажется, и сынок рад тому, что угодил.

Или так. Поднимается молодой.

— А ну-ка, сынок, сколько папаше до приказа осталось? — спрашивает отец. Имеется в виду приказ о демобилизации. Дни считаются до заранее намеченного числа. Приказы выходят в разные года примерно в одно время. Обалдевший спросонья молодой отвечает.

— Так, — торжествует пахан, — на восемь дней ошибся. А ну-ка, становись... — как бы мне это лучше заменить это слово в оригинале... — кровать! — Салабон (он в нижнем белье) становится, как требуют. Отец отсчитывает ему ремнем восемь ударов по заднице.

— А теперь марш спать, сынок!

Бывает, веселье не утихает всю ночь. Что паханам, они и днем выспятся. А уставшим молодым спать хочется невыносимо. Если в наряде паханы, несколько молодых за них драят казарму и стоят у тумбочки дневального. Может, им и удастся немного ночью поспать. И вот, шесть часов утра.

— Подъем! — гнусным голосом орет сержант.

2. ОТЦОВЩИНА

Любопытный материал для наблюдений казарма. Правда, наблюдать лучше со стороны. Это наше общество в миниатюре. Конечно, картина казармы выдержана в резких тонах, скорее писана углем, чем акварелью. Противоречия обострены, побуждения обнажены и доведены до логического конца. Но суть та же. Одна часть общества живет за счет другой. Эта другая была бы не прочь поменяться местами с первой. Отношения между группами и в самих группах регулируются насилием. Стержень всех взаимоотношений — страх. Причем не только страх салабонов перед старослужащими. Многие старослужащие поддерживают отцовщину из страха быть изгнанными из класса привилегированных. Да где-то в глубине души есть страх и перед молодыми. Несмотря на официальные законы (весьма несовершенные), силу в казарме имеют обычаи и традиции. Причем, для внешней законности обычаи зачастую умело подгоняются к уставам, по существу являясь полным беззаконием.

Сержанты являются буфером между офицерами и рядовым составом. Но соблюдают они интересы паханов. Оно и понятно, последние — реальная сила. Кого назначают в сержанты? Наиболее ловких. Офицерам нужна показуха, внешняя благопристойность. Сержанты должны уметь командовать, т. е. пользоваться авторитетом у солдат. А это означает соблюдение интересов паханов. Офицерам необходимо иметь сержантами таких ловкачей, никто другой не сможет быть сержантом. Для старослужащих сержант — нуль. Вот и крутятся сержанты, стараясь угодить и тем и этим. Не зря их зовут хомутами. Это нечто мешающее, но не имеющее самостоятельного значения.

Старшиной назначается обычно самый сильный старослужащий. Помню Л, старшину своей роты. Здоровенный парень с уголовным прошлым. И напивался он, и в самоволки ходил, и попадался на этом, но оставался старшиной. Лишь под дембель его сняли, когда было нужно заботиться о новом старшине. В конце концов Л. угодил в тюрьму. Будучи наркоманом, ограбил склад медикаментов ч у ж о й части. Этого уже не покроешь. Да еще, узнав о раскрытии своего дела, Л. дезертировал.

Офицеры, конечно, прекрасно знают об отцовщине, но не борются с ней. Зачем? Так удобнее. Внешне тишь да гладь. Хотя бы полроты работает. Жаловаться в открытую никто из сала-

бонов не смеет. А начинка искоренять отцовщину! Тут нужны крутые меры. А офицеры гласности не любят. Кому хочется признаваться, что у него в подразделении такое творится? Тебе же первому достанется от начальства, которому тоже не хочется страдать от своего. Вся карьера к черту полетит. Вот и проводятся политзанятия, комсомольские собрания. Избитый ночью салабон говорит громкие слова о боевом товариществе. Избивший его ночью пахан толково рассказывает моральный кодекс строителя коммунизма. Комсомольское собрание дружно принимает обязательства к новому съезду партии. А ночью дружно будет выполнять другие свои обязательства. А довольные офицеры пишут отчеты для начальства.

Рядовой М. рассказывает: "В боксе для машин меня избивали трое паханов. Это увидел командир моего взвода лейтенант С. — Потише, ребята, а то убьете, — и пошел дальше".

Так что офицеры не имеют ни желания, ни возможности противодействовать отцовщине. В отдельных случаях они даже культивируют ее.

Конечно, отцовщина подрывает боеспособность армии. Случись военные действия, и одна половина роты может перестрелять другую. Иногда это случается в карауле. Рассказывают, например, о таком. "Запуганный на конус" молодой начинает в караулке поливать из автомата паханов. Подоспевший с поста разводящий убивает его выстрелами в спину.

С другой стороны, отцовщина развивает в солдатах самые зверские инстинкты. Случись заварушка внутри страны, солдат начнет, не задумываясь, убивать всех, кого прикажут, давая выход всему накопившемуся. Защитники отцовщины утверждают, что такая система развивает в солдатах стойкость. Ерунда! Отцовщина делает солдата трусом. Смирившись со своей участью, раб всегда труслив. Уроки страха не проходят для салабонов бесследно. Трусливы и паханы, тоже рабы в душе. И это может проявиться во время войны на деле.

Ну, а с точки зрения невоенной? Главное зло отцовщины в том, что она калечит людские души. Приходит в армию молодой человек. Здесь его ломают и заставляют испытать высшую степень унижения и бесправия. Домой он уезжает, потеряв человеческое достоинство, душевно опустившимся. А ведь через армию ежегодно проходят миллионы таких молодых людей! Перед их жизненным взором всегда предстают дни жизни в

казарме. Они не способны быть гражданами и могут только подчиняться.

Не следует думать, что отцовщина нечто насаженное сверху. Она существует по причинам внутренней необходимости. Никто не имеет ясного плана "зла", все соответствует общесоциальному злу и само собой получается так, а не иначе.

Живут в казарме обыкновенные люди. Это и есть самое страшное, что отцовщина держится ими, а не сверхзлодеями. Молодых избивают в первый день приезда. Сразу внушают страх. А разобщенность и эгоизм довершают дело. "Главное, не меня сейчас бьют. Плевать на остальных!" Салабон терпит и живет великой надеждой: "Придет мое время!" Его время приходит, и он отыгрывается на других.

Конечно, не все старослужащие избивают молодых, эксплуатируют их для личных надобностей. Но все старослужащие согласны с этим порядком. Никто из них не возьмет в руки тряпки — стыдно! Как на это посмотрит казарма? Как не согласиться с общим мнением! Вот и получается, что группа зверствующих паханов выражает собой мнение всей казармы.

Поговорите с салабоном. Он в отчаянии от своей жизни, но считает казарменные порядки естественными для других.

Очень хорошо сказал один солдат: "Лучше я буду неправ вместе со всеми, чем прав в одиночку". Для правоты в одиночку в казарме необходимы физическая сила или хитроумие и непременно — сила моральная, а это далеко не часто встречается.

Говорили мне о таком случае. Попал в казарму спортсмен. Да не просто спортсмен, а вроде еще и мастер не то по боксу, не то по самбо. Спортсмен был крепок не только телом, что не редкость в казарме, но и духом. Несмотря на риск быть попросту убитым, закатывал он паханам настоящие сражения. После одного из них от него все-таки отступились.

Как-то вечером на него напало много старослужащих. Толпа паханов преграждала ему путь от казармы до штаба части. На всем этом пространстве разыгралась настоящая буря. По телам и головам врагов, буквально сквозь строй, весь измочаленный, прорвался все-таки спортсмен к дежурному по части. Судя по тому, что не всадили в него нож, был он, видимо, все-таки мастером по самбо.

Ефрейтор П., попав в казарму, сразу оценил обстановку и

составил себе план защиты. В двухгодичной партии он применял различные комбинации. После каждого избиения докладывал о нем, несмотря на угрозы вплоть до убийства. Нарастивал количество ЧП, чем возбуждал командование. Заставил офицеров беспокоиться о его судьбе. Объявил им, что откажется жить в казарме (не дезертируя!), спровоцирует неповиновением суд над собой и в трибунале выложит все об отцовщине. В мительщпиле сообщил предводителю паханов, что в случае новых избиений прикончит его ночью в постели независимо от того, кем он, П., будет избит. Он избавился от унижений и пыток, сам их не применял и в какой-то степени улучшил климат в казарме. Не все салабоны выдерживают такую жизнь. Часты случаи самоубийства. Обычно молодые стреляются на посту, в карауле. Некоторые вешаются. Многие пытаются дезертировать. Если их ловят сразу, то отправляют снова в казарму. Там они становятся несчастными в квадрате. Те, которые пойманы не сразу, отправляются в дисбаты и тюрьмы.

Описанное мной может кому-нибудь показаться преувеличением. Мол, просто молодость военнослужащих определяет неровность их отношений друг к другу. Соберите в одно место много людей, и всегда будут какие-нибудь эксцессы. А никаких ужасов нет, и все просто детские ссоры.

Верно, многие приходят в армию незрелыми, но это только усугубляет зло отцовщины. Эти "детские ссоры" имеют плачевные последствия. А что касается преувеличения...

Описанное относится к периоду моей службы в Туркмении в 1974-76 гг. Это почти сегодняшний день. В описании дня салабона я постарался поместить все, мною увиденное. Конечно, салабон не каждый день бывает бит, но пинки дело повседневное. Не каждый день кого-нибудь везут в госпиталь со сломанными ребрами, но синяки дело заурядное. Не всякий день тело солдата отправляют в цинковом гробу родителям, но унижен салабон всегда. Все описанное — факты, разве только сконцентрированные во времени. Насколько мне известно, только в двух военных округах, московском и ленинградском, дела обстоят немного лучше. И неправ будет тот, кто скажет: "понятно, это было в Азии". Кстати, в моей части было, примерно, по 30 процентов русских, немцев и казахов. Я лишний раз убедился, что национальность не имеет никакого значения. Удивительные гады попадались среди земляков — москвичей, хорошие бывали ребята казахи.

Отцовщина носит синусоидальный характер. Когда я приехал в часть, все точно соответствовало написанному, когда я уезжал, стало немного лучше. Говорят, за год до моего приезда было лучше, а еще раньше — намного хуже. Тогда находили трупы в туалетах, люди исчезали бесследно. Такая милая деталь — паханы ездили верхом на салабонах в сортир. Можно с уверенностью сказать: отцовщина и попустительство ей со стороны командования в той или иной степени есть в любой части любого военного округа.

Может показаться удивительным — столько народу служило в армии, а правды о ней так мало известно. Почему? Стыд — вот что заставляет молчать. Как сознаться, что так был унижен и так унижал других?! Приходит домой солдат. И на все вопросы отвечает коротко: да, служил, да, трудно. Лишь тот, кто сам прошел через это, поймет, что скрывает скупость слов.

Трудно говорить о защите прав молодых солдат в армии, настолько они бесправны. Рабства просто не должно существовать, но оно есть. Здесь, рядом с вами, в стенах казарм, процветает гнуснейшее рабство. Я уже не говорю о том, что в советской армии систематически нарушаются права человека. Это и отсутствие демократических свобод, и принудительный труд, и отсутствие удовлетворительного медицинского обслуживания, и недостаток питания, и многое другое. Да и сам факт принудительной службы. Но все меркнет перед картиной почти узаконенного унижения и истязания молодых солдат.

ОБЪЯСНЕНИЕ УПОТРЕБЛЕННЫХ СЛОВ КАЗАРМЕННОГО ЖАРГОНА

Салабон. В правильности транскрипции уверенности нет, в печати слово не встречалось. Означает солдата первого года службы.

Молодой. Солдат первого полугодия службы.

Кандидат. Солдат третьего полугодия службы.

Пахан. Солдат четвертого полугодия службы. Термин явно заимствован из жаргона уголовников.

Карась. Солдат второго полугодия службы.

Пахать. Работать.

Шугать. Гонять, заставлять, репрессировать.

Борзеть. Наглеть, распускаться. Думается, гибрид борзости, т. е. собачь-

ей быстроты и церковно-славянского "борзо", т. е. сильно (зело борзо).
Дед. Солдат, на которого вышел приказ о демобилизации.
Дембель. Понятие емкое. Одновременно приказ о демобилизации, время после приказа, солдат, ждущий демобилизации или едуший домой.
Качать. В узком смысле – тренировать брюшной пресс, в широком – тренировать физическими упражнениями солдата.
Хомут. Сержант.
Обжимать. Объедать.
Учебка. Учебное подразделение.
Войска. Неучебное подразделение.
Рубон. Одновременно еда и процесс еды. Рубать – есть.
Шустрить. Ловчить, изворачиваться.
Врубаться. Понимать, привыкать к службе.
Мабуты. За транскрипцию не ручаемся. Означает облегченную форму одежды для районов жаркого климата. Не навяло ли известным африканцем Мобуту, свергнувшим Лумумбу и Чомбе?
Сынок. Синоним салабона.
На конус. Употребляется в качестве превосходной степени чего-либо.

Сентябрь 1977

Вместо справки об авторе

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОРИЗМ

Системы использования людей в качестве залога – печальный факт XX века. Широко использовали такую систему фашисты. Но и они прибегали к этому в военное время. К взятию заложников прибегают современные террористы. Но и это делается на уровне личной инициативы группы бандитов. Действия КГБ отличаются в этом отношении новизной. Она в том, что в мирное время в политических целях использование системы заложников происходит на государственном уровне.

1 декабря 1977 года мне и моему отцу, Подрабинеку Пинхосу Абрамовичу, было предложено в течение 20 дней уехать из СССР. При этом следователь КГБ Ю. С. Белов, делавший предложение, недвусмысленно заявил: "На вас, Кирилл Пинхосович, у нас достаточно материала для возбуждения уголовного дела".

Аналогичное предложение было сделано и моему младшему брату Александру. Но при этом с добавлением: уехать мы можем только все втроем. Итог: КГБ прибегло к залогу. Мой брат Александр сделал заявление для прессы о том, что он уезжать не желает, однако уедет, если я этого потребую. Требовать этого я ни при каких обстоятельствах от Александра не буду. Во-первых, это означало бы стать слепым орудием шантажа в руках КГБ, использовать созданную им ситуацию ради себя. Во-вторых, о таком не только требовать, но даже и просить для меня невозможно.

Однако я решил действовать до конца и добиваться разрешения на выезд. Отказ мне в этом — лишнее подтверждение гнусной политики КГБ относительно нашей семьи. При телефонном разговоре с Ю. С. Беловым мне было подтверждено разрешение на выезд. При повторном телефонном разговоре мне напомнили о так называемом "уговоре". При подаче документов на выезд мне заявили, что я могу уезжать один.

И вот 27 декабря меня вызвали в следственный отдел милиции. Мне предъявлено обвинение по статье 218-в в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. С меня взята подписка о невыезде. При выходе из милиции меня "случайно" встретил приехавший из Москвы следователь Ю. С. Белов. Он мне посоветовал поговорить все-таки с братом Александром о его выезде. Мол, "уговор" не выполняется, дела мои плохи, и через три дня станут еще хуже. Снова открытый шантаж!

Теперь о сути уголовного обвинения.

С каких это пор уголовникам предлагают уезжать из СССР? Если совершил преступление — надо судить. Сам факт предложения о выезде говорит о том, что материал обвинения — липа.

10 октября 1977 года в Москве и в Электростали, где я живу, была произведена серия обысков по делу № 474 Юрия Орлова. На моей работе был изъят пистолет для подводной охоты и некоторое количество мелкокалиберных патронов. Из тактических соображений я не могу комментировать факт принадлежности этих вещей кому-либо. Однако, ясно одно: этот пистолет, гладкоствольный, государственного производства, не переделанный, предназначен для подводной охоты и находился в широкой свободной продаже. В обвинении почему-то сказано, что это гладкоствольный самодельный пистолет.

При повторном обыске на моей квартире 14 октября сотрудниками КГБ были подброшены два мелкокалиберных патрона.

В последний год я принимал некоторое участие в правозащитном движении и подписывал различные воззвания и документы. Была выпущена в Самиздате моя повесть-очерк "Несчастные" о жизни солдат в советской армии. При обыске 10 октября наряду с другими самиздатскими материалами были изъяты и черновики этой рукописи.

Случай бандитского нападения на переезд, на котором я работал, в результате которого совершенно случайно пострадал не я, а другой человек, дает мне основания предполагать: КГБ хочет физически меня уничтожить. Быть может, это означает уголовный лагерь — и нож в бок в "случайной" ссоре. В любом случае мои коллеги по работе дежурить на переезде боятся. Случаи государственного бандитизма дают основания ожидать, что при следующих обысках может быть обнаружен и пулемет! Милиция этот случай нападения не расследует.

Хотя мне предъявлено чисто уголовное обвинение, меня плотно опекают сотрудники КГБ. Все дело инсценировано и явно имеет политическую подоплеку. Преследование участников правозащитного движения по уголовным статьям (например, дела Ф.Сереброва и М.Ланда) не ново. Я не боюсь справедливого судебного разбора моего дела. Однако, поскольку я обвиняю КГБ в терроризме и применении системы заложников, я не могу ожидать беспристрастного следствия и суда. Поэтому я требую рассмотрения моего дела третьей инстанцией. Это может быть международный суд или суд непристрасно заинтересованного государства или общественной организации. Суд может руководствоваться законами СССР. Я готов оказывать содействие такому следствию. Рассматриваю свое заявление как первоначальный материал для такового. Я понимаю, что в некотором роде сам выступаю в свою защиту. Однако система залога со стороны КГБ лишает меня естественного человеческого права решать свою судьбу. Надо мной висит угроза близкого ареста. Мне внушает серьезное опасение, что КГБ может поступить в отношении моего отца так же, как и со мной. Поскольку посвятить мировую общественность в суть дела я могу лучше кого-либо другого и такая возможность у меня скоро исчезнет, я и делаю это заявление.

Кирилл Подрабинек.

28 декабря 1977 года.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

М. Ланда

МОИ ОТКРЫТЫЕ ПОКАЗАНИЯ

об арестованных членах Московской Группы "Хельсинки"

Открытые показания об Александре Гинзбурге я успела написать — и передать для предания их гласности — до того, как мне пришлось уехать в ссылку (в начале июля 1977 года). В августе-сентябре 1977 г. я написала и послала (из ссылки) открытые показания о двух других арестованных членах Группы — Юрии ОРЛОВЕ и Анатолии ЩАРАНСКОМ. К сожалению, оказалось, что эти показания не были тогда переданы для предания им гласности (и, по-видимому, затерялись). Поэтому сейчас я снова пишу Открытые показания — о своих арестованных друзьях, соратниках, единомышленниках по деятельности в Группе содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР.

Анатолий ЩАРАНСКИЙ, Александр ГИНЗБУРГ, Юрий ОРЛОВ — люди, государственное преследование которых я считаю преступлением против человечности и человечества.

Это является преступлением не только потому, что уголовному преследованию подвергают заведомо невинных людей, но и потому, что:

— преследуют их именно за честную и благородную деятельность: разоблачение нарушений прав человека; за бескорыстную и самоотверженную помощь другим людям, преследуемым за попытки отстаивать человеческие права — свои или своих сограждан;

— эти преследования есть акции, направленные на моральную и юридическую изоляцию и на уничтожение именно наиболее достойных, лучших представителей рода человеческого;

— это целенаправленная деятельность советского сверхгосударства на искоренение наиболее ценных человеческих качеств: сострадания, сочувствия к другому человеку, честности, мужества, самоотверженности, сочетающихся с высоким интеллектом.

Мои открытые показания — не для советского следствия.

Очевидная задача этого следствия — при уголовных преследованиях за инакомыслие, убеждения, веру, защиту прав человека — скрыть истину, опорочить обвиняемых, сфабриковать обвинения. . .

Особенно наглядным и даже как бы нарочито демонстративным это является в процессах членов Московской и других групп "Хельсинки". Абсурдны обвинения, распространяемые государственными средствами массовой информации еще до начала или в самом начале предварительного следствия и в течение всего процесса, опорочивание обвиняемых с помощью заведомо ложных измышлений и низкопробных бульварно-базарных приемов. Применяются запугивания, угрозы и посулы с целью получения заранее заданных, "нужных" следствию "свидетельских" показаний (в арсенале поощрений за лжесвидетельства и очернение — досрочное освобождение "свидетелей", находившихся в заключении и т.д.). Анализ многих десятков допросов находящихся на воле свидетелей показывает, что следствие расследует эпизоды благотворительности, эпизоды написания и передачи открытых (и отнюдь не секретных) документов (о правонарушениях и т.п.). Однако нет сомнения, что некриминальные действия будут представлены как "особо опасные государственные преступления", — и наказаны "со всей строгостью советского закона".

Я была бы рада, если бы мои показания могли бы быть использованы на Судах и Трибуналах, организуемых за кордонами

социалистического лагеря — для доказательства невинности и высоких моральных, человеческих качеств репрессированных правозащитников: Александра ГИНЗБУРГА, Анатолия ЩАРАН-СКОГО, Юрия ОРЛОВА, которых я лично знаю, с которыми связана участием в деятельности Московской Группы "Хельсинки", совместной работой по сбору и подготовке материалов, изданию документов Группы. По существу я "виновна" — если стоять на позиции идеокритического сверхгосударства — так же, как и они.

Я обязуюсь говорить правду, всю правду и только правду.



Есть такие люди, которые не могут, не хотят оставаться безразличными к злу, к конкретным его проявлениям, особенно если они начинают понимать огромное пагубное для народа их страны и для всего человечества значение этого (конкретного) зла. И, если у них хватает честности, энергии, душевных сил и мужества, — открыто и громко говорят об этом. Таким человеком является Юрий Орлов.

Я хочу еще и еще раз подчеркнуть, что ученый, профессор, член-корреспондент Академии Наук Юрий Федорович Орлов стал диссидентом — решился на идеологический нонконформизм, на конфронтацию господствующей монопольной идеологии — не потому, что лично его чем-то обделили, обошли, обидели и т.п. (Именно озлобленность, личную неудовлетворенность, обиженность — как побудительный мотив, причину — приписывает советская пропаганда и, нередко, советская юриспруденция диссидентам. И, как правило, это не имеет никакого отношения к действительности). Наоборот, его начали преследовать, лишили работы, превратили, по крайней мере формально, в социального отщепенца — после того и за то, что он решился на идеологический нонконформизм. Отречение, осуждение своих взглядов (своего выступления в зарубежной печати в защиту академика А. Д. Сахарова) — несомненно обеспечило бы ученому Ю.Ф. Орлову возможность снова заниматься наукой в стенах государственного научного учреждения, возможность снова публиковать результаты своих исследований в журналах и научных трудах своей страны, возможность снова пользоваться вознаграждением за свою работу, научные достижения. И уже вышвырнутого с работы, вышвырнутого из официальной советской науки ученого, член-корра Ю.Ф. Орло-

ва — не "тронули" бы, не подвергли бы заключению в тюрьму и обвинению, грозящему бесконечно долгими годами неволи и тяжелых лишений, если бы он не решился на беспрецедентную конфронтацию идеологии — на создание Группы содействия выполнению Хельсинкских Соглашений в СССР.

И, конечно, не затеяли бы пропагандистскую кампанию очернения его.

Юрий Орлов, насколько я понимаю, хотел способствовать либерализации (системы?), надеялся, что это достижимо в обозримом будущем. Средствами воспитания чувства правосознания и смягчения нравов у своих сограждан, а также создания альтернативы, вынуждающей режим уважать или по крайней мере хоть как-то соблюдать человеческие права, он считал широкую гласность, честную и конкретную информацию широкой общественности о нарушениях прав человека, о бесчеловечности и жестокости, творимой государством. Он надеялся, что соответствующие международные пакты и соглашения могут и должны дать правовым государствам — признающим в свободах и правах человека непрекаемую ценность — возможность настаивать и добиваться соблюдения прав человека и в являющихся их партнерами странах социалистического лагеря, в СССР. Осуществление широкой гласности — из-за отсутствия в стране независимых от Идеологии—Государства средств массовой информации и реальной свободы слова — мыслимо только с помощью зарубежной независимой прессы, радио.

Мысль об образовании общественной Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР была, по-видимому, очень удачной находкой. На базе разоблачения нарушений прав человека, осуществляемых уже многие годы отдельными диссидентами, небольшими группами диссидентов, в частности Инициативной группой защиты прав человека в СССР и, в особенности, периодически издаваемой "Хроникой текущих событий" (девиз которой: "Движение в защиту прав человека в СССР — продолжается"), — Группа, не анонимная, опирающаяся на недавно подписанные Хельсинкские соглашения, собирающая и издающая документы о невыполнении гуманитарных положений этих соглашений, могла осуществить следующую, более эффективную стадию борьбы за права человека, за свободу и справедливость в стране, в которой мы живем.

Внимание к деятельности Группы, авторитет издаваемых ею

документов, безусловно, обуславливается также высоким моральным авторитетом ее руководителя — Юрия Орлова.

Показательно, что вслед за образованием Московской Группы и, по-видимому, по ее примеру образовались Группы на Украине, в Грузии, в Литве (а уже после ареста Ю. Орлова и многих других членов групп "Хельсинки" образовалась Группа в Армении, заявившая, что ее цель — содействие выполнению Хельсинкских соглашений).

Документы Групп "Хельсинки" не только привлекли внимание заметного количества людей в СССР и общественности демократических стран Запада, — они стали также рассматриваться официальными политическими деятелями этих стран, главами государств как серьезные свидетельства неблагополучия в области прав человека.

Это не могло не вызвать и действительно вызвало соответствующую реакцию: идеологическое государство ответило кампаниями клеветы, угрозами, новыми многочисленными арестами, абсурдными обвинениями и вопиюще жестокими приговорами.



С Юрием Федоровичем Орловым я познакомилась в конце 1974 года. Он как раз вернулся из Еревана, куда ездил вместе с членом Инициативной группы защиты прав человека в СССР Татьяной Ходорович на суд над Паруйром Айрикяном, уже вторично судимом по обвинению в "антисоветской агитации и пропаганде".

Примерно с этого же времени Юрий Орлов принимает живое участие в судьбе узника совести Леонида Плюща, находившегося на принудительном "лечении" в Днепропетровской спецпсихбольнице, в судьбе только что арестованного известного правозащитника, члена Инициативной группы защиты прав человека в СССР Сергея Ковалева. (С. Ковалеву инкриминировалось также издание нескольких номеров "Хроники текущих событий"), а также ряда других несправедливо гонимых — за мысль, за веру, за слово, за убеждения.

Юрий Орлов как-то сразу располагает и привлекает простотой, непосредственностью и удивительной деликатностью обращения: отзывчивостью, готовностью помочь; способностью быстро схватить, уяснить суть дела и ясно, четко сформулировать, изло-

жить мысль. Улыбчивый и открытый человек — убежденный сторонник свободы и справедливости.

Нередко, получив новые сведения о вопиюще тяжелом положении политзаключенных, издевательствах и жестокостях администрации, о голодовках и других значительных акциях протеста, осуществляемых узниками совести, я шла к Юрию Орлову. И он не оставался безразличным, безучастным. Результатом были исходящие от нас сообщения о происходящем, открытые письма, заявления.

В то время, когда мне довелось общаться с Юрием Федоровичем — конец 1974, 1975, 1976 и до его ареста 10 февраля 1977 года — он уже не работал в каком-либо государственном учреждении (был уволен в 1973 г. после письма в защиту академика А.Д.Сахарова, направленного Брежневу и в газеты "Правда" и "Известия"). Однако — продолжал заниматься научно-исследовательской деятельностью в области физики элементарных частиц: в этот период им написаны научные работы, опубликованные за рубежом и одна даже в СССР.

Успевал Юрий Орлов много и многое, очевидно, не только благодаря своей большой энергии и талантам, но и вследствие замечательной собранности, организованности. Время свое он довольно строго регламентировал: определенные дни и часы — для научно-исследовательской работы; раз в неделю — научные семинары.

Его маленькая двухкомнатная квартира вмещала в эти вечера множество людей. Семинары посещали крупнейшие специалисты в различных областях науки: и те, кто пользуется привилегией работать в государственных учреждениях (институтах) по специальности; и изгнанные с работы — либо после заявления-просьбы о разрешении выехать из страны ("отказники"), либо за выступления, статьи, выражающие недопустимые в стране мнения, взгляды (например, доктора наук В. Турчин, И. Мельчук, опубликовавшие в зарубежной прессе статьи в защиту академика Сахарова, и другие). Прийти на семинар мог каждый, независимо от наличия у него научных степеней.

Были также дни и часы, отведенные для занятий со школьниками, абитуриентами, студентами: частные уроки были основным источником скромных доходов Юрия Федоровича.

Судя по вопросам, которые задаются многим допрашиваемым по "делу" Орлова (на предварительном следствии), государ-

ственная безопасность чрезвычайно обеспокоена проблемой: на какие средства жил Ю.Ф. Орлов. Ответы многих допрашиваемых: "Давал уроки, жил очень скромно", — очевидно, не те, которые нужны госбезопасности.

В беседе, которую чины КГБ Москвы и Московской области провели с моим сыном в конце ноября 1976 г., за 2,5 месяца до ареста Юрия Орлова, было сказано, что руководитель Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР — Юрий Орлов, бы в ш и й член-корреспондент Арм. Акад. Наук, *нигде не работает и неизвестно на что живет*. (!) (Сотрудники КГБ заявили в этой беседе моему сыну, что он должен воздействовать на меня, чтобы я прекратила свою "деятельность" в Группе, называющей себя Группой содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Как известно, я не отказалась от "деятельности", и . . . 18 декабря 1976 г. сгорела моя комната и все, что в ней находилось, в том числе материалы и документы Группы).

Юрий Федорович успевал отдыхать, успевал читать, успевал интересоваться искусством. В числе его друзей и знакомых — писатели, поэты, художники, члены и нечлены соответствующих государственных союзов. Успевал заниматься спортом (лыжи — одно из его увлечений).

Однако, у него всегда было также время — казавшееся неограниченным — энергия и душевные силы — просто для общения с людьми . . . Для встреч с теми, кто нуждается в его помощи, совете. Для того, что можно, по-видимому, назвать гражданской, общественной деятельностью. (На языке советской пропаганды и советской юриспруденции такая деятельность трактуется как "антиобщественная", а нередко также как "особо опасное государственное преступление", "подрыв" советской власти-государства или же даже "измена родине". . . А понятия "общественная", "гражданская" деятельность — до неузнаваемости извращены и опошлены той же пропагандой и их стало как-то неудобно употреблять без специальных оговорок).



В середине мая 1976 года образовалась Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Руководителем ее стал Юрий Орлов. Членами ее в момент образования были: Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Александр Гинзбург, Петр

Григоренко, Александр Корчак, Анатолий Марченко, Виталий Рубин, Анатолий Щаранский. Через несколько дней я также стала членом Группы.

Когда мне предложили войти в Группу, я сначала колебалась: декларация, сделанная при ее образовании, является, как мне кажется, неоправданно оптимистической, создает впечатление о наличии в стране некоторых демократических свобод, о возможности непосредственной реализации, в частности, с помощью Группы, некоторых прав и свобод, хотя бы в отдельных случаях. Я вступила в Группу, сделав особое заявление.

Вскоре после объявления (по западному радио) об образовании Группы Юрий Орлов был схвачен на улице сотрудниками КГБ, когда он вышел из своего дома проводить друзей. Его схватили на глазах у всех нас в яркий солнечный день и поволокли к стоявшей неподалеку машине. Это произвело на меня впечатление бандитского нападения. В отделении КГБ ему было сказано: если Группа будет существовать — его привлекут к уголовной ответственности.

В дальнейшем состав Группы менялся: эмигрировали В. Рубин (июль, 1976 г.), Л. Алексеева (февраль, 1977 г.); перестали участвовать в деятельности Группы М. Бернштам (с июня 1976 г.), А. Корчак (с января-февраля 1977 г.).

Арест наиболее способных и деятельных участников Группы — Юрия Орлова (10 февраля 1977 г.), Александра Гинзбурга (3 февраля 1977 г.), Анатолия Щаранского (15 марта 1977 г.) — безусловно, можно рассматривать как разгром . . . Важно, однако, отметить, что — несмотря на эти невосполнимые потери (большой потерей был и отъезд Л. Алексеевой), несмотря на все остальные обстоятельства — Группа продолжала и продолжает существовать. И в этом я также вижу заслугу Ю. Орлова.

Юрий Орлов был душой Группы. Он никогда не проявлял себя как диктатор, "лидер" или наставник: никогда не диктовал, не навязывал своих мнений или решений. В то же время каждый из нас высоко уважает и ценит его ум, его терпимость, такт, его бережное отношение к друзьям. Это человек, встречи, общение, совместная работа с которым доставляла много радости.

После образования Группы мы встречались с Юрием Орловым часто. Нередко это были встречи нескольких или многих членов Группы, почти всей Группы (к сожалению, отсутствовал Анатолий Марченко, находившийся в ссылке). Встречи — неиз-

менно дружные и плодотворные. Такими же всегда были и наши споры, обсуждения подготавливаемых документов.

Каждый документ обычно подготавливался одним-двумя членами Группы, а затем обсуждался всеми (всеми, по крайней мере, кто его подписывал).

В связи с этим я хочу заявить об особой своей ответственности за документы о положении политзаключенных и бывших узников совести.

В наших документах мы неизменно стремились говорить — писать Правду, правду и только правду.



До февраля-марта 1977 года были подготовлены и изданы документы, разоблачающие вопиющие нарушения прав человека, а нередко также и элементарной человечности — то есть выполнение элементарных статей Хельсинкских соглашений. Эти документы охватывают различные области жизни в нашей стране:

1. Условия содержания политзаключенных, узников совести:

а) Документ, характеризующий плохое питание, в ряде случаев — пытки голодом, а также холодом, бессонницей и другие; жестокие наказания (вплоть до пытки карцером) и некоторые другие аспекты недопустимо тяжелых условий и жестокого обращения с заключенными.

б) Документ о содержании в заключении, а также в ссылке лиц, страдавших тяжелыми хроническими заболеваниями и нуждающихся поэтому в немедленном досрочном освобождении.

В обоих документах названы десятки политзаключенных.

2. Положение узников совести после отбытия назначенного приговором наказания (два документа).

Сообщается о чрезвычайных ограничениях в выборе места жительства, о дискриминации в отношении работы; в частности, о неоговоренном законодательством запрете на профессии, увольнениях даже с самой непривлекательной работы, вынужденной безработице и — преследованиях за то, что не работает, за "тунеядство". Об установлении гласного надзора милиции, лишшающего поднадзорного элементарнейших человеческих свобод, и преследованиях, обусловленных этим надзором. И т.д. и т.п. (Описано около десяти примеров).

3. Положение верующих. В частности, положение групп, об-

щин верующих (пятидесятников, баптистов, адвентистов и др.), не желающих регистрироваться — поскольку условия регистрации предусматривают отречение от важных установлений исповедуемой религии, а также принятие непосредственного контроля, чуть ли не руководства со стороны соответствующих государственных органов, то есть со стороны демократического государства, важным элементом идеологии которого является воинствующий атеизм.

Приводятся данные о произволе властей, о преследованиях верующих, принадлежащих к незарегистрированным общинам. В частности, сообщается об угрозах лишить родительских прав, отобрать детей и о некоторых случаях реализации этой угрозы. Как противоречащий Декларации прав человека, Хельсинкским соглашениям оценивается закон, требующий от родителей воспитания детей "в духе морального кодекса строителя коммунизма" и предусматривающий отбирание детей в случае несоблюдения этого требования.

4. Положение одной маленькой национальности, крымско-татарского народа, подвергнувшегося (в числе ряда других) еще в годы правления Сталина геноциду и продолжающего существование в условиях дискриминации. Большое внимание Группа уделяла судьбе преследуемого представителя этого народа, борца за его права, Мустафы Джемилева.

5. Условия эмиграции. Эмиграция евреев и неевреев в Израиль. Эмиграция немцев (подвергшихся в годы войны геноциду) в Западную Германию. Эмиграция преследуемых верующих.

Приводятся сведения об ограничениях и препятствиях, чинимых в большом количестве случаев лицам, желающим эмигрировать. Многие, ходатайствующие о разрешении покинуть страну, — получают отказ, обычно по надуманным, абсурдным причинам.

6. Обстановка в сфере контактов между людьми. Частная переписка. Телефонные разговоры. Непосредственные контакты. Обмен информацией и идеями.

В специально посвященных этому документах (или попутно) приводятся данные о попытках властей пресечь обмен информацией и идеями (в частности, когда этот обмен является причиной уголовных преследований, с обвинениями в "антисоветской агитации и пропаганде" или в "распространении заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй", а также с обвинениями в совершении тех или иных уголовных преступлений, вроде хулиганства и др.), препят-

ствовать контактам между людьми, особенно преследуемыми по идеологическим мотивам. Издан документ, содержащий длинный список владельцев телефонов, отключенных за то, что по ним велись разговоры с лицами, находящимися за рубежами страны — разговоры, "наносящие ущерб" советскому государству. Сообщается о фактах перлюстрации писем, по-видимому, широко практикующейся, о фактах пропажи писем, недоставления их адресатам (т.е. кражи писем госбезопасностью). Это касается переписки внутри страны, переписки через ее кордоны. Особо отмечается катастрофическая ситуация с корреспонденцией узников совести, "обосновываемая" секретными инструкциями по цензуре, конфискация писем, например, за "недопустимые выражения", за "условности" и т.д. и т.п.; а также просто "пропажа" корреспонденции, ставшая обычным явлением.

В конце июля 1976 г. Группой издан документ, оценивающий состояние выполнения в СССР гуманитарных статей Хельсинкского Соглашения — за год, прошедший после подписания этих Соглашений.

В частности, приводится список лиц (вероятно, неполный), арестованных по политическим мотивам уже после подписания Хельсинкских Соглашений, указывается на суды и жестокие приговоры — за правозащитную деятельность — лицам, арестованным еще до подписания Заключительного Акта. Лица, осужденные за убеждения, продолжают отбывать свои приговоры. Отмечается еще большее ужесточение режима и условий содержания узников совести. Подчеркивается, что администрация стала применять еще большие усилия для предотвращения "утечки" (передачи) информации за кордоны лагеря, за стены тюрьмы. Приводятся факты, свидетельствующие о том, что отсутствует какая-либо либерализация в области эмиграционной политики (в то же время некоторые отказы мотивируются ссылкой на Хельсинкское Соглашение: власти не хотят "разъединять" семью).

В итоговом документе делается вывод, что в течение первого года после подписания Хельсинкского Соглашения власти не проявили намерения выполнять обязательства, касающиеся прав человека.

Группой также подготовлены документы:

1. О водворении в психиатрическую больницу диссидента В. Борисова в рождественские каникулы, накануне нового 1977 года.

2. Документ об обысках у членов Украинской Группы "Хельсинки".

3. Подробные материалы об обысках, проведенных в первых числах января 1977 г. на квартирах у членов Московской Группы — А. Гинзбурга, Ю. Орлова, Л. Алексеевой и близкой к Группе Л. Ворониной (недавно вернувшейся из поездки на Дальний Восток, г. Находка, в общину преследуемых пятидесятников). Материалы, включающие копии протоколов обысков, свидетельствуют о том, что изымались машинописные и рукописные тексты — документы Группы, а заодно и художественная литература, пишущие машинки и транзисторные приемники, магнитофоны, фотоаппараты, а также — деньги — обычные советские денежные знаки. Особо отмечается, что при обыске у А. Гинзбурга была подложена и "изъята" иностранная валюта (хранение таковой — по советским законам — серьезное преступление).

В январе 1977 г. члены Московской Группы совместно с членами других Групп "Хельсинки" и рядом других диссидентов — участников борьбы за права человека — заявили, что не приемлют насильственные методы борьбы, категорически осуждают любые террористические акты, что бы они ни выражали и какова ни была бы их цель.

Непосредственным поводом этой декларации послужили некоторые инсинуации советской пропаганды, позволявшие опасаться, что власти намерены взрыв в метро (происшедший в первую декаду января) приписать "диссидентам".

Заявление было передано западным корреспондентам на пресс-конференции, состоявшейся на квартире Юрия Орлова при участии многих из тех, кто его подписал.

В конце января 1977 г. была пресс-конференция в связи с опубликованием в центральной советской газете ("Литературная газета") статьи, приписывающей Александру Гинзбургу, Юрию Орлову и еще нескольким известным правозащитникам различные недостойные моральные качества, а также деяния, караемые в СССР как тяжкие уголовные преступления (например, хранение иностранной валюты и передача ее другим лицам). Статья подписана Петровым-Агатовым, бывшим политзаключенным, находившимся в советских тюрьмах и лагерях в общей сложности более 20 лет. Участники пресс-конференции — бывшие политзаключенные — союзники автора статьи, а также представители московской общины баптистов (в которую после своего освобождения в 1975

году вступил Петров и из которой он затем вышел, снова и снова, в который уже раз, изменив свое вероисповедание) — рассказывали об Ал. Петрове как о человеке, пытаясь осмыслить причину его падения.

Как известно, Группа направляла (и направляет) все свои документы главам всех 35 государств, подписавших Хельсинкское Соглашение. При этом она исходит из посылки, что государства, подписавшие эти соглашения, должны выполнять взятые на себя обязательства, а также должны быть заинтересованы в выполнении всех пунктов Соглашения всеми странами-участницами.

Приводя сведения о несоблюдении прав человека, об актах бесчеловечного обращения и жестокости — т.е., свидетельствуя о фактах несоблюдения гуманитарных статей Хельсинкских Соглашений, — Группа буквально в каждом своем документе призывает к всесторонней проверке, исследованию этих явлений независимыми и компетентными международными комиссиями.

Немецкое Общество Защиты Прав Человека

Общество

- поддерживает людей, борющихся в тоталитарных странах за осуществление принципов Всеобщей декларации прав человека,
- оказывает материальную и правовую поддержку людям, лишенным свободы за их религиозные, общественные или политические убеждения,
- посредством различных публикаций информирует общественность Федеративной Республики Германии, Австрии и Швейцарии о борьбе за гражданские права в тоталитарных странах. Периодически публикует материалы Самиздата.

Председатель Общества прав человека

проф. Хельмут Ницше

Зам. председателя И. Агрузов

Наш адрес:

Gesellschaft für Menschenrechte e.V. Kaiser Str. 40 Postfach 2965

6000 Frankfurt/M. 1. Tel. (0611) 23 69 71.

Bundesrepublik Deutschland.

П. П.

ДА, ЦИРК!

”Произвол”, ”бесправие” и ”беззакония” могут существовать и как СОБЫТИЯ и как БЫТ. Мы живем в условиях бес- и против-правного БЫТА, но мыслим в категориях ОТДЕЛЬНЫХ АКТОВ ПРОИЗВОЛА, ОТДЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА. И дело не в том, конечно, что наше политическое правосудие на 100% состоит именно из таких ”единичных актов”. Дело не в массе, а в том, — ЧТО СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ СОБЫТИЯМИ.

”Фарс”, ”судебный спектакль”, ”право на бесправие” — это не события, а простейшие, повседневные единицы, сумма которых — НОРМА. События — не они. События суть градации АНТИПРАВОВОЙ НОРМЫ, ступени ее саморазвития, ее НОВОСТИ.

С этой точки зрения суд над Орловым — событие даже в наших условиях. Вернее, именно в наших условиях он и событие, тогда как в рамках мышления ”ОСУЖДЕНИЕМ АКТОВ ПРОИЗВОЛА” (западно-либерального в том числе) в нем нет ничего особенно странного, ничего нового, ничего необычного — еще одно попрание вечных прав человека ”в этой жуткой стране, где GULAG”. Отсюда кажущаяся нам оскорбительной сдержанность западной реакции на суд.

Можно ограничиться этой констатацией разлада между по-

ниманием с "этого берега" (пониманием шкуры) и непониманием "с того" (где поверх шкуры — хорошо пошитый костюм). Это, в конце концов, пошло: и легко сводится к неверной максиме, делящей мир на поротых и "не-". И с этим в Париже, пожалуй, гуманно вздохнув, согласятся.

Но ведь и в нас был тот же разлад. И в нас он похлеще и поопаснее. Если "тамошнее" непонимание, в конце концов, только обидно, то наше, с е б я н е з н а н и е — в конце концов просто опасно. Мы обязаны разбирать в фактах — что фарс, а что событие. **ЧТО ЖЕ ЗА СОБЫТИЕ — ЛЮБЛИНО?**

1) Не просто "цирковое представление", где все "заранее предрешено". У нас всегда все "заранее предрешено" (и в репрессиях и в экономике), но это не значит, что и течет по тому же, разрешенному. Налицо **ЖЕЛАНИЕ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ НАМ ВСЕМ, ЧТО — ДА, ПРЕДРЕШЕНО! ДА, ЦИРК! КАК ЗАХОТИМ, ТАК И БУДЕТ!**

2) Не просто "нарушение всех норм правосудия — даже советского". Когда захотят, когда найдут нужным — могут продемонстрировать "соблюдение норм": и засудить. Наоборот — довольно тонко рассчитанная (не переходя известной грани, как обязательно не удержались бы, например — киевское судебное хамство), **ДЕМОНСТРИРУЯ НАРУШЕНИЯ В НОРМАХ**. Можно сравнить с нападением ряженых "хулиганов" в парке, где один, к примеру, разыгрывает "агрессивного", а другой — "миротворца". На суде в Люблино удовлетволялись демонстрацией возможностей — аудитория была вся "своя" (но все же без транспарантов "До конца разорим вражеские гнезда!"). Судья очень аккуратно разыгрывал натурального хама (но — без антисемитских шуточек). Будь не та установка *плюс* (не надо все сводить к "установке"! — не то "веяние времени" — и тот же состав суда показал бы известную сдержанность, изредка прерываемую отрыжкой).

3) Замысел организации хода суда не "расчет на безнаказанность". Замысел рассчитан **НА ЭФФЕКТ, НА ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ХОДА ПРОЦЕССА И ПРИГОВОРА**: "здесь" и "там". Он лишь во-вторых против Орлова, а во-первых — он **ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ** (в показательность его входит и полная герметическая закрытость: он *показательно закрытый*). Глубину мозгового замысла не надо преувеличивать, — интрижка на высшем уровне, мелкий ход с "мировыми" прицелами, но дураки сами собой, а подкорка

у всех этих злобных дураков одина, и "великие планы", которые в ней носятся — перемахивают дурацкие представления отдельных дураков.

Замысел — провокация. Замысел — проба сил. В замысел (тем же, безмозглым путем) входят и громкие апелляции к Западу и их полуполезность. Безмозглость прежде инакомыслия ("чутьем") поняла ГРАНИЦЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ДАВЛЕНИЕ ИЗВНЕ: в т.ч. и такую границу, что *либерализация* по определению может быть лишь идущим извне (давление сверху или давление извне на верха) процессом.

4) "Какотреагирует на это вопиющее . . . западное общественное мнение и правительства свободного мира?" — Это вопрос не ложный, а просто досужий. Как-нибудьотреагирует, конечно. Кто-нибудь как-нибудь на что-либо всегда реагирует. Но если говорить о событии, каким является суд над Орловым, человеческий, моральный и духовный масштаб события создается твоей и моей способностью разглядеть этот масштаб в газетном "факте", способностью НЕ ОТРЕАГИРОВАТЬ НА ФАКТ, а УЗНАТЬ СОБЫТИЕ И ОТВЕТИТЬ ЕМУ. ("Ответственность" в данном случае не прихотливая добродетель, а прямое отглавленное существительное — итог всего поведения, а не предписание ему).

От нас ожидают именно "реакции". Внутренняя реакция мгновенна, а снаружи на подхвате милиция и так далее. Но между нутрянной невыносимостью — и руками — мозг. Он годится не только на то, чтоб стоять чувство-непроницаемой переборкой, роговоя. Суд над Юрием Орловым — порог новой общественной реальности, в которой мы так или иначе будем жить и действовать. Надо быть готовым к тому, что сегодняшние слова лишатся своих значений, и крупно расставленные точки над "и" провиснут в моральной пустоте.

. . . Посередине улицы два рабочих катят тарихтелку с моторчиком на бензине. За нею остается ровная белая линия быстро сохнущей краски. Пусть даже это Мировой город и Всемирная тарихтелка — линия посередине все же не доказательство, что справа от нее Право, а слева — Криво, справа — Запад, а слева — Восток, справа Европа, а слева Люблино. И даже если у рабочих есть на то соответствующие удостоверения, я сомневаюсь в глубокомыслии быстро сохнущих предназначаний.

МЫ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ ВИДЕТЬ

Облако синей пыли владеет дорогой, облако бесформенное, заплывшее, обрюзгшее, но еще сохраняющее страшную энергию разрушения, поглощения, растворения всего, к чему прикоснется его пульсирующая, вздрагивающая оболочка. Кажется, не будь этой искусственной преграды — живого коридора из двух шеренг, выстроенных на обочине людей — потечет оно по улицам нашего города, превращая в синюю пыль наши уютные похожие на утюги дома, зеленые скамейки и посаженные для здоровья наших детей деревца в парках и скверах, сомнет строгие очертания исторических площадей. Конечно, каждому известно, что стоять он должен спокойно, достойно, оберегая четкую линию шеренги, с воодушевлением глядя прямо перед собой. . . Но когда эта синяя громадина наплывает то на левую, то на правую шеренгу и в зыбкой колеблющейся субстанции исчезают целые звенья составляющих цепь людей, кое-кто не выдерживает и начинает, не сходя с места, отклоняться всем телом назад, размахивать руками, беззвучно разевать рот, ответственным за порядок с трудом удается привести строй в надлежащий вид. Конечно, каждому известно, что исчезнувшим в недрах синего облака должно быть хорошо и приятно, да положи руку на сердце, даже зная это, так ли легко променять обжитый и привычный мир на нечто пусть хорошее и приятное, но неизвестное и неведомое. Ведь так?

Если не размахивать руками, не волноваться и не разевать рот, а стоять спокойно и не мигая смотреть прямо перед собой, то можно увидеть кое-что внутри облака. Например, огромную морду осла можно увидеть или блестящие золотистые воздушные шаррики, а вглядевшись еще пристальней, можно прочесть и слова, начертанные на этих шариках, скажем слово "мыло" можно ясно различить среди прочих слов. Конечно, трудно увидеть осла целиком, но хвост, его хвост можно увидеть. И никакого сомнения в том, что это хвост осла, быть не может, ведь держась за хвост, следуют за ослом все пятнадцать мудрецов, их ровно, ровно пятнадцать, и в этом также никакого сомнения быть не может! Правда, трудно понять, куда они смотрят и видят ли чего-нибудь, да и можно ли вообще желать что-нибудь видеть, находясь в самом синем облаке? Заканчивается нынешний цикл движения облака, за-

канчивается, и оно уплывает в другие города, владеть другими городами, с шеренгами других людей. . .

Восстанавливается надлежащий порядок в шеренгах и восполняются образовавшиеся только что пустоты, прекращаются всякие отклонения, шевеления и размахивания руками, все стоит достойно и спокойно, глядя прямо перед собой и выполняя подаваемые команды. Чувствуется, что скоро последует информация об окончании праздничного шествия и можно будет расходиться по домам.

В начале улицы появляется человек с укрепленной на голове керосиновой лампой. Зажжен фитилек керосиновой лампы, но не в этом суть — человек тащит маленького крестина, держа его крепко за руку (а в другой руке человека — целлулоидная кукла с оторванной головой). Право, тут трудно удержаться от смеха: маленький крестин вырывается, подпрыгивает, пытается укусьить за ухо человека с керосиновой лампой, нелепо дергается его голова, он взбрыкивает в воздухе коротенькими кривыми ножками и выделяет всякие фортели. . .

И снова нарушается порядок в шеренгах, но совсем иначе нарушается, чем некоторое количество тангров времени назад, все давятся от гогота, взвизгивают и хрюкают от восторга, пихают друг друга локтями и пальцами тычат в маленького крестина (и ответственные тоже смеются, и бездействуют маленькие молоточки в их руках), и порядок в шеренгах уже не восстанавливается. . .

А человеку с керосиновой лампой и маленькому крестину надо идти, идти вперед, пока не кончатся эти шеренги корчащихся от смеха людей; не видно конца пути — их ждут другие города, другие дороги (которыми владеет облако синей пыли), другие гогоущие шеренги. . .

Ах, как неловко, как стыдно. . . Кому и перед кем — встает вопрос? Но там, где не должно быть ясности, она вдруг выпирает сама собой. Человеку с керосиновой лампой стыдно и неловко перед маленьким крестином. . .



Мы ничего не должны видеть.

Зеленый у зеленого дома правосудия забор, товарные составы, блюстители порядка, представители общественности — вот и вычерчен маленький пяточок, загончик для непредставителей об-

ственности. Спокойно-выдержанно-благонамерены непредставители, они не повышают голоса и не делают резких движений, молчат, когда представители поливают их грязной бранью. . . Всем известны правила игры, тех, кто вякнет, тех, кто нарушит, сволокут в участок: в лучшем случае — штраф, 15 суток, в худшем — сопротивление представителям власти (190 ст. УК РСФСР). Да и так находиться здесь без распоряжения кгбмилициипарткомаместкома — невиданная для нас смелость, тяжкий грех, нарушение всем известных, неписанных заповедей кодекса поведения советского человека. Деловиты и сосредоточены лица людей с киноаппаратами, снимают в открытую — блюстителю не будут выбивать из рук аппаратуру (это ведь не западные корры), расступятся, чтобы не мешать — люди работают, нельзя пропустить ненароком хотя бы одного непредставителя. . .

Мы ничего не должны видеть.



Ничего. . . Знакомо, понятно, затвержено с детства. Привыкли не удивляться.

Когда потеряют значенье

Слова и предметы. . .

Этого "когда" в жизни моего поколения не было, оно теряется в провалах истории, в сплошном провале истории. Мы проходили по могильным холмикам, по братским могилам 20-х, 30-х, 40-х, 50-х. . . Мы ничего не должны были видеть кроме массивных, пестрораскрашенных надгробий: индустриализация, коллективизация, 1-ая пятилетка, 2-ая пятилетка. . . Мы не должны были знать, что там под нами, и даже когда хрустели под ногами черепа и берцовые кости, мы должно были смотреть только вперед, в светлое будущее. Наша память, вырванная из живой ткани исторического времени, кровоточит. Обессилеть от потери крови или делать все, чтобы рана зарубцевалась и память стала одним уродливым рубцом? Значит, мы ничего и не должны помнить! И непонятно, чему удивляться: всенародному бесчувствию и беспамятству или тому, что не стали бесчувственны и беспамятны поголовно все.



Подкатывает огромный фургон со жратвой: перерыв, пора кормить представителей общественности, потрудившихся в зале суда (говорят, приличная жратва, не хуже, чем на съезде). Ну, что ж, они славно поработали (визжали, гоготали и хрюкали, чтобы

заглушить те слова Орлова, которые не были оборваны судьей), надо подкрепиться и набраться сил (встретить овацией и криками "браво" приговор)...

Открылись двери, и потянулись они из зала суда гуськом, отгороженные от представителей спинами блюстителей. Я не увидел их глаз, я даже "выражения" лиц не разглядел, смыто было "выражение" в провале безучастия; они брели пустые и безразличные, как звери, отработавшие свой номер. Удачно выполнены все трюки, съедены все лакомые кусочки, пора в клетку дрессированным представителям общественности — дрессированным токарям, дрессированным малярам, дрессированным научным работникам (неясность, непонимание, возникающее в ругани вокруг "прав человека" связано, по-моему, с тем, что до западников никак не может дойти, о каких правах говорят наши дипломаты и идеологи, а они говорят о правах дрессированного человека, эти права нашим обществом и в самом деле обеспечены). Я не знаю, устроила ли публика овацию тем подонкам из КГБ, которые волокли жену Орлова по коридорам дома правосудия. Если была на то команда дрессировщика — то, конечно, устроила. Не сомневаюсь также, дрессированные представители охотно присоединились бы к трем особям мужского и трем особям женского пола из подвида *homo surrogatus*, которые выламывали Ирине руки и перетряхивали ее нижнее белье.

15 месяцев расписывался подробный сценарий этого фарса, по этому сценарию нам, стиснутым в загончике у зеленого забора, ничего не должно было видеть. Да разве спрятать ослиные уши...
◆

Третий день, для нее — третий день пытки, третий день в окружении освиневших харь и рож, третий день мелких издевок, угроз, прощупывания и проглядывания, неотступного внимания филеров (а надо быть сосредоточенной и отключиться от мерзкого фона, надо запомнить, как можно более подробно запомнить все, что будет говориться здесь), третий день, закончившийся хамской незаконной процедурой личного обыска — как будто всего остального было не через край (здесь проступают черты патологической жестокости, ненависти, садизма, проявляется самая сущность нашей власти).

Впрочем, третий день закончился не этим шмоном, на его разломе — эти страшные мгновения, когда Ирина рассказывала о

том, что было сегодня в зеленом доме правосудия (в ее глазах была боль, а губы дрожали, но она была прекрасна в этот момент, ей-Богу, прекрасна — сама женственность и грация; съезжались блюстители и представители, по крайней мере, вот в эти минуты — потом, когда магическое действие этих мгновений ослабло, врубили сирену — их не было видно и слышно). И не сразу сложился смысл в услышанном, но когда сложился, меня обожгло стыдом за то рыбе благоразумие и хладнокровие, с которым мы терлись в загончике у зеленого забора.

17 мая 1978 (Люблино, у здания суда) — 26 мая.

СПАСИТЕ КЛАЙДА!

Сын арестованного рабочего-грузчика Юрия Гримма (члена редколлегии "Поисков") — 19-летний Клайд — тяжело болен. У него, как утверждают советские врачи, цирроз печени. Однако точный диагноз не установлен. Болезнь тем не менее прогрессирует и в советских условиях не поддается лечению. Состояние Клайда такое, что ему грозит смерть.

Спасти его могут только высококвалифицированные и заинтересованные в его излечении врачи демократического мира.

Ввиду этого мы просим либеральную общественность Запада обратиться к советским властям, чтобы они разрешили Клайду срочно выехать за границу для лечения.

П. Абовин-Егидес, А. Амальрик, Ю. Белов, В. Белова, Б. Вайль, Е. Габович, А. Гинзбург, З. Григоренко, П. Григоренко, Г. Давыдов, Н. Драгош, А. Жолковская, К. Любарский, В. Малинкович, Е. Николаев, Т. Николаева, С. Пирогов, Г. Салова, Т. Самсонова, А. Сейтмуратова.

Георгий Владимов

ЛИК ВСЕГО НАРОДА?

О процессе Александра Гинзбурга

— Здесь стоит жена осужденного, — крикнул им Сахаров, — будьте же хоть раз в жизни людьми!..

И этот вскрик, столь страшный по смыслу, нисколько их не ошарашил. Тотчас нашлась с ответом девица вертлявая и с порочным личиком, в лаконичной сверх предела юбчонке, в калужских кругах известная как "показательная воспитанница детской комнаты милиции":

— Мы-то вот люди, а вы кто? — И дальше уже по инструкции: — Нам стыдно за академика Сахарова!

Мы и они стояли по разные стороны ворот, из которых должны были вывезти осужденного, и они реготали, ржали тем смехом, какой возникает при виде пальца, — над чем же? Как ловко они нас провели! В руках у нас были цветы, мы хотели их бросить под колеса "воронка" с привычным уже скандированием "А-лик! А-лик! А-лик!"; и эти цветы хранились в прозрачном полиэтиленовом мешке с водой и были розданы в последние минуты, — и тут, кстати, выдали себя все примазавшиеся, втесавшиеся, изображавшие "сочувствующих": от цветов они отказались, этого инструкция то ли не предусмотрела, то ли не могла позволить — даже в целях маскировки. Однако ж и они приготовили свою "новинку".

За три дня мы привыкли, что "воронок" этот (не черный, как в песне поется, а серовато-розовый) вылетает стремительно,

и тут же срывается и мчит за ним с порывистой сиреной оперативный желто-синий газик. Но вылетел — какой-то другой, без сопровождения, с одним лишь водителем в кабине, — у нас не было уверенности, но бросили цветы и под него, все-таки проскандировали. Это и было начало их розыгрыша, а самая кульминация наступила, когда у второго "воронка" так же театрально неожиданно распахнулась задняя дверка и подбежавшие дружинники показали нам, что в нем везут — порожние бутылки из-под кефира.

— А вы — "Алик, Алик!" Вот вы кого с цветами встречали. Подберите ваш мусор.

Уже давно истожились наши с ними дискуссии: кого мы тут цествуем цветами, и чем это нас не устраивает советская власть, и какого рожна нам еще нужно, "борцам справедливости", уже посышалось — и все чаще раздавалось — слово "стрелять", и вот некто, явно нагрузившийся, ступив с тротуара и выпятив живот, обвел наши ряды блаженным и оценивающим взглядом.

— Эх! Хорошо встали! Щас бы вас всех из автомата — одной очередью.

— В своих попадешь, — сказал ему кто-то из наших. — Тут и ваши стоят на этой стороне.

— Никогда! — воскликнула страстно "показательная воспитанница". — Никогда мы не встанем на вашу сторону.

Свой фортель с "воронками" они могли проделывать до бесконечности, и мы двинулись восвояси под накрапывающим дождем по улице, закрытой для проезда всех машин, кроме оперативных. Двинулись и они — параллельно, временами приближаясь и все же не смея переступить незримую, но указанную им черту, — и все ржали и выкрикивали свои оскорбления.

Все эти гогочущие, глумливые, неподдельной злобой исковерканные лица — это он и есть, лик моего народа? Это за него бороться нужно? Это ради него жертвовали профессией, любимым делом Сергей Ковалев, Андрей Твердохлебов, Юрий Орлов, платили свободой, да вот и Александр Гинзбург в третий раз за решетку идет, за проволоку? Стоит ли? Нужна ли противникам нашим другая участь, они так довольны своею!

А ведь далеким предкам их свойственно было сострадание — даже и к государственному преступнику, — как же отвердели, окаменели потомки! А что стало бы, если кто-нибудь из них оказался "мягкотелым вырождаком"? Когда обращался к публике

Сахаров с просьбой кому-нибудь выйти, уступить место жене, а публика смотрела на него из окон второго этажа — тупо, равнодушно, вовсе без всякого выражения, мертвецы, почему-то расположившиеся вертикально, — вдруг бы кто-нибудь ожил, вышел бы, уступил? Вдруг бы комендант суда, предупредительный и непреклонный, презрел бы свои функции и пропустил бы Арину в зал — хотя бы на время чтения приговора? Да хоть бы один из этих дружинников с выправкой строевых офицеров, — нет, не провел бы под свою ответственность, а только вопрос бы задал: "Ну, может, все-таки пропустим, начальник?" Стряслось бы крушение всей системы, миропорядка? Мы из литературы знаем, что стало с купринским дьяконом, который не опустил свечу, а поднял ее высоко и вместо анафемы "болярину Льву Толстому" проревел ему "многая лета", — он лишился службы и сорвал голос. Так, стало быть, анафемствовать — выгоднее, покойнее для души?..

Но вот с этими калужанами, из которых ни одного нет, у кого хоть один родственник, хоть самый дальний, не пострадал, не загинал на сталинских "курортах", — чего мы не поделили с ними, откуда такая ненависть?

Кончается эта улица, тенистая и короткая, и нам расходиться пора, а пленительное "а вдруг" так и не приходит. Однако ж уходят они совершенно спокойно, с другими уже заботами на лицах, даже как будто усталые, опустошенные. Сыграв свои роли, сбросивши маски, они уже не дают себе труда ни лживого бранного слова произнести, ни выглядеть, какими только что были.

А полчаса спустя, на другой улице, я сталкиваюсь с одним из них, мы узнаем друг друга, и я вижу два глаза, смотрящие на меня с живым любопытством. А в самом деле — натасканный, надрессированный, он ведь так и не получит ответа — что же нас гнало в эту Калугу, где нас не поселяли ни в одной гостинице — и мы спали по чужим дворам, по трое в одной машине, или по семь, по восемь человек в комнатке у знакомых? Что нас заставляло целыми днями выстаивать в затоптанном скверике около суда, откуда предусмотрительно заранее были убраны скамейки — без всякой надежды хоть на минутку проникнуть в зал. И чем мы могли помочь подсудимому, который не мог видеть ни нас, ни наших цветов?

Если хоть это ему интересно, то он уже "выродок". И, значит, не потерял для человечества.

А. Марченко

ПИСЬМО АМЕРИКАНСКИМ РАБОЧИМ

Уважаемые участники съезда! Я узнал по зарубежному радио, что приглашен вами в качестве гостя. Благодарю вас за приглашение. Я не смог его реализовать, так как даже не получил его. Один из приглашенных вместе со мной – Владимир Борисов – имел приглашение, но не получил выездной визы. Ему сказали, что он "никого не представляет".

Недавно у вас в США побывали наши граждане, приглашенные американским Национальным комитетом профсоюзных действий за демократию. У них вначале были сложности с визой на въезд в США, но разрешение советских властей на выезд они получили беспрепятственно. Кого же они представляют? Металлургов, учителей, вообще широкие профсоюзные массы? Нет, они являются глазами, ушами и рупором нашей государственной власти.

Они сообщили нам о бедственном положении одной работницы-негритянки; о том, что американские учителя бьют детей, а некоторые выпускники американской школы не умеют читать; о том, что в американской шахте плохая техника безопасности – и что американские рабочие дружелюбно относятся к СССР. Вот и все их впечатления от двухнедельной поездки по США.

Сколько зарабатывает эта бедная женщина, что она может купить на свой заработок? Учатся ли ее пять детей, на какие средства она их лечит? Где, как, в каких школах учила Америка своих ученых, год за годом забирающих почти все Нобелевские премии – уж не малограмотны ли они? Каков же травматизм на американской шахте? Ничего конкретного, только общая мрачная картина.

Если бы Семенова была у вас не как представитель, она, возможно, поделилась бы с вашими учителями тем, что и в нашей школе низок общеобразовательный уровень – я знаю немало малограмотных людей, недавно окончивших наши школы. А шахтер Гаценко, может быть, рассказал бы о систематической у нас практике, когда производственные травмы не регистрируются, чтобы не портить статистики и не лишать премии цех или бригаду. Но наши представители, судя по газетному отчету, не увидели ни одного положительного примера в жизни трудовой Америки, а вас обогатили информацией лишь о том, что мы ходим в ботинках и что наши женщины пользуются косметикой.

Репортаж об их поездке публикуется под рубрикой "Летопись раз-

рядки” – вероятно, имеется в виду, что теперь вы и мы, американские и советские трудящиеся, лучше знаем друг друга. Но то же самое об Америке мы читали и тридцать лет назад, в худшие годы холодной войны.

Если бы я мог посетить Америку, я не только продемонстрировал бы свои ботинки, но и сообщил бы, что уплатил за них пятую часть зарплаты. Я рассказал бы, каково у нас содержание понятия ”всеобщая занятость” и что, кроме косметики, заботит трудящихся. При этом я опирался бы на недавний собственный опыт на лесозаготовительном комбинате в сибирском поселке Чуна. Этот опыт достаточно характерен для нашей системы производства и не противоречит официальной статистике.

Я не смог приехать к вам не по вашей и не по своей вине. Хотелось бы, чтобы мое короткое выступление все же прозвучало на вашем съезде. Итак, о жизни рабочих в сибирском поселке Чуна. Я не берусь, конечно, охватить все стороны этой жизни, коснусь только трех вопросов.

Средний заработок наших рабочих приблизительно на уровне официального среднего заработка по стране, т.е. рублей 160 в месяц. Как рабочему достаются эти деньги? В сушильном отделении сортировка и укладка досок производится вручную. На этой работе заняты в основном женщины. С лесозавода поступают сырые доски длиной 5 м., толщина их 19–60 мм. Нормы выработки на человека (будь то мужчина или женщина) – от 10 до 17 кубометров в смену, расценки – от 23 до 42 копеек за куб. Таким образом, за смену рабочий зарабатывает не более 4 рублей или не более 120 рублей в месяц. К ним добавляется коэффициент за ”дальность” – 20% от заработка; при перевыполнении плана (т.е. при выработке более 400 кубов в месяц на человека) платят премиальные. Вот все это кое-как дотягивает до рублей 160 в месяц. Эта оплата не является гарантированной. Во-первых, из-за плохой организации труда выполнение плана совсем не зависит от самого рабочего. Во-вторых, премиальные начисляют лишь при выполнении месячного плана всем отделением или цехом, а не каждому рабочему. А отделение может не выполнить план по тысяче причин, тоже не зависящих от рабочего. Чтобы выполнить план и получить премиальные, в конце месяца приходится работать не установленные законом 7-8 часов, а две смены подряд – даже в выходные дни. Эти часы не регистрируются и не оплачиваются как сверхурочные. Руководство профсоюза вместе с администрацией организует эти незаконные дополнительные рабочие смены. Так происходит потому, что профсоюз охраняет не интересы рабочих, а интересы государства, и выполнение плана – главный показатель его работы.

Я не захотел выходить на дополнительные смены – и меня по решению профкома и завкома уволили с завода ”за нарушение трудовой дисциплины”.

Рабочие сушилки работают в любую погоду под открытым небом, т.е. зимой при морозах ниже 40 градусов. За работу на морозе законом предусмотрена дополнительная оплата – так называемый ”морозный коэффициент”. Но у нас его не платят – с ведома и согласия профсоюза.

Нередко вес досок превышает установленный для женщин или подростков предел тяжести. Подростков ставят работать в паре со взрослыми, т.е. наравне с ними. Я отказался работать с подростком, и начальник цеха в наказание перевел меня на другую работу.

В поселке много приезжих, например с Украины, дорога туда и об-

ратно занимает 12-14 дней. Оплачиваемый отпуск у большинства рабочих завода – 15 рабочих дней. Родственники годами не могут повидаться.

Весь завод, кроме сушилки, работает в две смены. На двухсменной работе оказываются и женщины, имеющие маленьких детей (а таких на заводе очень много). Все детские сады и ясли в Чуне – только дневные. Чтоб не оставлять детей одних, супруги устраиваются работать в разные смены; видятся они только по выходным. Еще хуже матерям-одиночкам: они вынуждены оставлять вечерами маленьких детей без присмотра. Моя знакомая рассказывает, что ее дети (семи и десяти лет) не спят, пока она не вернется со второй смены, т.е. до двух часов ночи.

Женщины идут на эти условия, так как семья не может прожить на один средний заработок (кстати, наша статистика умалчивает о прожиточном минимуме в стране).

Можно ли семье прожить на 160 рублей в месяц? На эти деньги можно купить полтора приличных костюма; или одну треть черно-белого телевизора; или один билет на самолет от Чуны до Москвы и обратно; или два колеса к малолитражному автомобилю "Москвич"; или 3-5 детских шубок.

Килограмм мяса в магазине стоит 2 рубля; килограмм сушеных фруктов для компота – 1 р. 60 к.; молоко – 28 к. за литр; яйца – от 90 к. до 1 р. 30 к. десяток; сливочное масло – 3 р. 60 к. килограмм. Но в магазинах чаще всего ничего этого нет. Если удастся купить что-нибудь у частника, то надо переплачивать почти вдвое: килограмм свинины – 4 р., молоко – 40 к. за литр.

Исходя из этого, вы сами можете определить, какую часть прожиточного минимума семьи составляет наш средний заработок. У нас нет безработицы, но средний заработок работающего человека, вероятно, меньше, чем у вас пособие по безработице.

Считается, что у нас самое дешевое в мире жилье: квартплата составляет восьмую-десятую часть среднего заработка. Мой знакомый платит за квартиру 17 р. в месяц. Он с женой, две работающие дочери и сын-старшеклассник живут в квартире из двух смежных комнат (16 и 12 кв. м.) с крохотным – едва протиснуться – коридорчиком, такой же кухонькой и совмещенным санузлом. Их многоквартирный дом имеет удобства: центральное отопление, электроплиту на кухне, горячую и холодную воду и канализацию. Это максимум известных у нас удобств.

В таких домах живет приблизительно четверть чунского населения. Половина двухэтажных шестнадцатиквартирных домов не имеет никаких удобств: общие уборные в виде холодных дощатых будок во дворе, вода – в уличной колонке, печное отопление. Остальные жители поселка живут в собственных или казенных домах, тоже, конечно, без всяких удобств; часто и вода не в колонке, а в колодце с ручным воротом, за несколько сот метров от дома. У нас нет определения, какое жилище считается трущобой, непригодной для обитания. Раз люди там живут – значит, годится. Такое жилье обеспечено нам и в двадцать первом веке: "В десятой пятилетке планируется ввести в эксплуатацию. . . более 60% благоустроенного жилья с отоплением, водопроводом, канализацией". Это из доклада председателя Чунского райисполкома Г.М.Кривенко на восьмой сессии райсовета ("Коммунистический путь", 28 августа 77 г.).

Значит, остальные 40% так и будут пользоваться дощатой уборной на 40-градусном морозе.

Неизвестно, какая часть нашего города обеспечена хотя бы таким жильем. В Чуне семьи ждут квартиры годами – а пока снимают у частных что придется: летнюю кухню во дворе, баню, комнату или угол в комнате вместе с хозяевами. И плата тут вовсе не символическая: за комнатушку в 6 кв. м. платят 10 р.; а в Москве плата за квартиру из одной комнаты доходит до 50-60 рублей в месяц.

Все граждане у нас имеют равные права – в том числе и на жизненные блага. Но вот недавно из статьи первого секретаря Минского горкома КПСС Бартошевича я узнал, что среди равных есть самые равные, кому эти блага принадлежат в первую очередь. На практике я это и так знаю. Каждый день я прохожу по улице Щорса. По одной стороне улицы – современные особняки с большими окнами, конечно со всеми удобствами и с телефоном. В них живет районное и заводское начальство, и у них не по пять метров жилья на человека, как у моего знакомого шофера. Жители противоположной стороны улицы везут саночки с бидонами к ближней колонке, и каждый двор там украшен коллективным сортиром. Видно, канализационных и водопроводных труб на всех не хватило.

Если кто-нибудь из особенно равных захворает – лечение ему обеспечено тоже особенно. Будет и место в отдельной палате, и дефицитные лекарства, и питание не на полтинник в день, как для любого рядового больного.

Они разве только понаслышке знают, есть ли в магазинах мясо или молоко. Все нужное им доставляют на дом, и для них всегда все есть, от продуктов до книг.

Таким образом, принцип оплаты по труду превратился в принцип распределения по услугам государству, по месту в государственной иерархии. Иерархичность пронизывает все наше общество. При постоянной нехватке самого необходимого этот принцип доходит до смешного. В нашем поселке существует еще несколько систем снабжения, кроме снабжения начальства. Лесорубам продают полушубки, а остальным жителям сибирского поселка – только если останутся. Сегодня в магазин для работников БАМа привезли яйца; только заводским рабочим выдают тушенку – выдают прямо на заводе, чтоб не словчили получить посторонние. Пенсионеры не получают ни того, ни другого.

Полушубок можно заменить телогрейкой; но ребенку яйцо картошкой не заменишь.

В женском общежитии на БАМе нет самого необходимого: кухонного стола, ковриков над кроватями, шкафа для белья. Спят девчата, укрывшись одеялами без пододеяльников. Их, оказывается, не только в этом, но и в других общежитиях нет, если не считать нескольких комплектов.

– Их мы выдаем примерным жильцам. Тем, кто хорошо себя ведет, – пояснил начальник ЖКО А.Я. Остролуцкий.”

Последний пример я взял из районной газеты “Коммунистический путь” от 7 мая 1977 г.

Итак, принцип иерархического распределения благ распространяется на все: от простынь до коттеджей с туалетной бумагой.

Такое положение трудящегося населения нашей огромной страны

возможно лишь потому, что мы совершенно бесправны в своем доме. В СССР администрация, профсоюз, органы власти и репрессивные органы — все это звенья одной цепи, прочно сковывающей наш народ. Все организации, включая церковь, подконтрольны небольшой группе правителей и подчинены ей. Пусть опыт наших 60 лет послужит предостережением другим народам.

Я могу понять тех американцев, которые не удовлетворены политическим, социальным или даже экономическим положением в своей стране. Я сочувствую их стремлению к лучшей жизни. Но когда я читаю восторженные корреспонденции ваших соотечественников о моей стране — мне хочется обратиться к ним со словами из нашей современной песни: "Если это вам завидно, можете прийти и рядом сесть". Рядом с моей печкой, рядом — на кровати без простынь, рядом — в общественном сортире (желательно зимой).

Я приглашаю к себе в гости в Чуну господ Майка Дэвида, Гэса Хола и кого угодно еще вместе с их семьями. Если они согласятся, я буду оформлять для них официальное приглашение. Я приглашаю также любого делегата вашего съезда, кто согласен посетить меня, и прошу вас сообщить мне его имя для оформления официального приглашения.

Прошу принять мои приветствия съезду и пожелать вам всем успешной деятельности на благо американских трудящихся во имя дальнейшего процветания Соединенных Штатов.

Пос. Чуна Иркутской обл.,
ул. Чапаева, д. 18

1 декабря 1977 г.

О Б Р А Щ Е Н И Е В Н И К У Д А

Мы просим всех, усомнившихся в достоверности нашего письма, приехать к нам в город Тольятти, подойти к проходной нашего комбината и поговорить с любым рабочим. Если вас примут за рабочего, вы сможете рассчитывать на откровенность местных рабочих и любой из них подтвердит или даже дополнит то, что мы изложим ниже.

Мы просим проверить приводимые нами факты потому, что свое обращение не подписываем подлинными фамилиями. Мы, группа рабочих молкомбината, живем в условиях, где каждое честное выступление грубо подавляется, где всякий пытающийся открыто отстаивать справедливость, немедленно подвергается гонениям. В то же время наше бесконечное молчание, вероятно, и является причиной того, что власти принимают это молчание за норму, а всякий выход за пределы "нормы" рассматривают как какое-то преступление.

Известно, что в других странах существует безработица. Это плохо и печально. Но есть такое, что во много раз хуже и печальнее. Это положение, когда нас, рабочих, постепенно превращают в безгласных, обезличенных существ, в живых придатков машин и оборудования, в роботов, у которых не должно быть собственных мнений.

Там, далеко, на неведомом нам Западе, есть профсоюзы, которые являются или хотя бы могут быть рупорами своих рабочих. Имея такие профсоюзы – рабочий уже не робот! У него есть орган, который может и заступиться, и противостоять воле хозяина. А у нас?!

Вот только один пример из жизни нашего комбината. Несколько лет назад на так называемом "отчетно-выборном профсоюзном собрании" председатель завкома Н.К. Максимова сняла с себя эти полномочия. На ее место тут же "выбрали" Светлану Салганюк. Всем известно, что на этот пост ее назначил директор комбината, от нас же требовалось только поднять руки в знак согласия. И мы, привыкшие к своему положению роботов, единодушно это сделали.

Шло время. Директор воровал, мошенничал, и, наконец, им занялись известные органы. Поговаривают, что был суд. Но это только слухи. Власти не любят предавать огласке наказания всевозможным руководителям. А нашего директора просто перевели на другое предприятие. . . А Светлана Салганюк осталась. Главный инженер комбината Л.И. Горелова заняла кресло директора. Через некоторое время по комбинату поползли слухи, что председатель завкома торгует заводскими квартирами, местами в детских садах и яслях, не по очереди – за взятки выдает ковры и дорожки (дефицит!). Утверждали, что все эти махинации совершаются Светланой Салганюк вместе с директором и парторгом завода. Но это – слухи. Мы же, "выбравшие" ее, не имеем права потребовать от нее отчета о деятельности на этом профсоюзном посту. Мы имеем право только молчать. . . Правда, вы можете спросить, а почему бы не обратиться в газету? Мы заверяем вас, что и газет у нас нет! Они принадлежат не народу, а властям. Вот факт. Прошлой осенью администрация нашего комбината очень несправедливо распределила премии. Группа рабочих с завода № 1 (комбинат состоит из двух заводов) поначалу апеллировала в завком. Председатель завкома, послушный воле директора, отказалась поддержать рабочих. И вот тогда-то рабочие обратились в местную газету "За коммунизм!" с письмом. Его подписали 21 человек. Письмо не опубликовали, и рабочие ничего не добились. Это тоже один из методов, которым приучают нас к Великому молчанию.

Сколько же можно молчать?! Дело в том, что перед нами плохой председатель завкома и мы не имеем права потребовать у него отчета. Все дело в том, что *любой* председатель месткома подбирается директором и партбюро. Сам же директор назначается горкомом партии. То же с партгором комбината. В итоге получается, что все облеченные властью люди – это ставленники горкома. Но у горкома и рабочих стремления обычно разные.

Наша пропаганда нагло (другого слова не подобрать) утверждает, что у нас, рабочих СССР, есть свой рабочий орган – наши профсоюзы. Ложь!

В подтверждение этого еще факт. В феврале 78 года стало известно, что председателем завкома профсоюза нашего комбината занимаются органы прокуратуры. Но опять же были только слухи. Перед нами никто не отчитывался и ни о чем не уведомлял. И вот в марте новый слух: оказывае-

тся, С. Салганюк больше не председатель завкома. Ее перевели на должность начальника техотдела, а на ее место назначена Галина Новикова.

Администрация и партком не посчитали даже нужным разыгрывать комедию с профсоюзными переборами. Все было решено за спиной рабочих в узком кругу. Так, как нужно было директору. Он назначает, он же снимает. А будь руководитель заводского профсоюза рабочим представителем? Только одни мы и решали бы его судьбу. Весь комбинат был возмущен. Поговорили, повозмущались и замолкли. А куда жаловаться? Говорят, Светлану Салганюк судили и даже дали какой-то условный срок. А она попрежнему работает начальником техотдела, а ее изобличителей потихоньку вызывают к директору в кабинет и там предлагают исчезнуть с комбината (Николай Масыгин, Раиса Панферова). После этого другие боятся и пикнуть о каких-либо недовольствах. Ведь все жалобы, направленные в высокие инстанции, возвращаются к тем, на кого они написаны. В деле с С. Салганюк дошло до суда лишь потому, что у зачинщика изобличения Н. Масыгина есть "своя рука" в органах.

На днях на нашем комбинате снова пройдут профсоюзные выборы. Уже известно имя нового главы профсоюза — Л.И. Степанова. Никто не сомневается, что новая ставленница директора "пройдет" на "выборах", что беспрекословно будет выполнять волю директора. А мы как были, так и остаемся баранами, молчунами, роботами.

Группа рабочих Тольяттинского молочного комбината.

Апрель 78 г.



П. Подрабинек

ДВА ПИСЬМА

Письма Пинхоса Абрамовича Подрабинек, оба сына которого находятся в заключении, нельзя читать без волнения.

Александр Подрабинек — член группы по расследованию злоупотреблений психиатрии в политических целях, автор книги "Карательная медицина", опубликованной на Западе, получившей широкий общественный резонанс, в августе этого года приговорен к пяти годам ссылки, но до сих пор находится в тюрьме.

Дело Кирилла Подрабинек было сфабриковано КГБ с целью шантажа и оказания давления на его брата Александра. Еще в конце 1977 г. КГБ потребовал согласия на выезд из СССР А. Подрабинек, угрожая в случае отказа последнего жестоким приговором его брату. После истечения срока ультиматума и отказа Александра покинуть родину, Кирилл Подрабинек был арестован и приговорен к двум годам лагеря с последующей ссылкой.

Дело Кирилла Подрабинека было не первым делом, сфабрикованным КГБ по уголовной статье (еще ранее аналогичным образом КГБ расправился с М. Ланда и Ф. Серебровым), но впервые за последние годы в столь явной форме была проведена властями система заложничества (в начале 70-х годов после процесса над Якиром и Красным КГБ использовал систему заложничества для прекращения выхода "Хроники текущих событий" — "Хроника" не выходила год).

В деле братьев Подрабинеков проявилось не только безнравственность и жестокость советского тоталитаризма, но и его бессилие. Да, система подавления, чудовищно разросшиеся карательные учреждения не способны задавить ростки свободомыслия в нашей стране. Именно поэтому властям понадобилось использовать изощренно-изуверские способы в попытках сломить силу духа и волю к сопротивлению у намеченной жертвы, воскрешать печально известную со времен октябрьского переворота и гражданской войны систему заложничества. Первыми жертвами этой системы в наше время и стали братья Кирилл и Александр Подрабинеки.

I

КО ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ!

14 мая в квартиру, где Александр находился с друзьями, ворвались милиционеры и сотрудники КГБ. Он наспех попрощался с нами, и его увезли. Сейчас он в "Матросской тишине", может быть, в той камере, где недавно томился его брат Кирилл, всего четыре месяца назад брошенный в тюрьму. Александра обвиняют в клевете на советскую власть (статья 190-1 УК РСФСР).

Он был готов к расправе, мы все ее ждали. В нашей фантастической стране настолько искажены нормальные общественные отношения, что может случиться невероятное. Непреложен только закон возмездия за человеческие свойства — доброту, справедливость, достоинство.

Еще мальчиком Саша сопротивлялся гнету, которому подвергаются советские люди, и вышел из школы с характеристикой, отрезавшей ему путь к какой-либо благополучной карьере. Он к ней и не стремился. Как у иных — способность к научному творчеству, у других — талант в области искусства, у Саши — дар человеческой свободы, и никакая жизненная цель не представляется ему сравнимой с правом человека распоряжаться своей судьбой.

Не случайно он потянулся к самым бесправным, самым оскорбленным людям, к тем, кто за свои негосударственные взгляды наказывается ужаснейшей пыткой — угнетением, сломом и уничтожением живого духа. Деятельность Александра на этом поприще известна, получила признание, и о ней еще расскажут друзья, поэтому буду здесь краток.

Он написал книгу "Карательная медицина", в которой собрал обширный материал о заключенных в психиатрические лечебницы за свои убеждения, он рассмотрел проблему репрессивной психиатрии в историческом, юридическом, медицинском и социальном аспектах. Краткое изложение его книги было представлено "Международной Амнистией" Всемирному Кон-

грессу психиатров в Гоголлу в 1977 году и способствовало осуждению репрессивной психиатрии в Советском Союзе.

Александр был инициатором и активным членом Комиссии по расследованию применения психиатрии в политических целях в СССР. Благодарная и общественно-полезная деятельность Комиссии также известна. Обращения к советской администрации, к мировой общественности, выпуск периодических бюллетеней в сильной степени способствовали смягчению климата карательной медицины. Александр приложил много сил для освобождения из психиатрического заточения конкретных лиц. Символ медицины, змея над чашей, приобрел в Советском Союзе значение ядовитого укуса, и если эмблеме возвращается ее первоначальный мудрый смысл, то в этом заслуга и моего сына Александра.

Понятно, власти его не любили. Он подвергался задержаниям, арестам, обыскам, его пугали, ему грозили. А когда убедились, что дух его несокрушим, наступила очередь обещаний, предложений "почетного" отступления, затем отъезда за границу – бесплатно, без хлопот, куда угодно, лишь бы с глаз долой и в кратчайшие сроки. Он отверг эти "заманчивые" предложения, и тогда к нему было применено самое подлое из всех испытаний – шантаж. КГБ предоставило ему на выбор – либо он уедет, либо брата его Кирилла бросят в тюрьму.

Трудно придумать более тяжкое бремя, чем разрывающее душу противоречие между общественным долгом и чувством любви к близким. Александру пришлось испытать эту горькую чашу страданий. Он остался непоколебим, он остался на этой униженной, истерзанной земле, что зовется Советским Союзом.

Мне больно, меня поймет каждый отец, каждая мать. Иметь двух сыновей, способных, смелых, подлинных граждан своей страны, быть с ними вместе 25 лет, делить труд, досуг, мечты, воспоминания и надолго, кто знает насколько – лишиться их!

Я не строю себе иллюзий, не рассчитываю на то, чтобы крепкие ворота ГУЛАГа преждевременно могли открыться перед ними и тысячами других, не менее достойных. Им придется вынести муки того ада, которым является советский концентрационный лагерь.

Но я вправе рассчитывать на вашу справедливость, люди доброй воли! На то, что вы поднимете гневный голос против гонителей правды, свободы. На то, что вы не забудете моих сыновей, их бескорыстное движение к лучшей доле для своего поработанного народа!

24.5.78

II

Дорогой друг!

После суда над Кириллом 14.3.78 потянулись томительные дни ожидания. Нам, понятно, не сообщили, куда его направили отбывать наказание. Больше того, прервалась связь наша с далекими друзьями и близкими, почту заблокировали, мы перестали получать письма, и наша корреспонденция

денция не доходила до адресатов. Это продолжается до сих пор. Я не сомневаюсь, что Вы мне писали, но поняли ли Вы, почему я не отвечаю?

В конце июня мы получили, наконец, от Кирилла письмо, единственное. Он сообщал свой адрес: Тобольск-2, учреждение 34/16 "Д". Написал, что его лишили долгосрочного свидания и писать будет редко. Эти слова были полны грозного значения, они означали, что с ним что-то случилось, какая-то беда. Сердце мое рвалось к нему, ноги удерживали здесь, я должен был ждать суда над Александром, ибо считал (и это так и оказалось), что буду единственным зрителем спектакля, способным правдиво рассказать о нем. 15-го августа Александра судили, 22-го я выехал в Тобольск.

Это сибирский город русского бесславия, дорогой друг. В 16-м веке разбойник Ермак, преследуемый властями за грабежи и насилия, переметнулся в этих краях на службу к Ивану Грозному, силой огнестрельного оружия разгромил лучников татарского князя Кучума, получил прощение грехов и превратился из татя в национального героя. Тобольск гордится им почти так же, как корсиканцы Наполеоном.

Сюда, в Тобольск, были сосланы многие декабристы. Этим тоже гордятся тоболяки. Не столь открыто гордятся они тремя поколениями современных каторжан: волной заключенных сталинских тридцатых-сороковых годов, власовцами и военными – в пятидесятых и уголовниками – в шестидесятых.

Я приехал в Тобольск 25-го, на следующий день отправился на поиски Кирилла. "Учреждение 34/16" оказалось исправительно-трудовой колонией № 16 (ИТК № 16), расположенной на горе. Я полез на нее, взбираясь по крутому отлогу заполненного грязью оврага, вышел на покрытую глубокой грязью дорогу, в которой то и дело оставлял вязнувшие в ней свои туфли. Шел мелкий противный дождь. Под ногами – серая жижа, на небе – серая жижа, на душе тоже серо. Пришел к двери, прорезанной в высоком заборе, увенчанном колючей проволокой, и сказал дежурному прапорщику, что приехал на свидание с сыном.

Он ушел, вскоре вернулся.

– Ваш сын, папаша, помещен в ШИЗО на пятнадцать суток, до 9-го. Свидания с ним не положено.

– Что ж, придется ждать, – уныло констатировал я.

Я повернулся и ушел. Странное совпадение моего посещения с его заключением в ШИЗО, намек на возможное продление заключения достаточно ясно показывали: меня не хотят пустить на свидание с Кириллом. Это, очевидно, распоряжение свыше, и нет смысла препираться.

Три дня я строил планы, достойные Ермака и Шерлока Холмса. Бродил по городу, завязывал сомнительные знакомства, крутился среди расконвоированных ээков, бражничал и выведывал. Порой приходил в отчаяние – быть так близко от Кирилла и ничего о нем не узнать, ничем не помочь! Уже хотел выйти к воротам лагеря с плакатиком: "ГБ, пропусти меня к сыну на свидание!", но удержался и продолжал поиски.

Пропустив, по примеру мадам Кюри, горы лжи через свои уши, я все-таки собрал крупицы информации, полезной для предстоящего испытания.

Я попросил принять меня начальника колонии, майора Хвостова. Меня проводили к нему, и между нами состоялся такой разговор:

– Я – отец Кирилла Подрабиника. Он в ШИЗО, и свидания с ним я по вашим законам получить не могу.

Он подтвердил.

– Но я проехал две тысячи километров, изрядно потратился, и могу ждать свидания, которое, возможно, не состоится, не правда ли?

Он подтвердил.

– Так вот, я не прошу свидания!

”Какого же лешего тебе нужно?” – прочел я в его глазах.

– Я хочу пятиминутной встречи с сыном. Чтобы убедиться в том, что он жив. Я полгода не имел о нем известий и, согласитесь, могу в этом сомневаться.

Он задумался и, кажется, я понял его колебания.

”Пустить – нехорошо, нарушение правил. Не пустить – нехорошо: этот человек обязательно посеет сомнения в том, что сын его жив. Пожалуй, лучше пустить, тем более, что это не свидание, а короткая встреча.”

И – вызванному кнопкой лейтенанту:

– Приведите из изолятора Подрабиника!

Мне:

– Встреча состоится в моем присутствии, передавать продукты и кормить запрещаю.

До того, как приведут Кирилла, в моем распоряжении минут 10-15. Нужно их эффективно использовать. Разглядываю майора Хвостова. Это молодой еще человек, лет сорока, большой, с крупным лицом, чем-то он мне напоминает по внешности Пьера Безухова. Простые приятные черты лица, спокойные внимательные серые глаза.

– Могу я узнать, за что он помещен в ШИЗО?

– За отказ работать и призыв к тому же других заключенных.

– Призывал других? – приглашаю я его к объяснениям.

– Он предлагал им не работать на коммунистов.

Я улыбаюсь, поощряя его к вопросу.

– Вы тоже с ним согласны? – спрашивает он.

Грубоватый вопрос. Интересно, включил он уже магнитофон в своем столе? Отмалчиваться или увильнуть от ответа я не собираюсь, но и глупой рыбкой лезть на крючок его удочки тоже не хочу, такого удовольствия я ему не доставлю.

– На ваш вопрос я не могу ответить однозначно. Поясню примерами.

Я – врач. Вы, скажем, мой враг и пришли ко мне с аппендицитом. Лечить вас я буду. Это моя работа, я ее делаю для вас, а не для государства. Медицина мне по нутру, я помогаю людям, в этом смысл моей жизни.

– Верно, совершенно я с вами согласен, – одобряет он.

– Но у Кирилла другое положение. По призванию физик, а должен месить глину или что-нибудь в этом роде. Труд его подневольный, он может быть им недоволен. Я просто разбираю вариант его мотива.

– Такова уж мера его наказания.

– Вот видите, труд – наказание. Как же с определением труда, как дела доблести, славы и геройства?

– Это область теоретическая, тут много проблем, и решать их можно до бесконечности, а у нас (вздых) – практика.

– Может быть, Кирилл и хотел добиться единства теории с практикой. Разговор его занимает, но я вовсе не хочу брать верх над ним, задача у меня другая.

– Его, к тому же, может не удовлетворять оплата труда. . .

– Труд осужденного оплачивается, как и всех граждан.

Я улыбаюсь уже во весь рот.

– Напрасно смеетесь. Организации, где они работают, выплачивают полностью их зарплату.

– И они целиком ее получают?

– Конечно, нет. Их нужно ведь кормить, обувать, одевать. Заборы тоже нужно строить, содержать обслуживающий персонал, например, меня.

Пытаюсь уловить в его лице издевку, но не нахожу и тени насмешки. Он искренне считает, что заключенные должны содержать себя, а так как он, Хвостов, им необходим, то и его. Мне известно, что 50% зарплаты идет государству; из оставшейся части вычитается полная стоимость питания и одежды.

– Что же, Кирилл долго находится в ШИЗО?

– Он получил пятнадцать суток, объявил голодовку, за что ему дали новые пятнадцать суток.

– Он долго не ел?

– Двенадцать дней, только воду пил. Потом его стали кормить насильно, и он поправился. . .

– Позвольте, позвольте, – спохватываюсь я, – так ведь это было раньше, сначала, а теперь он снова в ШИЗО?

– Пришлось.

Я не спрашиваю о причине, она мне понятна, но вот давно ли он там или только с 26-го?

– У вас хороший загар, – замечаю я. – Отдыхали на юге?

– Нет, у себя на родине, в деревне.

– Что ж, не тривиально. . .

– И неудачно.

– Что так?

– Да вот, заболел радикулитом, двадцать дней провалялся в больнице.

По-видимому, Кирилла посадили во время его отпуска, и он сам не знает когда. Мне нужно подогреть атмосферу доброжелательной болтовни и вынудить его сделать запрос: когда посадили Кирилла? Пускаюсь в пространную лекцию о остеохондрозе, его этиологии, симптомах, лечении. Это его не особенно занимает, тогда я начинаю мрачное описание осложнений и заключаю светлой гаммой рекомендаций.

Он давит на кнопку и просит секретаря принести дело Кирилла. Небрежно пропускает несколько раз листы папки между пальцами, оставившись на отдельных страницах. Я весь вылезаю из себя, чтобы что-нибудь прочитать, не выдавая интереса. Нас разделяет стол, без очков не вижу. Вот несколько фото Кирилла, его дактилоскопические отпечатки. А! Строчки крупных букв! Я не столько читаю, сколько схватываю по длине слов, по их числу подчеркнутую, лаконичную запись: "Не допускать свидания с родственниками".

Хвостов переходит к первым листам и зачитывает постановление суда, приговор. Все это мне известно, я лишь делаю вид, что слушаю, и со-

ображаю. Конечно, это дело рук Глухих, заместителя Хвостова по режиму, временно заменявшего майора во время его отпуска. Глухих – зверь, это известно. Когда он появляется в зоне, эски разбегаются с криком: "Режим идет!". Он непременно должен кого-то наказать. Замешкался встать перед ним – 15 суток, не снял шапку – 15 суток.

– Это я знаю, – прерываю я Хвостова.

– Так вот, ваш сын получил ШИЗО в начале моего отпуска. – Спокойно так говорит, и честное чекистское лицо его невозмутимо. А меня начинает знобить. Ведь это значит – не менее трех пятнадцатидневков!

Дэвид, Вы знаете, что такое ШИЗО, штрафной изолятор? Может быть, Вам представляется нечто вроде палаты для больных, чистая койка, белоснежное белье,

ШИЗО – это просто-напросто карцер, как ИТК – просто-напросто лагерь. Карцер, где прежде всего очень холодно (а заключенного держат там в поношенных хлопчатобумажных брюках и куртке), где постели никакой, а нарами – без матраца! – можно пользоваться только ночью. Вместо стола – пенек. Если присядешь на него, если устроишься днем на полу – еще пятнадцать суток! Стоять и ходить, ходить и стоять! А питание – 450 граммов хлеба в сутки и вода; через день – черпак жидкой баланды. Это, в сущности, та же вода, только теплая и подкрашенная. Месяц ШИЗО – и человек может заболеть туберкулезом. Он харкает кровью, его залечивают, но не до конца – и через какое-то время вызывают его родных на похороны. Пятьдесят дней ШИЗО подряд. . . – мне что-то уже не хочется разговаривать с Хвостовым!

Кстати, открывается дверь, и в сопровождении конвойного и лейтенанта в кабинет входит Кирилл.

Боже, до чего он изменился, как худ, бледен, слаб! Арестантские шмотки висят на нем мешком, череп из каких-то бугров, нос длиннющий. Бросаюсь к нему, мы обнимаемся, я тыкаюсь губами в его щеки, шею, под руками его бедное, изможденное тело, огромные ребра, выпирающие позвонки с запавшими промежутками. . .

– Кирилл, милый, дорогой Кирилл, – повторяю я без конца.

– Папа! – слабо произносит он.

("Я знаю все о тебе", – успеваю шепнуть ему я во время этого объятия. Несомненное преувеличение, но я хочу его поддержать. Ведь он, наверное, вдвойне страдает от сознания, что муки его замкнуты в этих стенах. И потом – времени мало).

Стоим, покачиваемся, мне трудно его отпустить, наконец успокаиваюсь. Садимся.

– О чем можно говорить? – спрашиваю Хвостова.

– О чем угодно.

– А мне, гражданин майор?

– Тоже.

Ясно, магнитофон включен. Мы взволнованы, авось проговоримся, авось он получит из этого разговора важные сведения. И эта возможность ему так важна, что он готов пойти даже на наше взаимное обогащение информацией.

– Сначала ты, – предлагаю я, и он повторяет, в общих чертах, то, что я уже знаю. Есть, однако, уточнения. Его посадили на тяжелую работу, он

от нее отказался, просил другую. Активной агитации и пропаганды не вел, но на вопросы ээков, надзирателей, начальства отвечал то, что думает.

– Ты знаешь мое правило, – напоминает он, – никому не навязывать свои взгляды и никогда не отказывать в их изложении...

– Тебе пропихивали зонд?

– Нет, я сам глотаю его легко, как устрицу. Через два дня на третий смесь яйца, молока, сахара и масла. Через месяц выпустили, пошел работать, так как дали другую работу, посильную. . . Держался так же, но на меня сыпались анонимные заявления. Опять посадили, а потом повели в суд...

– В суд?

– По представлению ИТК, – поясняет Хвостов, – его судили 23-го июля и определили: за злостные нарушения режима и вредное влияние на других заключенных перевести в тюрьму общего типа до окончания срока заключения. . .

Хвостов сидит, навалившись на стол, подперев рукой голову, весь – внимание, весь ушел в наш разговор. Что его так занимает? Может быть, он пытается понять наше безумие? Он читал о людях, отдавших силы и жизнь идее справедливости, свободы, но ведь то в книгах, а в его жизни такого не бывало. А, может быть, просто запоминает то, чего не может зафиксировать магнитофон, – жесты, мимику, выражение лиц?

– На суде, – продолжает Кирилл, – обвинение использовало анонимные показания, поэтому уличить заявителей во лжи и в неточностях я не мог. Присл защитника, мне отказали. . .

– Не положено, – вставляет Хвостов.

– После суда меня снова привели в ШИЗО. С 12-го мая, за четыре месяца, что я провел в ИТК, три месяца я находился в ШИЗО и буду там до получения разнарядки в тюрьму. Гражданин начальник, нельзя ли мне в ШИЗО быть на общем режиме?

Это значит: те же стены, пол, койка, пенек, но 800, а не 450 граммов хлеба в день!

– Я недавно из отпуска, познакомлюсь с делами и посмотрю. . .

”Нужно содержать персонал, меня, например”, – вспоминаю я его слова – и воочию убеждаюсь в их прямом смысле. Кровь, соки моего сына уходят из его истощенного тела и вливаются в жилы этого крепкого здоровяка. Лицо Кирилла бледнеет и бледнеет, чтобы его щеки румянились.

Закуриваю и протягиваю Кириллу сигарету. Хвостов молчит. Глубоко и блаженно затянувшись, Кирилл спрашивает:

– Правда, что Толика Щаранского расстреляли?

– Неправда, он получил 13 лет. Приговорили к расстрелу какого-то шпиона, процессы их шли одновременно.

– Что еще нового?

Сообщаю о судьбе Орлова, Гинзбурга, Слепаков, рассказываю о суде над Сашей. Кирилл оживает, даже смеется, когда я передаю, как Саша заставил вывести себя из зала суда.

– Кто бы вынес его фальшивый свист?!

– Твоя несчастная статья опубликована.

Как будто капля румянца перекечевала при этих моих словах с загорелых щек Хвостова на бледные Кирилловы. . .

Передаю ему приветы. От многочисленных друзей, от Ильюши, от жены. Спрашиваю, сколько получил он моих писем?

– Три.

– Два письма и бандероль для него лежат, – вставляет лейтенант. Хвостов шевелится за столом: мол, пора закругляться. Прошло не пять, а, наверное, десять или даже пятнадцать минут, не будем злоупотреблять дорогим начальническим временем.

– Меня повезут, наверное, в Москву, в Краснопресненскую пересылку, оттуда в "крытку". Так заглядывайте туда изредка, может быть, удастся свидание, даже передача. . .

– Это если тебе назначат Владимирскую "крытку", но есть еще Иркутская, – напоминаю я, – тогда тебя через Москву не повезут. Учти, первое свидание и там только кратковременное, на час, через три месяца. Разрешается отправлять не более одного письма в месяц.

Сую ему в руки полпачки сигарет, просто так, в порядке жеста. Все мы знаем – и он, и я, и лейтенант, и Хвостов, – что у ШИЗО его досконально обыщут, разденут, заглянут во все дырки его тела и отнимут то, что найдут.

Снова обнимаемся, целуемся, и он от меня уходит. Иду за ним. У поворота дороги он оборачивается и слабым, тихим голосом говорит:

– Ты видишь, я бодр, я стараюсь держать марку!

Вижу, мальчик, вижу. Вижу и то, о чем, быть может, ты еще и не догадываешься. Что тебя медленно убивают голодом, холодом, удушьем за то, что ты бодр и стараешься держать марку. За то, что ты – человек.

Вот это то, что я хотел Вам написать, Дэвид.

2.9.78



П. Абовин-Егидес

ТАК БРАТЬ ЗОНТИК ИЛИ НЕ БРАТЬ?

(Вместо эпиграфа к статье "Актуальные проблемы демократического движения")

Статья, с которой начинается данный номер "Поисков", была впервые опубликована Самиздатом полтора года тому назад – и, хотя она была затем то полностью, то частями перепечатана на Западе на разных языках, проблемы, поднятые в ней, остаются нерешенными и по сей день. Более того, актуальность их стала еще более острой.

Это послужило причиной написания "Эпилога". Жаль только, что мы не сумели написать его вместе с моим соавтором – П. Подрабинеком: я не имел возможности вовремя связаться с ним для совместной работы над текстом.



. . . 14 мая с.г. я присутствовал на митинге в большом зале Мютюалиге. На нем очень красочно выступали среди прочих А. Глюксман, В. Файнберг, Л. Плющ. Когда они острили, присутствующие смеялись; когда они говорили, что и правые, и левые политики сгнили, что все они подлые, присутствующие аплодировали. Но когда я выходил из зала, меня окружила группа французов:

– Все это очень интересно, но все-таки, чего же вы хотите, какой социальный строй предлагаете вы, какая ваша положительная программа, что вы противопоставляете правым и левым? Пока вы этого не скажете, народы за вами не пойдут. . .

И я вспомнил, что то же самое – о том, что нельзя двигаться вслепую, что нельзя "покупать кота в мешке" – говорилось и в России. . .

Я стал говорить о том, что ни правые, ни левые на Западе не представляют себе той опасности, которую несет миру тоталитаристская чума; что надо раньше остановить ее и демократизировать весь мир, что демократизация России – к л ю ч к решению глобальных проблем, что вот я, со-

циалист, согласен, например, с антисоциалистом Солженицыным в том, что изнеженный Запад проигрывает третью мировую войну... Но горячие французы замахали руками:

– Все это верно. Но неужели вы думаете, что трудящимся нужны призывы Солженицына вернуться в XVI в.?

– Или что им может imponировать его идея переходного периода?..

– Он перепутал адреса: вместо капитализма обвиняет во всем... демократию, "власть" прессы. И вместо того, чтобы требовать расширения демократии, зовет нас к ее... сужению. Разве народам нужно это?

– А Буковский в "Континенте" вместо того, чтобы постараться глубоко вникнуть в правильно поднятый им же вопрос "брать зонтик или не брать зонтик?", начал с разносных личных выпадов против своих же – ряда диссидентов... .

– Но он ведь, – пытаюсь я им возразить, – сам говорит, что стыдно нам заниматься дрязгами, взаимными обвинениями.

– Да, говорит, но тут же противоречит своему же призыву.

– То же имеет место и у некоторых других авторов. Дрязги вместо совместной работы, ссоры вместо споров ни к чему хорошему не приведут...

Все это лишний раз убедило меня в правильности мысли о том, что в нашем движении необходимы:

– серьезная работа над теоретическими проблемами;

– значительное обновление диссидентской стратегии;

– срочное преодоление нашей разобщенности (при сохранении плюрализма, различных точек зрения, иначе говоря, многообразия в единстве и единства в многообразии);

что нам самим надо:

– учиться полемизировать, учиться демократии, логической культуре, великодушию;

– изжить в себе до конца элементы бесовства как проклятого наследия тиранического общества.



Слабость теоретической работы, даже пренебрежительное отношение к ней сказываются:

и в обыкновенной логической мозаике (и даже хаосе), а то и просто алогичности иных несерьезных высказываний о том, будто народ российский не созрел для демократии (индусы, или португальцы, или африканцы уже готовы, созрели, достойны, ... а вот россияне, видите ли, нет), и поэтому ему нужен какой-то (какой же?) переходный период;

и в составленных малокомпетентными авторами проектах будущих конституций (из которых даже не ясно, за кого же их авторы – за "большевиком аль за коммунистов", за демократию или автократию);

и в досадных промахах, имеющих место в ответственных интервью и заявлениях некоторых именитых диссидентов;

и в утверждениях, будто нужно только религиозное возрождение, а не "демократическое движение";

и в утверждениях, будто нужно рабочее движение, а не интеллигентское и не правозащитное, которое, как, мол, все демократическое движение, якобы идет к концу (ничего вреднее этого "а не" нет не только для демократического движения, но и для самого рабочего движения, религиозного или национального движения!).

Толстой как-то заметил: "Что только не осмеяли люди?! Даже то, что с милым – и в шалаше рай, осмеяли они". Найдутся охотники осмеять и мысль о необходимости сложной теоретической разработки проблем нашего движения (благо старик Гегель "учил", что н а в с е можно найти основание: ведь, – добавлю от себя, – виртуозности мысли нет конца, поскольку бесконечное множество сторон имеет сама действительность), – но от этого ему успеха не прибавится. . .

Зная повадки подобных охотников, предвижу их основной "аргумент" (уже выставленный ими в другой связи): надо заниматься конкретной борьбой за освобождение арестованных, за тех, кто находится под следствием, а не (ох, уж это "а не"!) теоретизированием. . . Так, Н. Горбаневская в журнале "Альтернативы" пишет, что надо заниматься правозащитной деятельностью, а не дискуссиями – словно В. Чалидзе, который вступил в дискуссии с политической концепцией Солженицына, или А. Сахаров, который его в этом поддержал, менее кого-либо занимаются указанной деятельностью. . . Будто одно другому мешает или будто, не занимаясь серьезно теорией, мы хорошо организовали нашу о б щ у ю борьбу по защите политзаключенных.

Развертывание систематических (перманентных) массовых правозащитных акций сопряжено с созданием Объединения прежде всего диссидентов-эмигрантов, что – в свою очередь – предполагает одновременную углубленную теоретическую работу: все эти стороны взаимосвязаны, взаимопроникают и невозможны друг без друга.

Начинать, мне думается, следует с р о л е в о г о а н а л и з а , т.е. определения места того или иного течения в социально-идеологической структуре – тогда вместо хаоса, взаимных личных обвинений может прорисоваться стержень для необходимой серьезной дискуссии. Так, если диссиденты – это люди, не только ставшие явочным порядком личностями, но т а к и м и личностями, которые активно п р о т и в о с т о я т деспотизму, опирающемуся на определенную р е а л ь н о г о с п о д с т в у ю щ у ю идеологию, – тогда надо прежде всего определить ее.

Ошибочно, как я полагаю, исходить из того, что господствующей н ы н е идеологией у нас в стране является идеология марксизма; нет, истеблишмент лицемерно оставил эту идеологию как расхожую для масс, а сам уже давно, хорошо про себя зная, что никакой коммунизм в стране не строится, исповедует совершенно другую, противоположную идеологию – идеологию великодержавного, империалистического, шовинистического тоталитаризма (и я тут не согласен ни с многими западными "левыми" и "правыми", ни с А. Зиновьевым, ни с Р. Медведевым, ни с Солженицыным,

которые полагают, что у нас до "сих пор господствует идеология марксизма", ни с Чалидзе, который пишет, что есть лишь опасность того, что наш истеблишмент повернет в сторону шовинистической идеологии: он уже давным-давно повернул* И в определении стратегической линии в отношении к нашему режиму демократическим правительствам и демократической общественности не лишне бы исходить как раз из этого факта, а не из миражей). Именно эта идеология господствует, т.е. определяет политику нашего правительства, особенно внешнюю. Она, эта идеология, имеет три ипостаси: о ф и ц и а л ь н у ю , маскирующуюся под социализм-коммунизм, марксизм; о к о л о о ф и ц и а л ь н у ю , маскирующуюся под защиту литературной классики (см. рубрику "Дискуссия с дискуссией" в этом номере); н е о ф и ц и а л ь н у ю , договаривающую все до конца, но при этом выступающую в тоге . . . диссидентства (это и есть ш и м а н о в щ и н а с ее различными отрогами).

Диссидентство, как сказано, это как раз и есть то, что находится в противостоянии (открыто, явочно, но мирными, ненасильственными средствами) тирании, опирающейся на г о с п о д с т в у ю щ у ю идеологию. Идеологией, противоположной господствующей – тоталитаристской, является д е м о к р а т и ч е с к а я (включающая различные течения: правослаштное, религиозное, национальное, течение сторонников демократического социализма и т. д., пересекающиеся между собой, диффундирующие друг в друга, а не просто рядоположенные). Она-то и есть идеология диссидентства.

Ну, а что же тогда за место, за роль в этом противостоянии тоталитаристской и демократической идеологий принадлежит солженицынской концепции? Ее с п е ц и ф и к у как раз и следует определить. Как вытекает из объективного анализа всего того, что сказано (написано) Солженицыным и группой его сторонников, эта концепция связана, как это ни покажется парадоксальным, с феноменом какого-то странного паралогистического сплюсования этих двух противоположностей: то они (как мужественнейшие диссиденты) неистово критикуют н а л и ч н ы й тоталитаристский режим с е г о ГУЛагом (и именно эта неистовость мне, например, бесконечно больше импонирует, чем "академичная", спокойная полукритика), т о (аналогично апологетам теократического тоталитаризма) ратуют за какое-то (именно к а к о е - т о , ибо им самим неведомо, какое именно) православное государство (опять-таки неизвестно, какой конкретно структуры и на основе какого социально-экономического уклада, как неведомо сие основателю исламского государства, что уже вызвало ужасные последствия в Иране, а впереди – еще более ужасные)**; т о (как истые диссиденты) призывают ж и т ь н е п о л ж и**;

* И напрасно Солженицын уговаривал Кремль отдать кому-то другому марксистскую идеологию: отдавать ему уже давно нечего.

** Любое религиозное государство таит в себе *contradictio in adjecto*: религия по определению не должна заниматься управлением государства, ее социальная функция – мировоззрение, нравственное воспитание.

** И это опять-таки импонирует больше, чем даже тонкий, но все же, по моему, неверный подход Г. Померанца (доброту и обаяние которого не

ризма) сами непрочь прибегнуть к ней в полемике со своими оппонентами, дабы их ниспровергнуть; то (как и подобает диссидентам) благородно выступают за самоопределение народов, наций "советской империи", что возможно только при демократии, то (вместе с пропагандистами тоталитаризма) выступают за моноидеологизм (заменяя один – марксистский – моноидеологизм на другой – православный), что сопряжено с антидемократизмом. Именно поэтому и нередки выпады Солженицына против... диссидентства, демократического движения.

Отсюда и проистекает критика солженицынской позиции как "слева" (либерально-демократическая), так и "справа" (махрово-монархическая, великодержавная). И именно потому, что солженицынцам самим неясно, чего же они конкретно хотят, что предлагают, они и ополчаются на... либерально-демократическое направление Сахарова–Орлова–Чалидзе–Синявского–Григоренко–Амальрика–Гершуни–Любарского–Плюща–Драгоша–Лерт–Подрабиника–Великановой–Турчина–Алексеевой–Шрагина–Литвинова–Кузнецова и многих-многих других (в том числе и автора этих строк) – направление далеко не однородное, но имеющее тем не менее общую цель – осуществление естественных и личностных прав человека, что возможно только в условиях демократии, и предоставление на этой основе самому народу-суверену возможности решить, какой социально-экономический строй он сам выберет из тех, которые ему предлагают (а не навязывают!) различные течения.

Солженицынцы говорят: но вы ломитесь в открытую дверь, ибо и мы не против этого... Нет, против: ведь вы предлагаете ввести какой-то никому не известный переходный период. А это и есть не что иное как стыдливая апология авторитаризма: в наше время открыто против демократии выступать редко кто "отваживается" (даже те, кто требуют канонизировать Николая II, каким-то странном образом причисляют себя к... демократам и даже "солидаристам").

В самом деле, что конкретно сие означает – "переходный период"?! Кто будет осуществлять власть в этот период? Автократы и ли демократы? Если быть в ладах с логикой, ведь каждому должно быть ясно, что третьего в данном случае не дано: либо у власти стоят автократы – но тогда они (как показывает и исторический опыт) ни за что не пойдут на демократизацию, что для них равносильно потере смысла жизни; либо у власти стоят демократы – но тогда никакого переходного периода уже не надо. Иначе говоря, переходный период в этом плане – нонсенс. Если же вы считаете, что, например, нынешние реформы при Хуане-Карлосе – это переходный период, то вы глубоко ошибаетесь: это – уже в общем-то демократия (хотя и деформированная, как всюду на Западе, капиталом), лишь украшенная "королевством" (король тут не осуществляет ни одну из трех властей – ни законодательную, ни исполнительную, ни судебную). Не было авторитарного управления и после свержения режима Казтану в Португалии: военные не взяли власти себе, восстановили сразу же право на существование различных политических партий и быстрой передали ценить просто невозможно), ищущего "вину смягчающие обстоятельства" для тех деятелей культуры, которые "вынуждены" играть в ложь, навязанную им государством, во имя... спасения самой культуры.

всю реальную власть в руки гражданского управления. И дай нам Бог хотя бы демократию, как сейчас в Португалии или Испании. Но если при ней могут жить такие "отсталые" народы, как испанский и португальский, то почему русские, украинцы и другие народы наши не могут? Что они, Богом проклятые? (Или, быть может, они обречены послужить, как можно понять Шиманова, навозом, в соответствии с замыслом, важным во имя сотворения им мировой православной державы – Третьего Рима?) Перефразируя слова Спинолы, следует решительно заявить: пора похоронить миф о том, что "советские" народы неспособны жить сегодня же в условиях демократии. Если Солженицын с этим согласен, то нет оснований для спора. Если же он вместе с Косыгиным и снобами, презрительно относящимися к собственному народу, считает иначе, настаивая на каком-то таинственном переходном периоде, то остается лишь сожалеть. . *

Да, он, к великому сожалению, все же считает иначе. Вот что пишет Буковский по этому вопросу в "Континенте" (№ 23): Солженицын сказал, что "п р я м о вот так, от тоталитарного режима перейти сразу к демократии невозможно. Нужен какой-то. . . переходный период". И Буковский добавляет: "Я был согласен. Но в детали дипломатическ и (? – П.Е.) не стал вдаваться". Это как же изволите понимать? Т.е. в понятие "переходный период" они вкладывают разный смысл? Ну, да: "Для меня этот переходный период означал б о р ь б у о б щ е с т в е н н ы х с и л в стране за свою самостоятельность. . . Т.е. этот переходный период, с мой точки зрения, у же начался. Для него он все еще зиял впереди

* История уже показала нам, во что конкретно обошелся нашему народу "переходный период", предложенный марксизмом, в какую трагедию он обернулся и сколько десятилетий он уже занимает. Ну, а во что обойдется, во что обернется, какой срок займет переходный период, предлагаемый вами, люди добрые?

Нелишне вспомнить, что не только между Февралем и Октябрем 1917 была у нас – всего несколько месяцев – демократия, на неудачном опыте которой строит свои софизмы Солженицын, – но была и псковско-новгородская демократия, и казачья – причем не одно десятилетие. Косыгин, понимающий переходный период по-сталински, сказал одному иностранному журналисту: "Вы что, с ума сошли? Если нашему народу дать демократию сразу, сейчас, то ведь перережут друг друга". А ведь и он клянется "любовью" к . . . народу. То же я слышал от ряда наших интеллектуалов и даже диссидентов. Такого презрительного отношения к собственному народу со стороны людей образованных на Западе я не встречал: они тут не делят население на себя и народ, не выделяют себя из него, – и это знаменательно. Лишь малокультурные образованцы противопоставляют себя народу, бояться его. Удивительно то, как этого не понимают Солженицын и его единомышленники. Кстати, и генерал Зия, захватив власть в Пакистане, обещал краткий "переходный период" к демократии, а уже ряд лет не торопится. . . Кто же определяет рамки, сроки переходного периода? Автократ, диктатор? Но тогда эти сроки могут тянуться вечно. А народ к определению этих сроков, рамок автократ не допустит – по определению. Вот и получается у солженицынцев замкнутый круг, из которого им не выбраться.

черным провалом. И где же тогда взять мудрого автократа?.. Разве что в православии. . .”

Но если, как верно утверждает Буковский, ”учиться демократии можно только в процессе борьбы за свои права”, то тогда не автократия, а борьба с ней общественности является переходным периодом к демократии. Да иначе в истории и не было и не может быть. И, значит, от концепции Солженицына ничего не остается, кроме слов, лишенных смысла. Зачем же тогда Буковский сказал Солженицыну, что. . . согласен с его концепцией? К чему начинать за здравие, если все равно придется кончать за упокой? Почему такой мужественный человек, как Буковский, не может прямо сказать Солженицыну, что у него по существу совершенно другая концепция? Неужели лишь из ложного чувства, что опровергать концепцию Солженицына равносильно ниспровержению диссидентства, как пишет в другом месте своей статьи Буковский? Но ведь это же значит оставаться все в тех же тенетах психологии культа личности вождя: так и Маяковский полагал, что партия и Ленин – это одно и то же. Но не хватит ли с нас культов? Не вредит ли он как самому Солженицыну, так и нашему движению? Ведь культ вождя изрядно осточертел и нашему народу – и он не пойдет за диссидентами, которые один культ будут менять на другой (пусть и с другим знаком). Уверен, что Буковский понимает это в глубине души, но проявляет ”слабость” к. . . автору ”Архипелага”. Да, ценить автора надо, но кумира создавать ни из кого не следует: все достойны суду Разума.

Однако, замечая, что ”роль солженицынского автократа (мудрого? – П.Е.) исполняет сейчас советская власть” (слышите: тоталитаристская гулаговская власть исполняет сейчас роль того мудрого автократа, который приведет к. . . демократии?! Ну и ну!!), Буковский остается почему-то спокоен, никакому суду Разума кумира не подвергает. Нам остается тогда лишь развести руками и спросить Солженицына, раз это не делает Буковский: извините, да понимаете ли вы, наконец, чего хотите? Скажите же членораздельно. . . Зато вместо этого ополчается он (Буковский) почему-то на Чалидзе, который тоже против такого ”переходного периода”, когда устанавливается автократия в лице то ли ”советской” власти, то ли православной церкви, о которой Буковский правильно же пишет, что она коррумпированная (как прав он и в том, что ”религия тут – плохой помощник”, что ”христианство существует почти две тысячи лет, однако не уберегло нас ни от коммунизма, ни от фашизма”).

После этого, думается, ясно и ребенку, что оскорбительные слова Буковского о ”неверных рассуждениях Чалидзе на тему, которой заведомо не знает”, обращены не по адресу: во всяком случае, по данному вопросу не к Чалидзе должны быть они адресованы.

Словом, впору спасать Буковского от. . . Буковского, т.е. спасать Буковского как мужественного борца за свободу от Буковского, который хоть и видит, что Солженицын стал против. . . Солженицына же, но почему-то не может заставить себя ему этого сказать, хоть и бьется над этим, что видно из самого текста его статьи. А ведь этот сложный психологический комплекс, который они сами не могут преодолеть, вредит им обоим, как – повторяю – и всему диссидентскому движению.

Если не преодолеть этот комплекс, не разрубить этот гордиев узел, то мы сами обречем себя на то, чтобы питать свой мозг готовыми оракульскими сентенциями, вещаниями пророка вместо того, чтобы заставить его (свой мозг) самому думать над актуальными проблемами нашего движения, над их теоретической разработкой.

Так, Буковский чувствует, что и Солженицын неправ (требуя не ругать Россию – старую), и Чалидзе неправ (требуя не ругать Запад – новый). Куда же мужику-то (или старому ээку) податься? Это можно понять так: ни старая Россия, ни современный Запад Буковского не устраивают – т.е. ни феодально-патриархальный строй, ни капиталистический. . . Значит? К какому же обществу следует нам стремиться? Но тут глухое молчание. От этого вопроса почему-то уходят. . . Опять-таки: брать зонтик или не брать? – следует вернуться Буковскому его же вопрос. Нельзя же бороться только п р о т и в чего-то и не думать о том, з а ч т о. Да, верно, надо раньше завоевать демократию, а потом народ сам решит, что дальше делать... Но народ у ж е хочет знать, какова н а ш а программа, что хотят диссиденты, чтобы решить, стоит ли за ними идти. . .

Ведь когда Буковский говорит Чалидзе: надо журить Запад, иначе "ведь всех п р о д а д у т, всех, как есть", когда он критикует Запад за скомканное коммунико во время Белградской встречи (причем, очень остроумно), – он абсолютно прав. Но остроумие – еще не решение проблемы. Что же предлагают взамен? Солженицын вот предлагает вернуться к с т а р и н е, хотя не говорит, какой же социальный строй нас там ждет. Ну, а Буковский что предлагает? По всему видно, что экономическая власть церкви или феодализм его не устраивают. Так что же? Капитализм? Но Буковский прав: он ведь все и всех, в конце концов, продаст тоталитаризму. Так куда же все-таки податься бедному расейскому мужику? Вот и пришло в р е м я д у м а т ь. Давайте думать, а не интриговать и не оскорблять друг друга. . .

Ведь все – в том числе и Солженицын, и Максимов, и Ионеско – критикуют буржуазию, бизнесменство за их алчность, за то, что эта алчность толкает их торговать с Советским Союзом, что этим они готовят сами веревку, на которой "советский" тоталитаризм повесит западную демократическую цивилизацию (правда, Солженицын умудряется винить в этом почему-то именно саму демократию, "чрезмерную" свободу прессы). Но сказав "а", надо же сказать и "б", если не изменять логике: с л е д о в а т е л ь н о, виноват к а п и т а л и з м.

Капитализм – вот кто вскармливает внешний тоталитаризм, т.е. м о г и л ь щ и к а современной демократической цивилизации*. Если мы хотим радикально спасти человечество от тоталитаристской чумы, надо отказаться от капитализма. (Стало быть, в г л о б а л ь н о м плане неверно ставить вопрос так: раньше надо завоевать демократию во всем мире, а п о т о м р е ш а т ь, какой социально-экономический строй устанавливать, – ибо эти проблемы взаимопроникают). А чем его заменить?

Социализмом? Но если под социализмом понимать государственную

* Говоря о могильщике, Маркс перепутал адреса: не внутренний пролетариат им оказывается, а именно внешний тоталитаризм.

собственность, то это чревато опасностью узурпации ее государственным аппаратом, что означает новые цепи. Ввиду этого самое оптимальное устройство жизни социума связано, думается, с п а н е р с о н а л и з м о м , означающим, что к а ж д ы й человек является личностью (т.е. имеет решающий голос) во всех сферах жизнедеятельности – в политической, экономической, духовной, бытовой, что предполагает у н и в е р с а л ь н о е с а м о у п р а в л е н и е (личное, групповое, национальное, общенародное) в его различных (плюральных) формах. Такого общества еще нет нигде. Такое общество может и должно быть: лишь оно соответствует личностной природе человека.

В западном мире к а ж д ы й человек является личностью в политическом, юридическом и бытовом планах – в экономическом же плане личностями являются только предприниматели, владельцы средств производства; наемные же работники не имеют решающего голоса на производстве, где они работают, т.е. они лишены личности в экономическом плане. Это сопряжено с тем, что из-за капитализма люди здесь и в духовном отношении лишь ч а с т и ч н ы е личности, ибо у масс людей сознание м а н и п у л и р у е м о е , конформистское, клишированное, стандартизируемое, штампованное, шаблонируемое, хотя в гораздо меньшей мере (благодаря демократии), чем в тоталитарных странах. Что же касается Советского Союза и других тоталитарных стран, то тут нет и политической личности, т.е. личностность вообще почти отсутствует.

Лишь на основании политической, гражданской, правовой личности, что имеет место т о ь к о при демократии, можно двигаться дальше – добиваться экономической личности, что обеспечивается лишь в обществе универсального с а м о у п р а в л е н и я . Его осуществление сопряжено с достижением полной личности и в духовном отношении, т.е. с достижением такого уровня духовного развития, когда массы людей мыслят свободно-критически, не дают себя опутывать софизмами и паралогизмами, т.е. когда их сознание уже не манипулируемо. Для достижения такого состояния нужно массовое д в и ж е н и е з а р е в о л ю ц и ю в к у л ь т у р е м ы ш л е н и я , за полную ценностную переориентацию современного общества.



Но такое состояние будет достигнуто нескоро: его надо готовить.

Ну, а пока?.. Пока миру (человечеству) угрожает тоталитаристский потоп. И глубоко, полагаю, ошибаются социологи, которые считают, что содержанием нашей эпохи является борьба между социализмом и капитализмом: ведь социализма как системы нигде нет. Характер нашей эпохи, ее содержание определяется совсем другим – борьбой между тоталитаризмом и демократией. Тоталитаризм грозит поглотить демократическую цивилизацию вовсе не мировой войной (так как он ее экономически не выдержит), а путем м е т а с т а з и р о в а н и я . Главной силой современного тоталитаризма является Советский Союз. Отсюда: демократизация Советского Союза – к л ю ч к решению всех глобальных проблем. Это не частное дело народов СССР, а тайна спасения мира, культуры человечества. Демократические народы Запада, поняв надвигающуюся угрозу, могут и должны запретить бизнесменам и правительствам заключать без санкции народов (путем

всеобщих референдумов) торговые сделки с тоталитаристскими государствами, т.е. эти народы должны взять дело экономического бойкота этих государств в свои руки. То же касается научного, спортивного и прочего сотрудничества с ними. Все это может решаться на уровне народов-суверенов. И тут не должно быть стран-штрейкбрехеров: нужно понять всем всю грозящую катастрофу.

Никаких дальнейших уступок тоталитаризму! – вот какой девиз может еще спасти демократическую цивилизацию.

Так переплетаются интересы спасения человечества и интересы спасения нашей Родины, интересы демократической общественности мира и интересы советского диссидентства в единый узел.

Доказывать это миру – вот, видимо, наш неотложный долг. С этим связан путь к решению и наших внутренних проблем.

Но для того, чтобы мир к нам прислушивался, нам необходимо стать солидной силой. А это возможно только через создание Объединения диссидентов – вначале в эмиграции. Об этом, как и о преодолении разобщенности, мы и поднимали вопрос в статье "Актуальные проблемы..." Вполне естественно, что объединению предшествует уточнение позиций, размежевание, особенно обоснованное, когда люди оказываются на Западе в условиях, способствующих свободному самовыражению. Но раз же в а н и е не должно трансформироваться в разобщенность, тем более во вражду. Размежевание – не самоцель, а условие для определения основы, на которой может произойти единение, необходимое, если мы хотим сохранить и развить наше движение как средство спасения нашей Родины. Такой общей основой является стремление к подлинной демократизации нашего общества. Без объединения движению грозит застой и загнивание. Сенсационные одиночки наши уже приелись, надоели Западу: их нередко считают либо лично обиженными, озлобленными, либо гонимыми честолюбием. Разубеждать в этом, доказывать, что это не так – отнимает много времени и энергии, причем это малоэффективно. Объединение диссидентов может привлечь к себе серьезное внимание демократической общественности мира.

Объединение активизировало бы всех "рядовых" диссидентов. Лишь оно сможет поставить назревшие вопросы обновления стратегии нашего движения.

Диссидентская, правозащитная деятельность вне Объединения ведет к низкому КПД и варварской трате времени: каждый сам "проталкивает" свои обращения, заявления, т.е. все, что имеет правозащитный смысл, мы даже индивидуальные наборные машины и типографии заводим – и мало успеваем в течение дня, а посему все идет очень медленно, в очень малых масштабах, малоэффективно.

Страшно важна и забота о людях. Вот "маленький" пример: 19-летний сын Юрия Гримма (находящегося в тюрьме), – Клайд – тяжело болен. Сколько раз кустарно поднимался вопрос о том, что надо организовать ему вызов на Запад для лечения! Но до сих пор так и не послали этот вызов... А было бы Объединение, все обстояло бы иначе.

И еще один важный аспект: оградить диссидентов от дискредитирующих слухов, будто тот или другой – бывший стукач, провокатор и т.д., с

одной стороны, и оградить самое диссидентство от "примазавшихся", которым Запад (из-за своей неосведомленности) оказывает незаслуженное уважение, с другой стороны, может именно Объединение, выносящее свои суждения объективно, непредвзято, освобождая диссидентов от ненужной трепки нервов, сохраняя эти нервы для полезной деятельности.

Словом, Объединение назрело. Оно необходимо во всех отношениях.

Ряд же наших людей и в этом важнейшем для жизни движения вопросе никак до сих пор не решили для себя, брать зонтик или не брать: они опасаются "железной дисциплины", "сплочения рядов", "монолитности" и прочих пагубных спутников организации. Но ведь организация может быть и не жесткая, а лишь полуформализованная, близкая к феномену "неформального колледжа". Ее структура должна быть достаточно лишь для того, чтобы преодолеть разбегавшуюся разобщенность.

С тех пор, как была опубликована наша статья, эта разобщенность стала еще более угрожающей, и поэтому нельзя молчать:

Разобщение – причина стагнации нашего движения.

Разобщение – вот что может погубить движение.

Разобщение, думается, должно быть преодолено и как можно быстрее!

В условиях, когда тоталитаризм все ожесточеннее давит наше движение и з в н е , мы сами своей разобщенностью разлагаем его и з н у т р и .

Главный наш бич – разобщенность. Вместо же того, чтобы ее преодолеть, иные продолжают катиться по наклонной вниз: "Не хочу, чтобы моя подпись была рядом с подписью N", "Я с ним рядом с... не сяду", "Этот мне идейно близок, но интриган, а этот не интриган, но мне идейно далек, – поэтому ни в какие организации не пойду"... Но ведь все это несерьезно и просто-напросто инфантильно.

В высказываниях иных весьма уважаемых диссидентов, привыкших к работе кустарей-одиночек, сквозит порой мысль: ну, а к чему же при подобном Объединении сведется н а ш а роль? Мы тогда что будем значить? Но согласитесь, люди хорошие, ведь именно это – именно боязнь потерять лидерство обуславливает упрямый отказ и кремлевских владык от того, чтобы пойти на демократизацию нашей страны. Да, мы сами должны у ч и т ь с я д е м о к р а т и , демократичности.

И как раз этому и может служить создание Объединения диссидентов-эмигрантов.

Основной психологической причиной, тормозящей создание Объединения, что ознаменовало бы собой переход нашего движения в новую фазу, на новый этап, является именно лидерстволюбие, "имя"любие, гипертрофированное честолюбие. Причем следует иметь в виду, что эти социально-психологические феномены приводят к цепной реакции диссидентства – к появлению диссидентства в самом диссидентстве. Так будет до тех пор, пока не возникнет самодиссидентство, пока человек не поднимется на такой высокий нравственно-психологический уровень, на котором обернет д и с с и д е н т с т в о н а с а м о г о с е б я , пока не станет "диссидентом" по отношению к самому себе, не займется саморефлексией, не посмотрит на себя со стороны, не станет самоличностью. Вот тогда-то и прекратится лидерстволюбие (переходящее порой в лидерствоманию) с его неизбежными спутниками – интриганством, дразгами, оскорбительными колкостями

(шокирующими наших западных друзей и диссидентский резерв на Востоке).

Величие диссидентов, в том, что они явочным порядком поднимаются – в условиях репрессий! – до уровня личности, не боясь при этом тюрьмы. Но пришла, думается, пора подниматься им с этого уровня на более высокий – на уровень великодушия и преодоления в себе остатков тех черточек, которыми нас наделил наш деспотический социум.

Конечно, взывать к чувству ответственности у людей, много лет сидевших в застенках во имя борьбы с тиранией, было бы просто странно.

Но вот взывать к поискам *взаимопонимания*, безусловно, необходимо. И взывать к этому приходится с той настойчивостью, с которой взывал Катон, говоря: *Cogito Carthaginem delenda esse*. Взаимонепонимание должно быть разрушено. Нам всем хорошо бы собраться за круглый стол и основательно все продумать: судьба нашего движения – в наших руках.

Брать зонтик или не брать зонтик – должны решить мы сами – и никто за нас.

О НАШИХ АВТОРАХ

Петр Абовин-Егидес – родился в 1917 году. Кандидат философских наук. Воспитывался в детдоме. Окончил исторический и философский факультет МИФЛИ. Добровольно ушел на фронт в начале войны. В 1942-49 гг. находился в заключении на Воркуте. В 1953-59 гг. работал председателем колхоза. В 1960-69 – доцент кафедры философии. Автор ряда философских работ. С 1967 г. участвует в демократическом движении. За написание книги "Единственный выход" был арестован, находился в психушке около трех лет. В конце 1979 г. КГБ предъявил ему ультиматум: покинуть страну или быть в третий раз арестованным. Редколлегия "Поисков" приняла решение, что ему необходимо уехать. Ныне живет в Мюнхене.

Пинхос Подрабинец – родился в 1918 г. Кандидат медицинских наук. Является автором ряда научных работ в области медицины. В 1937 г. был арестован. Впоследствии много раз подвергался домашнему аресту и содержался в милиции за участие в правозащитных демонстрациях. Докторскую диссертацию защитил, но ВАК ее не утвердил, т.к. П.Подрабинец проявил себя как инакомыслящий. В настоящее время – пенсионер.

Раиса Лерт – журналистка, 1905 г. рождения. Работала в различных газетах, журналах и на радио, откуда была уволена в 1949 г. – во время "борьбы с космополитизмом". С 1926 по 1979 гг. была членом КПСС. Из партии исключена за участие в "Поисках" (она – член редколлегии со дня основания). До этого участвовала в самиздатском журнале "XX век". Во время разгрома 5-го номера "Поисков" в ее квартире был произведен обыск. Является автором ряда самиздатских статей. В настоящее время – пенсионерка.

Владимир Гершуни – родился в 1930 г. Рабочий-каменщик. Племянник известного революционера. Воспитывался в детдоме. В 1949-59 гг. находился в заключении. После освобождения продолжал заниматься диссидентской деятельностью, много помогал А. Солженицыну в сборе материалов для "Архипелага ГУЛаг". С 1969 по 1974 г. снова оказался в заключении, находился в Орловской спецпсихбольнице. С 3-го номера журнала "Поиски" стал членом его редколлегии. Занимается много лет лингвистическим!

исследованиями фольклора. Во время Олимпиады-80 был помещен на 3 месяца в психушку. Объявил себя членом СМОТ.

Валерий Абрамкин – 1947 г. рождения. Инженер-химик. Был инициатором КСП (клуба студенческой песни), затем литературно-художественного молодежного самиздатского журнала "Воскресение" (вышло два номера). Опубликован ряд его научных статей. Уволенный из научно-исследовательского учреждения за свободомыслие, работал на лесорубом в свободной артели, то кочегаром, то сторожем в церкви (в последнее время). Большой знаток творчества Хармса (собрал много уникальных его произведений, подготовил их издание, но из-за ареста осуществить это не успел). Член редколлегии "Поисков" с первого дня их основания. Арестован по делу "Поисков" в 1979 г. Осужден на три года.

Анатолий Марченко – родился в 1938 г. Рабочий. С юношеских лет, с 1960 до 1979 г., т.е. почти 20 лет, был политзаключенным – с небольшими перерывами: в 1960-66 гг. находился в тюрьме и лагере, в 1968-72 гг. – в лагере и ссылке, в 1975-79 гг. – в ссылке. Широко известны две его книги "Мои показания" и "От Тарусы до Чуны". Живет ныне во Владимирской области.

Кирилл Подрабинек – 1952 г. рождения. Работал сторожем на железнодорожном переезде. В 1977 г. было сфабриковано "дело", по которому он обвинялся в якобы незаконном хранении ружья для подводной охоты, за что его осудили на два с половиной года по статье 218 УК РСФСР. Вначале он содержался в лагере, а затем переведен в тюрьму в г. Елец. Незадолго до окончания срока на него сфабриковали новое "дело", по политической статье 190-1.

Виктор Сокирко – родился в 1939 г. Инженер-сварщик. Написал кандидатскую диссертацию в области экономики, но защитить не дали. Последнее время работал инженером-экономистом. В 1961 г. был исключен из ВЛКСМ "за убежденность в правоте марксизма-ленинизма". В 1973 г. осужден на 6 месяцев принудителен за отказ от дачи показаний по делу П. Якира. Автор книги "Очерки растущей идеологии" (под псевдонимом К.Буржуадемов) и сборников "В защиту экономических свобод". Обратился с письмом в "Правду" об угрозе экономической катастрофы. В январе 1980 г. послал письмо Брежневу с протестом по поводу вторжения в Афганистан. С 5-го номера "Поисков" – член редколлегии этого журнала. В 1980 г. был арестован по делу "Поисков" – по ст. 190-1. Признал себя частично виновным. Осужден на три года условно.

Георгий Владимов – 1931 г. рождения. Писатель, автор романов "Большая руда", "Три минуты молчания", "Верный Руслан". Во второй половине 70-х годов Владимов вышел из Союза советских писателей в знак протеста против отсутствия в стране элементарных человеческих прав. Активный участник правозащитного движения, председатель советской секции "Международной амнистии". Член Пен-клуба. Живет в Москве.

Юрий Домбровский – (1909-1978). Писатель, автор романов "Хранитель древностей" и "Факультет ненужных вещей". Многолетний узник сталинских концлагерей. Незадолго до смерти написал для журнала "Поиски" рассказ "Ручка, ножка, огуречик", опубликованный в первом зарубежном выпуске нашего журнала.

Мальва Ланда – 1918 г. рождения. Геолог. Член Московской группы содействия осуществлению Хельсинкских соглашений. В 1977 г. властями было сфабриковано против нее "дело", в котором она обвинялась в "сожжении собственной квартиры". Получила два года ссылки, но была освобождена в 1978 г. по амнистии. Оставшись без квартиры и лишённая московской прописки, поселилась в г. Петушки, Владимирской области. Продолжала активно заниматься правозащитной деятельностью. В марте 1980 г. снова арестована и осуждена на пять лет ссылки. Находится в Джезказганской области (Северный Казахстан).

Вновь созданное издательство "Поиски" объявляет своей первейшей задачей издание свободного московского журнала "Поиски". Издательство "Поиски" будет стремиться компоновать типографские выпуски в соответствии с самиздатскими номерами: так, в данном, втором выпуске взят за основу самиздатский № 3 (поскольку основой первого выпуска послужил сдвоенный № 1-2); третий выпуск будет основан на № 4 и т.д. Однако, издательство вынуждено делать и определенные перестановки материалов, что обусловлено рядом причин.

Во-первых, между выходом самиздатских номеров и типографских выпусков за рубежом прошло немало времени и ряд материалов из "Поисков" уже перепечатали другие издатели: так, журнал "Время и мы" опубликовал статью Л.Копелева "Солженицын на шарашке" из "Поисков" № 3, а издательство ИМКА-ПРЕСС — роман Кормера "Крот истории" и т.д. Во-вторых, самиздатские номера журналов имели по 350-450 стр., а типографские выпуски мы решили делать размером не более 250-260 стр. В-третьих, приходится считаться и с актуальностью материалов. Так, материалы о судебных процессах людей, которые ныне уже живут на Западе, конечно же устарели, — поэтому мы их опустили. С другой стороны, мы решили перенести во второй выпуск из самиздатского № 5 статью "Актуальные проблемы демократического движения", так как это имеет смысл в связи с дискуссиями, возникшими в последнее время между диссидентами, равно как в связи с нынешним положением в демократическом движении вообще. Этим же объясняется и опубликование "Эпилога" к этой статье в "Приложении".

В дальнейшем издательство намерено публиковать и различные варианты журнала, а также отдельные монографии и сборники статей авторов, причастных в "Поискам". Следующие выпуски мы постараемся издавать не реже одного раза в квартал.

Мы выражаем признательность и благодарность издательству "Детинец", приложившему большие усилия для выхода № 1 журнала "Поиски" за рубежом. Мы высоко ценим тот вклад, который внесли в дело издания первого номера Э.М. и П.Г. Григоренко. Издательство "Поиски" искренне благодарит членов Ассоциации "Поиски", группу общественных деятелей Франции, Швеции и Греции, помощь которых дала возможность выпустить в свет № 2 московского журнала. Мы искренне признательны редакции журнала "Синтаксис", предоставившей для издания "Поисков" свою типографскую базу, Германское общество защиты прав человека, а также Русский культурный центр в Монжероне за поддержку и за готовность помогать нам в издании следующих номеров.

Вместе с тем мы обращаемся ко всем, кому дороги поиски истины и взаимопонимания, кому дорога свободная мысль России, Украины и всех других народов Советской империи, кто хочет слышать голос оттуда, с просьбой вносить свои пожертвования. Во Франции открыт счет:

Poiski — Recherches
Société Générale
30003 04043 — 00050831495

и в Германии открыт счет:

Dresdner Bank
4254 727 00
Bankleitzahl 700 800 00
Verein "Poiski"

Мы надеемся на наших доброжелателей.

Издательство "Поиски".

